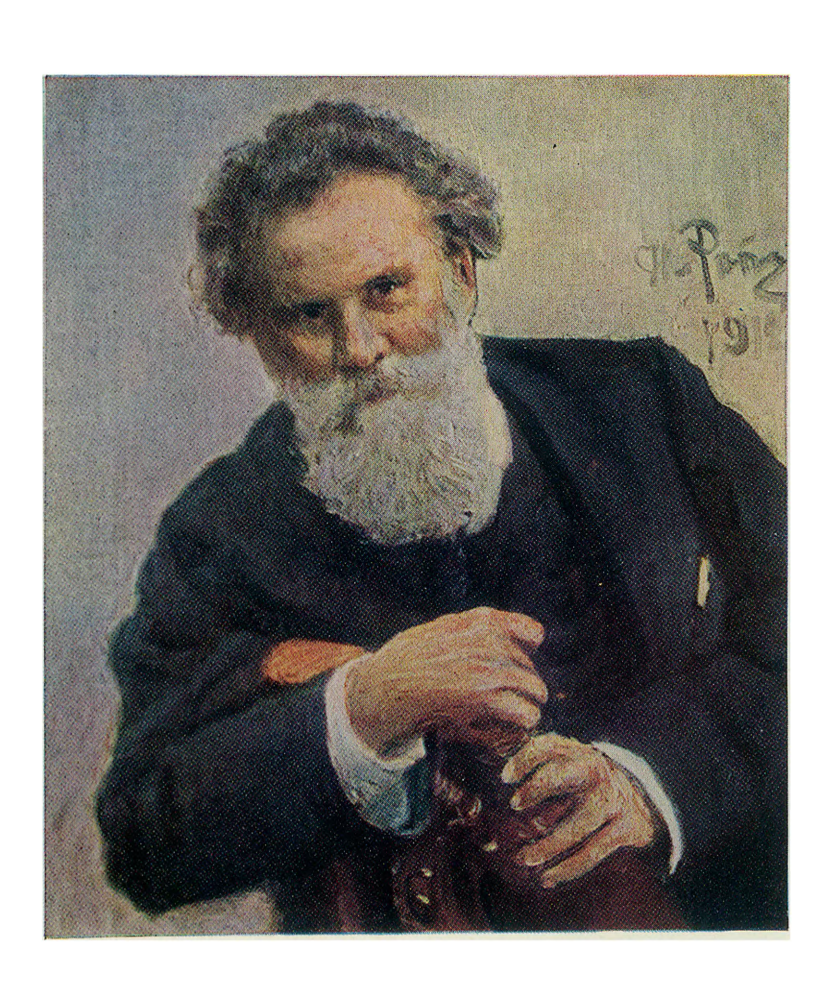
В. Г. КОРОЛЕНКО



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ



Собрание сочинений
в шести томах

1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. И. Тюнькина.

Портрет В. Г. Короленко
работы художника
И. Е. Репина. 1912.

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО
(1853—1921)

В одной из автобиографий Короленко так описал тот своеобразный мир, ту среду, которая стала его колыбелью: «Родился 15 июля[1] 1853 года, в губернском городе Житомире, в Юго-Западном крае. Отец — родом из малорусских дворян Полтавской губернии. Дед был директором таможни, сначала в Радзивилове, потом в Бессарабии. Прадед — по рассказам отца — был запорожский казак, из казацкой старшины. Это, однако, уже довольно смутное семейное предание; факт состоит в том, что отец происходил из чисто малорусской семьи, и еще дед, видный чиновник, до конца жизни не говорил иначе, как по-малорусски, по крайней мере у себя дома. Мать — полька, дочь «посессора» (арендатора) — шляхтича. Таким образом, семья наша смешанная, одна из типических семей Юго-Западной России, где простонародие — чистые малороссы, чиновники отчасти тоже малороссы или русские, сельское дворянство в большинстве поляки, в городах же большинство мещанства — евреи»[2].

Пестрый национальный и социальный быт небольшого украинского городка (детство и юность Короленко прошли в Житомире и Ровно), отголоски красочной романтической истории, образы народной поэзии и природы Украины мы находим в самых поэтических, полных романтики и юмора повестях и рассказах Короленко («В дурном обществе», «Лес шумит», «Слепой музыкант», «Ночью», «Судный день» и др.).

---

[1] По некоторым другим данным — 15 июня.

[2] «Молодая гвардия», 1958, № 7, стр. 226.

Дитя «смешанной семьи», Короленко уже в юности воспринял начатки той гуманистической широты мировоззрения, которая позволит ему подняться над национальной узостью и социальной ограниченностью, стать *писателем-демократом*, наследником Тургенева, Некрасова, Глеба Успенского. «...Пришла русская литература,— писал он позднее,— и взяла растущую душу себе», взяла «тем, что влекло в семидесятых годах юные кадры и кавказской и украинской молодежи в общерусское движение: широкой демократичностью, отсутствием национализма, широкими формулами свободы» [1]. В «Истории моего современника» он прямо сказал, что его родиной «стала прежде всего русская литература».

Среди многообразных впечатлений детства одно было, наверное, самым значительным и неизгладимым, определившим, пожалуй, собственную человеческую и общественную судьбу Короленко. Такое впечатление оставил образ отца, сурового и неподкупного судьи Галактиона Короленко, твердо стоявшего на страже закона среди всеобщего беззакония. Не раз, наверное, обращался Владимир Короленко, когда сам отстаивал справедливость в тяжелой, часто безнадежной борьбе, к облику человека, измерявшего свою жизнь, свою служебную деятельность высокой мерой совести. Правда, судья Короленко «признавал себя ответственным лишь за свою личную деятельность. Едкое чувство вины за общественную неправду ему было совершенно незнакомо». Юность Владимира Короленко пришлась на годы, когда ощущение именно *«общественной неправды»* стало до боли острым и мучительным: с самоотверженностью и самозабвением революционная молодежь шестидесятых и семидесятых годов ринулась на борьбу с неправдой. И первые общественные выступления Короленко и первые его произведения уже были проникнуты «тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности».

Путь Короленко-писателя начался в одну из самых напряженных и трагически сложных эпох истории русского общества прошлого столетия. Отчаявшись в своих попытках поднять на восстание народные массы, в ответ на репрессии правительства революционеры-«народники» объявили в конце семидесятых годов беспощадную войну слугам царской власти, вынесли смертный приговор тем, кто осуществлял своей деятельностью идею самодержавия, вплоть до главы его, царя Александра II. Эту героическую борьбу группы самоотверженных борцов, стремившихся подорвать ненавист-

---

[1] В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах, М., 1956, т. 10, стр. 435—436.

ный строй произвола и насилия, поколебать его путем террора, уничтожения царских сатрапов, В. И. Ленин назвал «отчаянной схваткой с правительством горсти героев»[1].

После поступления в 1871 году в Петербургский Технологический институт Короленко все больше и больше втягивался в водоворот идей, волновавших тогда передовую русскую интеллигенцию. И в 1876 году, уже студентом Петровской земледельческой академии, он, хотя и не принадлежал к подпольным революционным организациям, был арестован и выслан как активный участник студенческого движения.

В конце 1878 — начале 1879 года Короленко пишет первый, «слишком еще незрелый», по его собственным словам[2], рассказ «Эпизоды из жизни „искателя"». «Помню, что писал я его горячо и тогда мне казалось ясным то, что я хотел выразить»[3]. «Эпизоды» автобиографичны, это рассказ об исканиях человека, усвоившего многое из народнических идей, но остро ощущающего, что освободительное движение оказалось на резком «переломе», «на перепутье». Впрочем, сам герой — «интеллигентный бродяга», «искатель», с уверенностью и решимостью выбирает свой путь, и этот путь попрежнему лежит «в народ», в деревню...

«Я строил планы переустройства своей жизни, связанные с более или менее туманными планами переустройства всего общества»,— писал много позднее об этой поре своей жизни Короленко («История моего современника»). Планы переустройства собственной жизни были достаточно определенны: Короленко, как и герой «Эпизодов из жизни „искателя"», хочет найти решение мучающих его вопросов «в народе», он собирается отправиться в деревню в качестве «странствующего сапожника». Планы же и способы «переустройства общества» были действительно очень туманными. В чем, однако, Короленко глубоко и бесповоротно убежден, так это в полной негодности современного русского общественно-политического порядка, и потому он последовательный и непримиримый противник этого порядка.

В марте 1879 года «неблагонадежный» Короленко был вновь арестован по подозрению в связях с революционным подпольем; начались более чем пятилетние его скитания по тюрьмам и ссылкам.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 39.

[2] В. Г. Короленко. Полное собрание сочинений. СПб, 1914, т. 9, стр. 374.

[3] Центр. гос. архив литературы и искусства, ф. 234, оп. 1, ед. хр. 76.

Вспоминая через много лет о сложившемся у него в момент написания «Эпизодов», накануне ареста и ссылки, твердом намерении пойти «в народ», Короленко заметил: «Это кончилось бы тем же, чем кончались сотни подобных экскурсий, то есть сознанием, что народная жизнь настоящий океан, управлять движениями которого не так легко, как нам казалось. Для меня лично это сопровождалось бы накоплением художественных наблюдений, и, вероятно, я скоро бы понял, что у меня темперамент не активного революционера, а скорее созерцателя и художника». Эти строки написаны писателем, уже обогащенным опытом долгой общественной и художественной работы. И действительно, все «искания», все странствия этого «интеллигентного бродяги» в конечном счете вели к обогащению его памяти массой впечатлений, превращавшихся, иной раз через много-много лет, в художественные образы. И если в первые годы ссылки, даже после того, как были написаны несколько рассказов, Короленко все еще колеблется в выборе своего жизненного пути, то возвращается он из Сибири писателем, убежденным в своем призвании и в общественной значимости писательской, художнической деятельности.

Короленко прав, когда пишет, что не был активным — профессиональным — революционером, какими были тогда, например, П. Алексеев, А. Желябов, И. Мышкин. Но Короленко решительно неправ, называя себя созерцателем. Вся жизнь Короленко — свидетельство тому, что он обладал темпераментом не только художника, но и общественного деятеля, политического публициста. Он не мог равнодушно видеть общественную несправедливость, он не боялся прямых столкновений с властью, когда надо было бороться с политической реакцией. Да и художественное его творчество рождалось не в созерцании, а в действии — в борьбе, в постоянном общении с массой людей, в активном «узнавании» мира, прежде всего мира народной жизни. Короленко умел видеть; напряженно слушал он жизненную разноголосицу, угадывал глубоко запрятанные человеческие драмы, столкновения противоборствующих характеров.

Когда в 1879 году Короленко был арестован и затем сослан, психологически он был готов к тому, чтобы «раствориться» в «океане» народной жизни. Его ищущий, пытливый ум, его деятельная натура раскрывались навстречу «всем впечатлениям бытия»: он, как и герой его первой повести, жаждал слиться с народной массой, до конца познать ее повседневную жизнь, ее быт, ее миросозерцание и идеалы Позднее Короленко включил в повесть «С двух сторон» — об идейной жизни молодежи семидесятых годов —

строки, характеризующие то радостное, освобождающее, романтическое настроение, которое рождала у этой молодежи надежда на «слияние» с народом. «Молодежь нашего поколения», говорится в этих автобиографических строках, романтизировала «волжские горы и буераки». «Там, за этими горами, раскинулась неведомая нам жизнь огромного загадочного народа... О чем вздыхает раскольник в глухом скиту?.. Из-за чего волнуются по деревням крестьяне?.. К какой старой воле стремятся казаки на бывшем Яике?.. И нам казалось, что эти стремленья совпадают с нашими мечтами о свободе».

До конца дней Короленко был убежден, что только историческое действие «трудового народа» способно произвести решительный переворот в социально-политическом укладе России. Но даже незадолго до Октябрьской революции он не признавал решающей роли рабочего класса в таком перевороте. «Ближайшие вопросы нашей жизни, гордиев узел политического дня...» — писал он в 1916 году,— «в руках того широкого, неопределенного романтического «трудового народа», который даже не нашел еще своего конкретного выражения» [1].

Этот трудовой народ, основную массу которого составляло крестьянство, и стал тем объектом, к которому приковал Короленко свое художническое внимание. В очерках «Земли, земли!», написанных уже после Октябрьской революции, подводя итоги своим впечатлениям и размышлениям многих десятилетий, Короленко опять настойчиво повторял: «...долго еще перед Россией будет стоять завет Глеба Успенского: «Смотрите на мужика». На мужика такого, как он есть, со всей его темнотой и косностью, с его невежеством и предрассудками, с его грубыми нравами и... с таящимися в нем возможностями...» [2].

За десять лет до начала творческой деятельности Короленко, в 1868 году, великий сатирик, революционный демократ М. Е. Салтыков-Щедрин писал в статье «Напрасные опасения» о том мире, который властно вторгся в русскую литературу после реформы 1861 года,— «русском крестьянском мире», о новом герое литературы — «русском мужике». Что такое этот «крестьянский мир»? — спрашивал Салтыков-Щедрин. Это пока неясная, почти загадочная «картина, в которой шевелятся и группируются какие-то фигуры, но что это за фигуры и имеют ли какой-нибудь внутренний

---

[1] Цит. по кн.: Г. А. Бялый. В. Г. Короленко. М.-Л., 1949, стр. 262.

[2] «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 30.

смысл их движения, мы этого не знаем...» Надо, очевидно, понять, в чем же заключается «внутренний смысл» народной жизни, каковы истинные и глубинные причины тех или иных «движений» крестьянского мира. «...Со стороны литературы,— продолжал свою мысль Салтыков-Щедрин,— оказалось уже совершенно немыслимым то бессознательное отношение к простолюдину, которым она пробавлялась до тех пор. Потребовалось взглянуть на него пристальнее и притом признать предварительно, что та внутренняя его сущность, которая подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и курьезная, а сущность общечеловеческая, почерпающая свою оригинальность исключительно из внешней обстановки». Только такое отношение к «простолюдину». к мужику может дать «меру той нравственной высоты, на которой должен стоять деятель, чтобы сквозь грубые покровы, застилающие исследуемый предмет, суметь показать человеческий образ во всей его полноте»[1].

Среди писателей, которые исторически призваны были осуществить эту глубокую и дальновидную программу развития демократической литературы, одно из первых мест, несомненно, принадлежит Короленко, пошедшему в этом отношении вслед за Некрасовым и Глебом Успенским. Короленко сумел овладеть той «мерой нравственной высоты», которая позволяет ему каждый раз обнаруживать в «простолюдине» — крестьянине, бродяге, ремесленнике, уральском казаке — фигурах, представляющих многоликий мир народной жизни,— человеческий образ во всей его полноте.

Не случайно, конечно, Короленко в 1914 году открыл полное собрание своих сочинений не «Эпизодами из жизни „искателя"», не очерком «Ненастоящий город», не рассказами «Чудная» или «Яшка», написанными на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов, а созданным несколько позднее, в 1883 году, в сибирской ссылке рассказом «Сон Макара» — повествованием о жизни и смерти мужика, «пашенного крестьянина», который «работал... страшно, жил бедно, терпел голод и холод».

«Сон Макара» был написан Короленко после нравственного перелома, когда окончательно установилось его, интеллигента-демократа, отношение к народу, когда Короленко убедился, что его призвание, его дело — литература.

Скитания по далеким углам России, тяжелая трудовая жизнь в затерявшихся среди непроходимых лесов, засыпанных снегом глухих починках, в черных избах северных рус-

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах. М., 1970, т. 9, стр. 32, 34.

ских крестьян, в сибирских юртах, в пересыльных тюрьмах — вот откуда почерпнул Короленко мысль и образы своего рассказа о бедном, почти диком Макаре, в котором из-под уродливой и грубой оболочки пьяницы, обманщика и ленивца вдруг проступает истинно человеческая сущность; Макар, в своей животной жизни почти разучившийся говорить, вдруг обретает дар слова. А ведь в самом деле, напоминает писатель, ведь он, Макар, «родился как другие,— с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире...».

Уже первые произведения Короленко как бы вместили в себя все его духовное развитие на протяжении семидесятых годов. Мировоззрение Короленко складывалось в годы бурного кипения и борьбы народнических идей вокруг центральной проблемы эпохи — проблемы коренного общественно-политического преобразования и участия в этом преобразовании революционной интеллигенции и народных масс. Народники потому и были названы народниками, что лишь в народе, в русском крестьянском мире видели смысл и опору для своих надежд на переустройство общества. Казалось, «народная мудрость», соединенная с активной мыслью интеллигенции, откроет России новые пути. Но народная, крестьянская масса еще не способна была откликнуться на обращенную к ней революционную проповедь.

Вероятно, уже на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов, когда в тюрьмах и ссылках ему пришлось встречаться со многими активными участниками революционного движения этого времени, Короленко бесповоротно убедился в том, что покушения на власть имущих были в конце концов актами отчаяния — трезвого, продуманного, героического, но все же отчаяния — от невозможности поколебать чудовищную систему самодержавной власти, отчаяния при виде равнодушной крестьянской массы, хотя временами и протестующей и ищущей лучшего, но бесплодно, разрозненно, в потемках... Хотя, конечно, акты революционной борьбы даже и в такой форме, принципиально для Короленко неприемлемой, не могли не вызывать и самого пламенного сочувствия, самой глубокой любви к тем, кто сознательно и хладнокровно шел на смерть, осуществляя их. Это великое самопожертвование рождало неизмеримые порывы духа, создавало романтическую атмосферу нравственного подвига и непримиримости, атмосферу борьбы с несправедливостью и произволом... И этому духу борьбы Короленко будет верен всегда.

Еще до «Сна Макара», в 1880 году, Короленко написал два рассказа о бунтарях, для которых соглашение с властью

невозможно ни на каких условиях — девушке-народнице («Чудная») и полусумасшедшем бродяге-сектанте («Яшка»). Есть ли между ними что-нибудь общее, если не считать самого факта непримиримой, бескомпромиссной борьбы? Сможет ли Яшка понять те высокие идеалы сознательного борца, которые вдохновляют «чудную», дают ей, больной и слабой, силу отвергать даже самый, казалось бы, невинный, житейский компромисс? Во имя чего протестует, кого и зачем обличает своим неистовым стуком «подвижник» Яшка? «Стою за бога, за великого государя, за христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей»,— объясняет свою непримиримость «стукальщик». «Обличаю начальников.. начальников неправедных обличаю».

На какой почве могли бы сойтись эти два миросозерцания — сознательного революционера-интеллигента и темного бунтаря во имя «старого прав-закона»?

Это трагическое противоречие, обрекавшее народников на борьбу «без народа», Короленко сознает все яснее и яснее.

«У нас давно уже толкуют о розни между народом и интеллигенцией,— писал Короленко позднее, уже в девяностых годах, начиная свои очерки «В холерный год»,— но, право, именно те, кто более всех толкует об этом, едва ли сознают всю глубину и важность этого факта, едва ли с полной ясностью ощущают его, едва ли стараются отдать себе отчет в том, где эта рознь.

В платье, в речи, в манерах и политическом образе жизни?..

Нет, в основах мировоззрения» [1].

«Да и что такое эта «народная мудрость»?» — спрашивает Короленко в одном из очерков цикла «Современная самозванщина» (1896), что такое та самая «народная мудрость», в которой хотели найти спасение и деятели освободительного движения и их политические противники, скажем, славянофилы? «Народ не есть что-либо единое,— подводит Короленко итог своим многолетним наблюдениям и размышлениям по этому поводу,— и его «мудрость» есть комплекс идей необыкновенно сложный, одним концом примыкающий к нашему мировоззрению и нашим умственным запросам, другим — теряющийся в темном сумраке древнейших веков» [2].

---

[1] В Г Короленко. Полное собрание сочинений. СПб., 1914, т. 3, стр. 371.

[2] В Г. Короленко. Полное собрание сочинений СПб, 1914, т 3, стр. 312.

Этот необыкновенно сложный «комплекс», это своеобразное и многосоставное мировоззрение народной массы — социальные и политические идеалы, мораль, психология, поэзия, религия, выработанные многими веками общения и борьбы с природой, веками тяжкого труда, социального гнета, политического бесправия,— это народное мировоззрение, в его непростых отношениях с идеями и идеалами ищущей интеллигенции, становится для Короленко едва ли не главным объектом художественного и публицистического исследования. «Народная мудрость» может привести к смирению, созерцательности, пассивности, но она же делает многих героев Короленко, как, например, того же Яшку, бунтарями, протестантами, неисправимыми и непримиримыми «искателями». «Народная мудрость» может стать источником нравственной силы и чистоты, истинной «праведности».

К богатейшему запасу ссыльных впечатлений, давшему сначала «Чудную», «Яшку» и «Сон Макара», Короленко обращается и потом, многие годы спустя. Но ссыльные странствия были лишь началом приобщения Короленко к народной жизни

Живя, по возвращении в 1885 году из Сибири, в Нижнем Новгороде, затем в Петербурге и, наконец, в Полтаве, Короленко не оставляет своих «хождений в народ» — он, пешком, с котомкой за плечами, смешивается с толпой богомольцев, идущих на легендарное озеро Светлояр или в Оранский монастырь; он плавает на пароходах и на лодке по Волге и ее притокам — Ветлуге и Керженцу, в тех местах, где еще так недавно, казалось, незыблемо стояли старообрядческие скиты и монастыри; он самоотверженно, в самых трудных условиях, работает «на голоде» в глухих лесных деревеньках Нижегородской губернии; он едет на Урал, туда, где сто с лишним лет назад пронеслась гроза пугачевского восстания; он, наконец, не остается в стороне и от крестьянского движения на Полтавщине в годы аграрных беспорядков начала XX века, в преддверии и во время революции 1905 года...

Не только очерки, не только публицистика создавались Короленко на основе его богатейших впечатлений, встреч, воспоминаний, услышанных рассказов — собственно художественные произведения — повести и рассказы — вырастали из действительных фактов биографии писателя. Этим объясняется столь характерная для творчества Короленко не формальная, но вполне естественная, обусловленная жизненным материалом, циклизация его произведений, объединение их в группы, циклы — сибирский, волжский, украинский, румынский...

И с каждым очерком и каждым рассказом художественное проникновение в народное мировоззрение, изображение народных характеров, вообще народной жизни становится все более значительным, глубоким, многоплановым. И основой этого «углубления» был в конечном счете принцип, сформулированный, как сказано выше, Салтыковым-Щедриным: под, иной раз, страшной и уродливой формой народного бытия распознает писатель человеческую сущность, под пеплом обнаруживает «искорки».

Короленко как бы хочет стать голосом немого, «без языка», народа.

В очерках «В голодный год» Короленко высказал мысль, определившую его понимание народного мира, а тем самым и его принцип художественного отображения этого мира. Он отвергает представление о народе как некоей безликой массе: «...нам народ кажется весь на одно лицо, и по первому мужику мы судим о всех мужиках». Для Короленко мужик — не безличный носитель «роевых», всеобщих, недифференцированных черт крестьянского мира, а человек, индивидуальность, личность.

Если воспользоваться теперь устаревшим, но когда-то постоянно употреблявшимся словом, обозначавшим человека из народа,— «простолюдин», то «простолюдин» Короленко — исконный, так сказать, потомственный крестьянин, крестьянин по отцу-матери. Однако не так уж часто на страницах очерков или рассказов Короленко выходит он на пашню или покос.

Герой сибирских рассказов Короленко оторвался от родной деревни, изведал и лютой неволи и «вольной волюшки», и земледельческий труд на чужбине для него хуже неволи. Такой выбитый из жизненной колеи предков мужик может всю жизнь стремиться домой, в деревню, в «Рассею», мучительно страдать от своей бродяжьей жизни, от невозможности построить дом, семью... Но вряд ли и там он нашел бы успокоение и счастье в однообразном труде пахаря.

Если же короленковский «простолюдин» — земледелец, то мы-то его чаще видим совсем в другой роли — не столько в будничном крестьянском труде, сколько в нравственных исканиях, в тех особенных, ключевых моментах бытия, которые наилучшим образом открывают его сложное миросозерцание, его душу, его мораль. Писателя больше интересует Русь не бытовая, а «взыскующая», странствующая, бедствующая, бунтующая.

Короленковский «простолюдин» — своеобразный романтик, и потому он чаще не пахарь, а охотник, рыбак, бродяга, ямщик, богомолец, «лесной человек».

Одно из немногих, но важных исключений — пахарь-Тимоха (рассказ «Марусина заимка»). Он весь во «власти земли», сам как бы часть этой земли, какой-то «земляной», истинный хозяин заимки — возделанного клочка земли среди непаханых якутских степей и нерубленых лесов.

Как и в Макаре, в нем есть что-то символическое. Он «весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений треух беззаботно покрывал его голову с запыленными волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян».

Тимоха пострадал за «мирское», крестьянское дело, был исторгнут из привычной жизни крестьянина-пахаря и теперь всеми силами своей мужицкой души жаждет опять выворачивать сохой старые корни, сеять «пашаничку». «Очевидно, в этой идее,— комментирует автор,— потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами. И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи».

Ссыльнопоселенец Тимоха и здесь, в далекой Сибири, остается самим собой, земледельцем, пахарем, неспособным жить так, как живет этот, чуждый ему мир — якутов-скотоводов, охотников, бродяг. Он вспахивает землю, которая, по представлениям якутов, самим богом предназначена к тому, чтобы давать траву, корм скоту. Какая же сила движет пахарем-Тимохой? «Что это за человек,— думал я невольно: — герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?»

Короленко не отвечает на этот вопрос прямо, может быть, потому, что понимает невозможность дать на него какой-либо однозначный ответ. Конечно, о сознательности тут не могло быть и речи, но какая-то древняя, испокон веку сохраняющаяся, почти первобытная культура мужицкого труда была. В ней — нечто глубокое, влекущее, нравственное, исцеляющее. Жажда «изломанной» женской души «выпрямиться» двигает «вечного работника» Тимоху: рядом с ним исковерканная жизнью, исстрадавшаяся Маруся находит исцеление. Упорное, неистребимое тяготение Тимохи к земле — своеобразная, пусть примитивная форма неприятия чуждого порядка, неволи, форма борьбы с дикой, подчас же-

стокой, непонятно-таинственной, враждебной человеку природой.

В другом рассказе Короленко, «Государевы ямщики», так же боролся ссыльнопоселенец Островский, тщетно возделывавший свой клочок земли среди каменных утесов ленского берега, под губительным дыханием ледяного ветра.

Веками живя среди мертвых камней, льдов, без солнца, тщетно спасаясь от всепроникающего мороза, люди и сами окаменели, равнодушные к себе и другим. Обращаясь к жителям станка на берегу Лены, отчаявшийся Островский восклицает: «Вы — дерево лесное!.. И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звезды, и...» «Лес, камни... и люди, как камни».

Около холодных камней, под мрачным, бессолнечным небом, среди непроходимых лесов, «таежной пустыни», в «ямах» ленских станков угасает вера, чахнет жизнь, замерзает совесть...

На Нюйском станке, расположенном в ледяной ленской «щели», медленно умирают дети, многие месяцы лишенные солнца («Последний луч»): «Что это за жалкое детство! — думал я невольно, под однотонные звуки этого детского голоска. —Без соловьев, без цветущей весны... Только вода да камень, заграждающий взгляду простор божьего мира». Образ чахнущего среди камней мальчика, будто бы потомка декабриста Чернышева, как бы повторяет образ из другого, ранее написанного рассказа, «В дурном обществе»,— нежный и печальный облик маленькой Маруси, гаснущей в каменном склепе; камень безжалостно высасывает слабую детскую жизнь.

Жестокая природа, борьбе с которой отдаются все силы, превращает человека как бы в свою часть, он сам становится бесчувственным камнем. Человеческая натура, подчиняясь, искажается, мораль ограничивается эгоистической жаждой самосохранения, почти животным, бессознательным желанием выжить. Такая естественно-первобытная мораль у Макара, у ленских станочников, которым бросает гневные слова презрения и ненависти Островский.

Страшная власть морозной тайги усыпляет, замораживает совесть, заставляет равнодушно пройти мимо погибающего человека. И когда совесть «отмерзает», пробуждается, ее мучительные укоры посылают человека на гибель — герой рассказа «Мороз» казнит себя за неспособность сохранить человечность всегда и везде.

Удивительно точны и зримы в этом рассказе картины сибирской зимы: застывшая, мертвая тайга, мороз, проникающий в самую душу, «станок» на Ленском тракте, «государе-

вы ямщики». Исключительна, необыкновенна трагическая коллизия рассказа: казалось бы, бессмысленная гибель человека до предела обостренной совестливости. Но при всей безусловности «местного колорита», при всей исключительности коллизии рассказ о замерзшей, исчезнувшей совести символичен, необыкновенно характерен для творчества Короленко своей морально-психологической и общественной значимостью.

«Одичание», «замерзание» в человеке человеческого — это и результат бездумного, бессознательного «слияния» с дикой природой, это и конечный итог безропотного подчинения некоему испокон веку установленному, будто бы «данному богом» общественному устройству, власти, охраняющей косный и отживший социальный порядок.

Власть в лице самых разных ее представителей — «тойонов», начальников — постоянно присутствует на страницах произведений Короленко. Здесь и сопровождающие ссыльных жандармы — от простых солдат («Чудная», «Черкес») до полковника («По пути»), и колоритная галерея исправников, и, наконец, такое яркое выражение «дворянской диктатуры» девяностых годов, как земские начальники («В голодный год», «В облачный день»).

Самая суть этой власти точно определена названием одного из рассказов Короленко — «Феодалы». Самодержавная политическая система снизу доверху есть система феодальная. Для такой власти нет закона, даже установленного ею самою,— для нее существует лишь произвол, ставший «законом», нормой, принципом. Эта сила, от которой напрасно было бы ждать разумного объяснения ее произвольных действий, швыряла и самого Короленко по тюрьмам и ссылкам.

Символическое, почти фантастическое (а между тем основанное на действительных фактах) воплощение безграничного произвола — полубезумный «Арабын-тойон», «адъютант его превосходительства», сибирского генерал-губернатора Анучина. «Быть искренно убежденным,— сказано о нем в рассказе Ат-Даван,— что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления,— от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего».

Сложно миросозерцание народной массы, сложно и ее отношение к власти. Короленко неоднократно, в частности, наблюдал такую особенность этого отношения: отделение в сознании народа реальной политической власти, которой он подчиняется, но морально не приемлет, от идеального образа

царя, на которого возлагает все свои надежды. Яшка-стукальщик обличает «неправедных начальников» во имя «великого государя». Крестьяне-ходоки идут за правдой к царю. «Лесной человек» Аксен (цикл «В пустынных местах») апеллирует к «государю» в своей борьбе с государственным лесничим за право жить «лесной жизнью» — жизнью многих поколений своих предков. «Степное верноподданство» уральских казаков «решительно отделяет царя от реальной власти, идеализирует его, но вместе превращает в отвлеченность. И затем противится реальной власти во имя этой мифической силы...» («У казаков»).

Понятно, что Короленко — человека и художника — влекут не те, кто смирился, кто равнодушно принял свою неволю, свое тусклое, «ненастоящее» существование. Его сердце лежит к таким героям, которых можно назвать романтиками, каким бы ни был по своим истокам их романтизм. Мы очень часто встречаем на страницах произведений Короленко это слово. Его содержание, его смысл многозначны. Но всегда при этой многозначности романтизм для Короленко — это жажда идеала, вера в лучшее, в его возможность, в его необходимость для человека. Один из героев рассказа «Мороз» говорит (и мы знаем, что это говорит сам Короленко): «Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его «божественном начале», об его титаническом значении». «Искорки» идеала, вспыхивающие среди темной ночи,— вот что хочет найти Короленко в своих героях. И он, сам романтик, всячески раздувает эти «искорки».

Так, в безнадежной и, наверное, гибельной для него стычке с могущественным Арабын-тойоном, под влиянием вдруг нахлынувших воспоминаний молодости «вспыхивает» жалкий, потерянный смотритель маленькой почтовой станции на Лене («Ат-Даван»).

Так, амгинский крестьянин Захар Цыкунов, мечтающий надеть перед смертью хорошие сапоги, дабы в приличном виде предстать перед богом (см. комментарий к рассказу «Сон Макара»), превращается в рассказе Короленко в Макара, видящего удивительный сон о справедливом небесном суде для крестьянина-труженика, ибо земной суд несправедлив. И вершит этот суд не Большой тойон, не бог, а сам Макар, бессловесный и темный Макар, обретший наконец в гневе своем необыкновенный дар слова.

Ищет «праведных людей» «убивец» Федор Силин, не подозревая, что он-то и есть тот самый «праведный человек», воюющий один с целой шайкой бандитов, перед которой отступает власть, да и с самой властью...

Особое место среди «сибирских» рассказов Короленко за-

нимают написанные в разное время три рассказа о бродягах: «Соколинец» (1885), «По пути» (первая редакция под названием «Федор Бесприютный» — 1885—1886), «Марусина заимка» (1899) — своеобразная «бродяжья трилогия», своего рода триптих, каждая часть которого по-своему отражает другую и, в свою очередь, отражается в другой. В центре трилогии один образ — бродяги, трагически безнадежно рвущегося на волю и неспособного найти себе место даже на воле.

Открывается трилогия «бродяжьей эпопеей» «соколинца» (то есть сахалинца, бродяги, сосланного на Сахалин), рассказанной им самим в якутской юрте, в тоскливую морозную ночь безжалостной сибирской зимы. Эта эпопея производит тем большее, неотразимое впечатление, что слушает ее такой же ссыльный, как и соколинец, так же мучительно и безнадежно мечтающий о воле, о недостижимой далекой «Рассее»...

Не прост духовный мир бродяги, надломлена, болит и мучается его душа, гнетет его «лютая бродяжья тоска». Но над всем царит огромная жажда «вольной волюшки», безгранична радость ее хотя бы временного обретения: «Как изошли из кустов, да тайга-матушка над нами зашумела,— верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало».

Трепещет где-то в глубине души самого отпетого бродяги надежда вернуться домой, «в Рассею», и бежит он всегда в одну сторону, в эту далекую и часто полузабытую Рассею, которая влечет его как символ недоступного покоя, утраченной нравственной чистоты, духовного и душевного равновесия, наконец, вольности. «Далеко!.. Наша-то сторона, Рассея...» — тоскует «соколинец» Василий. Старый бродяга Буран, предводитель беглецов с Соколиного острова, «всю-то жизнь почитай все из Сибири в Рассею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом...»

Такое же безудержное стремление в Рассею, такая же мечта живет в герое рассказа «По пути» — Фролове, прозванном «Бесприютным». Это классический тип «потомственного» бродяги, бродяги с малых лет. Страстно хочет он вернуться домой, в русскую деревню, где у него сестра (которой он, впрочем, не помнит и не знает, жива ли она). Бесприютный глубоко страдает без дома, без семьи. Суровый бродяга, он трогательно печется о несчастной женщине-каторжанке и ее ребенке. И когда у него хотят отнять поддерживающую его надежду, он становится страшен, он готов покончить с собой.

Ссыльнопоселенец, бывший бродяга силится иной раз создать себе здесь, на поселении, в Сибири, какой-то

мир, подобный «рассейскому». Одним это удается, как удалось пахарю Тимохе и Марусе с далекой заимки, Марусе, о которой Тимоха мимоходом роняет знаменательные слова: «баба хоть в Рассею возьми». Истовый «земляной» человек Тимоха «выпрямляет» исковерканную Марусину душу.

Другие лишь ненадолго обманываются иллюзией душевного исцеления, вроде «соколинца» Василия и Степана с Марусиной заимки. «Живу, могу сказать, не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород»,— говорит «соколинец». Но за словами Василия о благополучии стояло «что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...». «В глубине души он сознавал,— хотя и подавлял пока это сознание,— что эта серая жизнь, жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль».

И Василий не выдерживает, как не выдерживает Марусин Степан. Бросив налаженное хозяйство, они меняют будничную трудовую жизнь на постылой чужбине на опасную, отчаянную, но яркую и вольную жизнь бродяги.

Так в сибирских рассказах живет этот своеобразный, красочный мир народной жизни — ссыльнопоселенцы, бродяги, ямщики... Во многих из них есть нечто исключительное, необычное, романтическое—искание лучшего, беспокойство, отвращение к серой жизни, к тупому смирению, жизненная активность, надежда. Однако, завершая свой рассказ о «соколинце» — «молодой жизни, полной энергии и силы, страстно рвущейся на волю», писатель задается вопросом, на который нет ответа, в котором вся безнадежная трагедия бродяжничества: «Куда? Да, куда?» Куда же рвется эта молодая жизнь? Короленко мог бы сказать о своих героях-бродягах то же, что до него сказал об обитателях сибирского острога бывший каторжанин Достоевский: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?» («Записки из Мертвого дома»).

После возвращения в 1885 году «в Рассею» Короленко на десять лет поселяется в Нижнем Новгороде. Масса новых впечатлений наполняет его творческое сознание, будит его воображение. Прежде всего возобновляется общение писателя с близкой ему общественной и литературной средой. Он

устанавливает дружеские связи с теми, кто сохранил лучшие заветы шестидесятых — семидесятых годов, в частности с Глебом Успенским.

А годы, которые Короленко провел в тюрьмах и ссылках, были очень тяжелыми для русского общества, для русского освободительного движения. После убийства в 1881 году народовольцами царя Александра II, которое вызвало еще небывалые репрессии властей, наступила трудная пора идейных кризисов, примирения с существующим порядком вещей, а то и просто отступничества. Глеб Успенский говорил вернувшемуся из ссылки Короленко: «Вы счастливы... ссылка позволила вам сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы, виновны уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которого не вытравишь ничем» [1].

И одно из первых произведений, написанных Короленко после ссылки,— «Сказание о Флоре», декларирует его прочную уверенность в необходимости «противления» насилию, борьба с которым всегда была делом его совести.

В это же время впервые появляется в творчестве Короленко образ удивительного человека — одинокого, гордо замкнутого носителя справедливости — отца-судьи («В дурном обществе»). И хотя, разумеется, отец маленького героя повести — художественный образ и потому неверно было бы видеть в нем просто зеркальное отражение прототипа, самая суть нравственного облика судьи Короленко воспроизведена в этом художественном образе точно.

Отец был для писателя образцом гражданского поведения, хотя самые мотивы такого поведения стали у Короленко-сына иными. «Необходима — справедливость! — говорил Короленко молодому Горькому.— Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость...» [2]. И Короленко себя не щадил. Ощущение общественной неправды было у него сильнее личных чувств — горя, болезни, самосохранения. Когда он в 1896 году выступил в защиту несправедливо обвиненных крестьян-удмуртов, его постигло самое тяжелое горе — смертельная болезнь дочери. Короленко записал в «Дневнике»: «4 июня решился мултанский процесс. Я уже боялся, почти

---

[1] В. Г. Короленко. Дневник, Госиздат Украины, 1925, т. 1, стр. 60.

[2] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 15, М. 1951, стр. 31.

знал, что моей девочки нет на свете[1], но радость оправдания (крестьян-удмуртов.— *К. Т.)* была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения на это время не было места (правда эта смесь стоила мне после очень много. Мне кажется, что я за это время потерял несколько лет жизни)»[2].

Но и до «мултанского дела» жизнь Короленко в Нижнем Новгороде — это не только художественное творчество, но и борьба всеми возможными средствами с общественной несправедливостью, против «дворянской диктатуры», в защиту мужика — угнетенного, безземельного, умирающего от голода... Общественная активность Короленко, нравственная красота и сила его личности — писателя, журналиста, организатора помощи голодающим — дали особый цвет целой эпохе в жизни обыкновенного губернского города царской России, сделали эту эпоху «временем Короленко» («Время Короленко» — так назвал Горький свои воспоминания о Нижнем Новгороде конца восьмидесятых — начала девяностых годов).

После возвращения из ссылки Короленко опять «в народе», в многоголосой народной толпе, голоса которой он внимательно слушает и воспроизводит. Только теперь это уже исконная крестьянская Русь, это леса и поля Нижегородской губернии, берега Волги, «леса» и «горы», ее окружающие.

И в произведениях «волжского» цикла или позднее, в очерках «У казаков», миросозерцание народной массы остается, пожалуй, главным предметом интереса и художественного изображения Короленко. Однако самый жизненный материал здесь оказывается иным, нежели материал, давший содержание «сибирским» произведениям. Крестьянин-пахарь не был исключением в той народной среде, которую наблюдает теперь Короленко. И наряду с «нравственным» сознанием народа писателя все больше интересуют сложные социальные процессы, происходящие в русской деревне. Он прямо характеризует социальный быт деревни как разложение, разрушение русского крестьянского мира при сохранении старых, застойных форм его существования. Анализу состояния русской деревни в критический, переходный период ее истории Короленко посвящает свои художественно-публицистические очерки «В голодный год».

«„Крестьянство рушится",— эта фраза слышится теперь

---

[1] Оля Короленко умерла 29 мая.

[2] В. Г. Короленко. Дневник, Госиздат Украины, 1927, т. 3, стр 241.

слишком часто. Рушится крестьянство, как рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью» («В голодный год»).

Разложение сказывается прежде всего в экономическом крахе русского сельского хозяйства. Писателю ясно — такова центральная мысль его очерков о голодной русской деревне,— что главная причина катастрофических неурожаев, постигших Россию в начале девяностых годов, и вызванного ими повсеместного голода и эпидемий были вовсе не засухи, а полная историческая негодность, анахронизм русского социального уклада и как следствие—трагическая отсталость русской деревни. «...Застой, который мы так ясно ощущаем во всех сферах нашей жизни,— пишет Короленко,— быть может, с особенной силой проявляется в деревне. Свободное развитие и творчество новых форм жизни остановилось на акте освобождения[1], и теперь сдавленная со всех сторон жизнь деревни застыла в старых перегородках».

Крестьянство лишено земли, по-прежнему в массе своей оставшейся у прежних владельцев, опутано тенетами «круговой поруки», изнурительный и неблагодарный труд на клочке земли спасает от голода лишь до нового года, зимой рабочие руки никому не нужны...

В эту почти первобытную деревню вторгается новый владыка — капитал, довершая разрушение беззащитного перед ним патриархального крестьянства, превращая его медленно, но неуклонно в «сельский пролетариат». Статистика, пишет Короленко, показывает растущее год за годом обнищание крестьянства: «Год за годом оставлял свою рытвину, точно след реки на отлогом берегу. Два последние (голодные.— *К. Т.*) года произвели уже настоящий обрыв, точно после наводнения... Река народной жизни опять войдет в русло, но течение уже будет не то. На нем, как новые мели, могут отложиться новые пласты «бывшего крестьянства», вновь возникшего сельского пролетариата». Эта опасность «огромна, широка, повсеместна и стихийна».

Короленко поражен «народным невежеством, которое по объему равно народному долготерпению», глубокой и безнадежной отсталостью социального быта крестьянства, косностью и патриархальной наивностью миросозерцания, какой-то допотопностью самого облика русского мужика.

Уже на первых страницах очерков «В голодный год» появляется «деревенский философ» Потап Иванович, объясняющий недуги деревни в соответствии с предсказаниями сво-

---

[1] То есть на крестьянской реформе 1861 года, освободившей крестьянство от крепостной зависимости.— *К. Т.*

ей бабки: «пойдет по миру змей огненный, весь свет исхрещет» и т. д. «Тянитьё» — телеграфная проволока — представляется этому «деревенскому философу» неким символом пришествия в мир «огненного змея»...

А вот из дремучих лесов выходит и совсем уже архаическая фигура: «Замечательно типичная и даже красивая в своей типичности фигура настоящего лесного жителя. Прямые, правильные черты, простодушное выражение светло-голубых навыкате глаз, очень длинные прямые волосы, подстриженные на лбу так, что они образуют для лица как бы рамку. Такими рисуют на картинах наших предков — славян[1], и такими видел я лесных жителей Горбатовского уезда, целую толпу крестьян Шереметевской вотчины. Тип этот, очевидно, сохранился и держится еще среди дебрей бывшего эпического леса.

Такой же лесной человек стоит передо мною и глядит простодушными синими глазами». Он голоден, его лишили пособия, он ищет работы. «Пока я смотрел с любопытством и жалостью на этого лесного красавца, в котором человек дремлет еще сном прошедших веков, убаюканный тишью лесных дебрей,— в его лице неторопливо совершалась новая перемена: оно как будто просветлело, что-то пробилось наружу в голубых глазах, и, повернувшись ко мне, он сказал с признаком радостного изумления:

— А ныне, слышь, опять вешали .

— Что вешали-то?

— Да что! Чудак! Хлеб вешали опять... И, слышь, чиновник опять разыскал в книгах-те...

— Кого?

— Да нас-ту разыскал, велел и нам выдать.

— Ты как же про это узнал?

— Да, вишь, парнишку встретил, парнишка баит... Не знаю — правда, не знаю — неправда. Домой плетусь

Глаза опять угасли, красивое лицо застыло в грусти, и он сказал прежним тоном·

— Отощал.. Дровец бы порубить.

Ему дали хлеба на дорогу, и красивая архаическая фигура исчезла вскоре на снежной дороге, провожаемая моим сочувственным взглядом...»

Так среди публицистических страниц, посвященных деталям организации столовых, разоблачениям беспардонной и невежественной власти, борьбе земства и администрации, статистическим выкладкам, появляется эта маленькая «кар-

---

[1] С древним славянином сравнил Короленко и пахаря Тимоху (см выше).— *К. Т.*

тинка с натуры», полная глубокого смысла, почти символическая.

Образ крестьянина из далекой лесной деревни говорит о многом, но прежде всего он мучительно поражает глубиной пассивного страдания, вековой и неизбывной скорбью, какой-то детской беззащитностью перед лицом сокрушающих стихийных сил, будь то сила природы, социально-экономических потрясений или сила власти. Лесной человек бессилен перед бедствием неурожая, перед своим «миром», перед господами, перед чиновником, от которого буквально зависит его существование (разыскал в книгах или не разыскал), даже перед сельским писарем — «дьячковым сыном».

Покорно «плетется» истощенный лесной человек по заснеженным дорогам в иллюзорной надежде, что его все-таки разыскали в книгах. А что если не разыскали?

Так же покорно идет, пока ноги несут, за многие десятки верст — «в голодной стороне по бездорожью» — несчастная женщина в поисках рубля: «Потому нам с детишками без земли не пробиться».

Нечто роковое чувствуется в трагической картине «зараженной деревни» — и этот мрачный мужик, с умирающей от сифилиса женой, с его неотвязным вопросом: «Как быть?.. Терпежу нету мне, невозможно мне терпеть, ваше благородие, сделайте божескую милость...»,— и этот ребенок, нищенством кормящий семью, девочка лет семи, у которой уже появились первые признаки страшной болезни: «Я наклоняюсь. Одетая, даже в сермяжном кафтане, девочка спит глубоким сном». (Днем она, семилетний ребенок, прошла больше двадцати верст за подаянием.) «На лице спокойствие забытья. А в изголовии уже, быть может, стоит роковая судьба, и несчастному ребенку предстоит умирать страшною, незаслуженною смертью... За что?» И эти беспомощно-наивные сетования старосты «зараженной деревни»: «Что такое, не знаем мы... Взялась у нас эта боль и взялась, вишь ты, боль.. Эх, беда!»

Все это в самом деле «нежители» — так называют себя голодающие крестьяне, покорно принимающие обрушившееся на них бедствие, которое для них — «удар господень».

Правда, русский крестьянин борется, протестует, «бунтует». Но этот бунт, этот протест очень часто похож на то, что Салтыков-Щедрин называл «протестом своими боками». Например, «бунтовщики-василевцы», которым Короленко посвящает особую главу цикла «В голодный год», и такие же бунтовщики-дубровцы после крестьянской реформы отказались платить выкупные платежи, а тем самым лишились земли в тщетной надежде, что «земля и так будет наша». Так решил

когда-то крестьянский мир, и вот уже тридцать лет василевцы «бунтуют»! «Мир осенила идея, мир «укрепился» на ней, мир решил... Что тут, в самом деле, поделаешь! Стихия, неизбежность, закон!»

Таким образом, Короленко языком ли публицистики или языком художественных образов утверждает, что «свободное развитие и творчество новых форм жизни» в современной русской деревне остановились, что крестьянский мир, бессознательно подчинившись сакраментальной формуле: «стихия, неизбежность, закон!» — пассивно принимает свое разрушение.

Писателю запомнился встреченный им в одной из деревень юродивый по прозвищу «Петя Болящий» (одноименный очерк в цикле «Современная самозванщина») — «деревенский страдалец, чистый сердцем и темный головою». Конечно, Петя — крайнее выражение «застоявшейся мудрости прошлых веков», в любом новшестве (даже в самоваре!) видящий явление антихриста. Однако ведь и «мудрец» Потап Иванович, появляющийся на первых страницах «Голодного года» — вовсе не юродивый, а прижимистый, «хозяйственный мужичок»,— ведь и он склонен объяснять народные бедствия пришествием «огненного змея». Не вправе ли мы отнести характеристику Пети Болящего и к «лесному человеку» «Голодного года»? Это, конечно, тоже «деревенский страдалец, чистый сердцем и темный головой». Эта формула довольно точно определяет крестьянина, мужика — так, как его видел, понимал и изображал Короленко.

Несомненная чистота сердца, часто большая моральная сила — вот что постоянно обнаруживает Короленко в своем герое-мужике.

«Глухой, медвежий угол»,— думает автор-рассказчик о маленькой «деревнюшке», глядящей окнами на Керженец, а задворками — в дремучий лес (рассказ «Приемыш», цикл «В пустынных местах»). И в одной из изб этой заброшенной в глухие заволжские леса «деревнюшки» развертывается истинно человеческая, трагическая и в то же время просветляющая душу история. Последовательно предстают перед читателем действующие лица этой драмы: маленькая крестьянская девочка Марьюшка — «приемыш», суровый и нелюдимый Степан Федорыч, «поздняя красавица» Дарья Ивановна, завоевавшая «новое материнство» любовью и болью сердечной. Трудное счастье этой семьи — в мужественном и каком-то поэтическом преодолении незабытого, но ставшего своеобразной легендой несчастья. Образ умершего мальчика витает над крестьянским домом, горе уже лишилось своей остроты, преодолено счастьем нового материнства — преодолено, но не забыто. Пожалуй, в этом рассказе сильнее, чем где-либо, ска-

зывается удивительная человеческая чуткость Короленко-художника, чуткость к самым сокровенным, на первый взгляд незаметным, но очень значительным оттенкам человеческих взаимоотношений — главная особенность его психологического мастерства. В рассказе «Приемыш» многообразные чувства героев — горе, страдание, любовь, радость, даже юмор — это именно *человеческие* чувства в их незамутненной чистоте и какой-то естественной прелести.

В рассказе «Приемыш» характер Степана намечен несколькими штрихами: впечатления автора от его сумрачной фигуры и рассказ Дарьи Ивановны о постигшем семью горе. Но вот в следующем рассказе, «На сеже» — о ловле рыбы в ночном Керженце с помощью особого приспособления, «сежи», Степан полно раскрывается с очень важной для Короленко стороны — в сокровенном, интимном общении с природой: в полном одиночестве, над темной рекой, в окружении спящих лесов, он оказывается как бы частью этой реки, этих лесов; он устанавливает таинственную связь с речной глубиной через нити, которые тянутся от его сетей: «Нити трепетали, вздрагивали, подергивались, точно кто-то невидимый в глубине играл на них как на струнах». Кончается рассказ видением, возникающим в сонном сознании автора: «Подо мною плещет глубина, таинственная, черная, бездонная... А просыпаясь от чуткой дремоты, я вижу над собой фигуру Степана. Она огромна, высится над лесами и головой уходит в фосфорические облака, которые толпятся все гуще... В руках у Степана вожжи, на которых он держит реку...»

Если Степан слышит и понимает разговор лося с лосихой, то другой «лесной человек» из того же цикла «В пустынных местах» (очерк «Ночная буря — Лесные люди»), «керженская знаменитость» Аксен-медвежатник, слыхал, как «медведь с медведицей баяли». Река, лес, медведь, «божья тварь» — пчела, встреченный в лесу человек — все это понимает и принимает Аксен, на все это распространяет свое добродушие, свою ясную и открытую доброжелательность, во всем этом он видит некий «божий порядок», рушить который «бог» и «великий государь» не велят... А теперь этот порядок рушится: лесничий не велит бить медведя, приказывает прорубать в дремучих лесах просеки, устанавливает налог на борти. Как, почему, к лучшему все это или к худшему? Этого «лесной человек» с его «темной головой» не в состоянии понять. «Лесной человек» протестует, но протестует во имя старого, устоявшегося, во имя «дикой, стихийной, непосредственной лесной правды, родившейся где-то в бессознательной древности», «протестует во имя стихийных, правящих в лесном царстве законов». И он пытается найти защиту у своего бывшего помещика, «хорошего человека», который,

в сущности, является его злейшим врагом, который «омманывает» его, отнимает у него землю.

Эту вековую приобщенность бытия народной массы к стихийной, то враждебной, то сочувственной человеку жизни природы Короленко обнаруживает не только у «лесного человека» или русского пахаря. В одном из очерков цикла «У казаков», написанного после поездки в 1900 году на «дикий Яик», в уральские казачьи области, Короленко передает следующий характерный разговор:

«— Как это можно,— говорил мне с убеждением казак из одной приуральской верховой станицы.— Вон у меня под яром сазан держится. Вот какой сазан... агромадный! Так ведь он у меня жилой. Тут и зимует, тут и летом живет...

— Ну так что же?

— Как что? Пароход его должен испугать. Он, значит, подастся в море. Конечно!

Казаки уверены, что жилой сазан во веки веков не пустит в реку парохода...»

Эта слитность морали, душевного строя, поступков, даже политических взглядов «простолюдина» — русского мужика, украинского крестьянина, уральского казака — с естественным, природным бытием так велика в художественном мире Короленко (отражающем, разумеется, конкретно-исторический социальный мир), что произведения, в которых главным является изображение вовсе не жизни природы, тем не менее могут называться: «Лес шумит», «Река играет», «В облачный день»...

Шумит лес, и разгорается кровь старого украинца, тоже «лесного человека», и кажется, что не он, а бушующий дремучий лес рассказывает своим разноголосым шумом старую полесскую легенду о драме, которая разыгралась когда-то в этом фантастическом лесу, где вместе с «лесным хозяином» еще бродят и тоскуют тени давно ушедших участников драмы...

Спокойно и мирно течет в своих зеленых берегах тихая, «милая» красавица Ветлуга (рассказ «Река играет»). Автор говорит о ней с умилением и нежностью, как о живом существе, полноправном и деятельном участнике нехитрой, естественной человеческой жизни, столь же непосредственно и просто текущей на ее берегах. И Тюлин, и сын его Иванко, и усталая баба с детьми, и «воришканы» из деревни Соловьихи, и пьяная артель, обманутая лесоторговцем, и даже сам этот лесоторговец — все это движется, и говорит, и чувствует, и мыслит вместе с рекой. У этой жизни — хочешь не хочешь — свой «обычай». «Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов,

и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы?.. Ну где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?»

Притерпелись «ветлугаи» и к тюлинскому «обычаю», столь сходному с «обычаем» их родной Ветлуги, то тихой и сонной «смиренницы», то «шаловливой» и бурной, вдруг просыпающейся и наполняющей их жизнь говором и движением.

«Подлец мужичок, будь он проклят!» — в сердцах восклицает ветлугай, вынужденный с возом часами дожидаться загулявшего Тюлина.

Ну как же не подлец? Пьяница, лентяй, драчун! Но почему же и автор склонен отнестись к тюлинскому обычаю с «терпимостью», почему в его сердце рождается невольная симпатия к этому «стихийному, безалаберному, распущенному и вечно страждущему от похмельного недуга перевозчику Тюлину»?

Короленко не отвечает прямо и однозначно. Но в своем целом рассказ, конечно, на этот вопрос отвечает.

Стихийность, безалаберность, распущенность, постоянное похмелье вряд ли могут быть симпатичны.

Но автор готов простить Тюлину стихийность его натуры, простить именно потому, что в этой стихийности — естественность, непосредственность, простота.

С мрачно-тоскливой ноты начинается рассказ: «Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшею навеки народною мыслью».

Наступает момент, и бездеятельный Тюлин перерождается — он «играет», как играет его родная Ветлуга, исчезает его апатия, он становится деятелен, тверд, решителен, в глазах загорается мысль. «А и то надо сказать: дело свое знает»,— говорит тот же «ветлугай», назвавший его «подлецом».— «Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет...»

Может быть, в этой способности «взыграть» — залог будущего пробуждения народной мысли, залог пробуждения народа к осознанному историческому действию?

Горький писал в 1918 году: «...правда, сказанная образом Тюлина,— огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан

исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле»[1].

Из непосредственного общения с природой, в явлениях которой чудятся действия каких-то таинственных сил, рождается народная поэзия, народная мифология. Умный мужик Иван Савин (рассказ «За иконой») объясняет горожанину сапожнику Андрею Ивановичу исконную крестьянскую надежду на «чудо» именно этой постоянной зависимостью всей жизни мужика от «божьей воли», а точнее, от могущественных стихийных сил природы. «Ты в своей воле живешь,— говорит Иван Савин Андрею Ивановичу.— А мужик... он кругом как есть в божьей воле ходит. Сейчас вот парит крепко, а из-за лесу вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему, только что разве промокнешь. А мужик — уж он соображает, стало быть, к чему господь батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она пользительна, и мы должны бога благодарить. А иной раз бывает: хлеба налились, вдруг холодом пахнет, побежит-побежит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать, икону мы подымаем, молимся: отвороти!»

В очерке «Нирвана» Короленко удивительно тонко и поэтически воспроизвел многовековой процесс почти бессознательного художественного творчества, творчества образов, протекающий в фантазии многих сменяющих друг друга народных поколений, как бы творчества самой природы. Придунайская степь, ковыль и солончаки, степной пастух — чабан, пасущий под жаркими лучами солнца свои стада: «В его песне веет степной ветер, и шелестит трава, и шумят верхушки деревьев, и, кроме того, плачет, и нежится, и тоскует душа человека...

Он ли, впрочем, создавал эту песню? Она вырастала веками в поколениях этой черноземной силы человечества, сменявших друг друга, как сменяются травы в степях... Что он заимствовал из песен своих предшественников, звучавших, как стоны ветра, и что взял у степного ветра, звучавшего, как смутная песня,— он не скажет и сам».

Не так же ли рождались народные песни и народные мелодии, которые вдруг, часто в самые значимые и волнующие моменты, начинают звучать во многих произведениях Короленко?

В простых напевах «куска украинской вербы» — «хохлацкой дудки» кучера Иохима, победившей хитрый венский ин-

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 14, стр. 245.

струмент, слышится голос украинской природы, шум леса, «тихий шепот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня», спутница и всегда живая память истории народа. «Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей и вечно говорящей человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого».

С народной песней приходит к «слепому музыканту» спасительное приобщение к народу, к широкому миру человеческих интересов.

Образы народной поэзии проходят через весь волжский цикл...

Поразительной красоты старинные казацкие песни звучат в той знаменитой сцене в трактире «Плевна», которая, по свидетельствам современников, так нравилась Льву Толстому.

Замечательной и неотъемлемой частью мифологического и поэтического сознания народа, отражением его сложного исторического прошлого был социально-утопический миф о «взыскуемом граде» — граде Китеже, Беловодии, Камбайском царстве.

Образ идеального царства — мира гармонии, справедливости, благостных, патриархальных отношений, который лежит где-то за пределами мира привычного, реального, видимого, но неистинного, погрязшего в грехах и скверне, этот образ жил в народном сознании и привлекал на берега озера Светлояра, в водах которого будто бы скрылся от полчищ Батыя град Китеж, «толпы людей, стремящихся хоть на короткое время отряхнуть с себя обманчивую суету-сует и заглянуть за таинственные грани».

Что же такое этот созданный народной фантазией образ «града Китежа», как не свидетельство неумирающего стремления народной мысли и народного чувства к идеалу?

И потому, наверное, так велик был интерес Короленко к этой стороне народного миросозерцания: «Есть что-то умилительное и для нас в этой легенде... Многие из нас, давно покинувших тропы стародавнего Китежа, отошедших и от такой веры и от такой молитвы,— все-таки ищут так же страстно своего „града взыскуемого"». Но, как видим, Короленко делает горькую и знаменательную оговорку. Оказывается, что народная мечта о «взыскуемом граде» находит для себя пищу в идеализируемом далеком прошлом, град Китеж построен народной фантазией «в чисто историческом плане». «Много наивного чувства, мало живой мысли,— пишет Короленко в очерке «Светлояр» (цикл «В пустынных местах»).— Град взыскуемый, Великий Китеж — это город прошлого. Старинный град со стенами, башнями и бойница-

ми... с боярскими хоромами, с теремами купцов, с лачугами простого, «подлого» народа. Бояре в нем правят и емлют дани, купцы ставят перед иконами воску-яровые свечи и оделяют нищую братию, чернядь смиренно повинуется и приемлет милости с благодарными молитвами...» Такой град можно искать, но созидать его нельзя.

Лет через десять, во время своей поездки по уральским казачьим областям, Короленко услышал удивительную, почти невероятную и тем не менее истинную историю о том, как в 1898 (!) году трое казаков — с миросозерцанием и чувствами, «напоминающими если не Одиссея, то во всяком случае людей XV и XVI столетия» — отправились на поиски Беловодии, или Камбайского царства, и даже добрались до Индокитая, где по их фантастической географии, почерпнутой из «маршрутов мифического инока Марка и загадочного архиепископа Аркадия», должна была находиться Беловодия (Об этой казацкой «Одиссее» Короленко рассказал в цикле «У казаков»)

«Взыскуемая» Беловодия сродни «взыскуемому граду Китежу» и тоже представляется «в чисто историческом плане». «Это настоящая сказочная страна всех веков и народов»,— заключает Короленко и добавляет иронически: «окрашенная только старообрядческим настроением».

И в этом случае, как и в случае с «градом Китежем», поразительна эта пассивность идеализирующей фантазии, неспособность даже в утопии отрешиться от привычной социальной иерархии

Однако не только такая «мифология» привлекала внимание Короленко. Народ в своем прошлом идеализировал не только будто бы существовавший некогда «золотой век» — умилительную гармонию отношений бояр, купечества и «черняди». Народ создает не только легенду о граде Китеже, но и Пугачевскую легенду и образы «мирских заступников», разбойничков Стеньки Разина. В этих легендах, во многом далеких от исторической действительности, пламенеет дух борьбы и сопротивления (см. очерк «Пугачевская легенда на Урале»). На этой почве вырастает и тот «волжский романтизм», которым была захвачена молодежь семидесятых годов и сам Короленко.

В одном из самых значительных произведений «волжского цикла», в рассказе «В облачный день», воссоздан процесс рождения такой бунтарской легенды, легенды о том, как «вскипело холопье сердце».

Мрачные образы жестокого прошлого материализуются, сгущаются из этой «чуткой атмосферы», наэлектризованной «томлением и испугом иссыхающей земли», встают над черной пашней и уходящей до небес дорогой, как темная и бес-

конечно меняющая свои грозные очертания рать облаков: «Во всем чувствовалось ожидание, напряжение, какие-то приготовления, какая-то тяжелая борьба». Невзрачный ямщик Силуян, «былинщик», с его поэтическим воображением, глубоким волнующим голосом — лишь посредник, лишь орган этого непонятного огромного крестьянского мира, этих полей, берез, необъятного, движущегося неба: «В расколыхавшемся воображении Силуяна пробегали образы, на которые пала теперь угрюмая и мрачная тень этого вечера, сменявшего томительный день...» И пусть герой созданной воображением Силуяна «былины» барин Панкратов не был в действительности убит крестьянами, а умер своей смертью за границей, Силуян, как истинный и чуткий художник, умеет драматизировать, сгустить краски. Но эта его неправда не есть ложь, это истина в более глубоком и сокровенном смысле, истина крестьянского мира и мира природы, голосом которых, по воле автора, становится Кривоносый Силуян.

Таковы многие грани и многие стороны народного мировоззрения, открывающиеся внимательному читателю во всей совокупности произведений Короленко.

Эту многогранную, переливающуюся многими цветами призму народного миросозерцания он воссоздает с присущим ему мастерством.

Но не только воссоздает. Он, передовой интеллигент, окунувшийся в океан народной жизни, не равнодушный свидетель, а глубоко затронутый жизнью народа участник ее, осознает, анализирует, судит народное миросозерцание, народную мораль, историю народа.

Так в творчестве Короленко возникает образ «проходящего» — его замечательная художественная находка (рассказ «Река играет»). Смысл образа «проходящего» прекрасно понял Горький, воспользовавшийся им в своих рассказах цикла «По Руси». «Я намеренно говорю «проходящий», а не «прохожий»,— писал Горький Д. Н. Овсянико-Куликовскому,— мне кажется, что прохожий не оставляет по себе следов, тогда как проходящий — до некоторой степени лицо деятельное и не только почерпающее впечатления бытия, но и сознательно творящее нечто определенное» [1].

Деревенская Русь, по которой странствовал «проходящий» Короленко,— это та же Русь, что была источником и объектом идей и художественного творчества Льва Толстого.

В. И. Ленин в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» охарактеризовал положение и миросозерцание

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, стр. 251.

русского крестьянина на историческом переломе от реформы 1861 года к революции 1905-го: «Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой». «В нашей революции,— продолжал В. И. Ленин,— меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»,— совсем в духе Льва Николаевича Толстого!» [1].

«Разрушающееся» патриархальное крестьянство изображал и Короленко. Но в отличие от Толстого Короленко глубоко удручен пассивностью народной массы — бессознательностью, патриархальностью, юродством. Короленко отнюдь не сливается с крестьянской массой. Становясь голосом народа, он вовсе не перестает быть интеллигентом, для которого традиции передовой мысли — неумирающие, вечные традиции. Он по-прежнему возлагает на интеллигенцию историческую миссию пробуждения темного народного сознания.

Завершив свою напряженную, подчас прямо-таки самоотверженную работу «на голоде», Короленко с огромной горечью ощутил, что результаты помощи голодающим крестьянам не так уж велики, что эта помощь ни в какой степени не устранила причин трагического положения крестьянства. «Как жалки показались мне в эту минуту эти наши благодеяния, случайные, разрозненные, между тем как огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы вверху и внизу».

Главную опасность для деревни видел Короленко в возникновении из «бывшего крестьянства»—сельского пролетариата. В «Голодном годе» он призывал противостоять этому глубоко его удручавшему, можно сказать, ужасавшему процессу гибели «трудового народа», он полагал, что для спасения крестьянина необходимы «могучие усилия всего общественного организма».

В этих усилиях, по мысли Короленко, не последняя роль должна была принадлежать передовой демократической интеллигенции. Первейший долг мыслящих людей — «засту-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 210, 211.

питься за мужика», разоряемого «капиталом» — новым, буржуазным порядком, и «фиском» — дворянским государством, защитить мужика от обвинений в лени, пьянстве, обмане.

С болью душевной писал Короленко о том, что было опоэтизировано в известных стихах Тютчева:

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Ведь оборотной стороной народного долготерпения была удручающая пассивность, застой мысли, остановка творчества. И поэтому с таким вниманием искал Короленко в современности и в прошлом пусть кратких, «на час», моментов пробуждения «трудового народа» к мысли и действию, к творчеству. Короленко был глубоко убежден, что в конечном счете судьба России — в руках этого трудового народа, порука этому — преобразившийся, деятельный Тюлин, «былинщик» Силуян с его замечательным поэтическим талантом...

Историческим же делом и долгом интеллигенции должно быть активное и осознанное отношение к историческому процессу, участие в истории не в страдательной роли марионетки, дергаемой за ниточки какой-то фатальной силой, а в качестве деятельного участника, от борьбы и работы которого зависят результаты исторического движения.

Короленко был глубоким и трезвым наблюдателем современной социальной действительности. «Проходящий» его рассказов и очерков очень ясно видит сдвиги и перевороты в народном бытии и народном сознании, вызванные неизбежным и неостановимым вторжением в экономическую, социальную, нравственную жизнь России буржуазных отношений. Не будучи марксистом, отрицая руководящую роль рабочего класса в коренной переделке русского общества, Короленко в то же время возражал близоруким критикам марксизма: «Признать наступление капиталистической эры совершившимся фактом,— писал он в январе 1896 года одному из таких критиков,— в такой же мере не значит помириться со всеми ее последствиями,— как признание... бессилия капитализма в России — не знаменует непременно прогрессивности взглядов и радикализма» [1].

Короленко принадлежал к тем, кто в конце прошлого века признал «наступление капиталистической эры», но ни в коем случае не примирился со всеми последствиями такого наступления, точно так же, как не примирился с крепостни-

---

[1] В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10, стр. 244.

ческим застоем, с реакционной властью, с народной темнотой и т. д.

После трудной работы в голодающей русской деревне Короленко едет в 1893 году в Америку — страну «классического» капитализма.

Плодом этой поездки явился рассказ «Без языка» — о скитаниях в Америке украинского «простолюдина», отправившегося на поиски лучшей жизни.

В связи с третьим изданием рассказа в 1909 году Короленко следующим образом определил свою художественную задачу: «Эта книга не об Америке, а о том, как Америка представляется на первый взгляд простому человеку из России». Но все же это и книга об Америке. Короленко предпринимает своеобразный художественный эксперимент, создает, в общем, исключительную ситуацию (хотя в основе этой ситуации и лежал действительный случай или случаи), позволившую, разумеется, в пределах поставленной задачи, дать очерк, «принципиальную схему» той «эры», в которую тогда вступала и Россия.

Правда, этому на первый взгляд противоречит то обстоятельство, что Короленко сознательно ограничивает свое поле зрения, свой кругозор кругозором «темного» Матвея Лозинского. Но этот прием имеет принципиально важный смысл.

Меркой оценки нового общественно-политического устройства, капиталистической цивилизации явилась в рассказе Короленко во всем чуждая этой цивилизации самобытная фигура почти патриархального «лесного человека».

Для «цивилизованной» Америки украинский крестьянин в его белой свите, бараньей шапке, огромных мужицких сапогах, с его наивными попытками выразить свою благодарность целованием руки — всего лишь кусающийся дикарь, предмет одной из быстро сменяющихся, никого не задевающих сенсаций. Не только бульварного репортера, но и судью Дикинсона Матвей интересует, так сказать, с точки зрения курьезной, этнографической, но отнюдь не человеческой...

Сталкиваются два мира, между которыми непреодолимая разница исторических корней, условий и способов труда, морального содержания, бездонная пропасть человеческого непонимания. Они поистине говорят на разных языках. Матвей не знает «языка» этого мира, но и *этот мир не знает и не понимает «языка» темного крестьянина*... Последнее обстоятельство имеет для Короленко первостепенное значение.

Матвей ошеломлен ничтожеством человека перед ожившим и подавившим его железом, таинственными махинаци-

ями Тамани-холла, каким-то образом покупающего голоса (для Матвея, наверное, продать свой голос значило приблизительно то же, что продать собственную тень), самоубийством отчаявшегося безработного. Очутившись в огромном, грохочущем, несущемся, ни на минуту не успокаивающемся городе, Матвей мечтает хотя бы о клочке пашни, о лесе. Но оставленная родина с тоской вспоминается Матвею не только как крестьянская — сельская — страна, с ее лугами, пашнями, лесами. В тревожном и чуждом мире капиталистической Америки ему кажется привлекательным социальный уклад далекой родины. Ему кажется, что он нашел уголок родины в доме старой барыни, куда идет служить полюбившаяся ему бедная украинская девушка Анна: такие в этом доме ясные, привычные отношения — одни приказывают, другие повинуются, господа и рабы...

В письме, отправленном из Америки 6/18 августа 1893 года, Короленко писал: «Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете. И за что его, бедного, держат в черном теле!» [1]. «Черное тело»—это те страшные тиски феодальных общественных отношений, чуждой народу и человеку политической власти самодержавия, которые уродуют, закрепощают сознание.

И у Матвея, оказавшегося вне этих тисков, происходит медленное «раскрепощение» мысли. Не случайно, конечно, что впервые за все дни своей американской жизни Матвей забыл об одиночестве, приобщился к общему делу на митинге нью-йоркских безработных, таких же, как и он, одиноких, обездоленных людей. Он понял «язык» этих людей, как и они его: ведь именно безработные участники митинга помогли Матвею найти соотечественников.

Рассказ «Без языка» получил идейную и художественную завершенность во второй его редакции (1902 год), где, как необходимое дополнение к образу Матвея, появился другой образ — русского интеллигента Нилова, эмигрировавшего из царской России, чтобы стать простым рабочим на лесопилке в маленьком американском городке.

Матвей, переживший столько невзгод, с тоской говорит Нилову об оставленной родине:

« — Назад, на родину! — сказал Матвей страстно...— готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...»

Но зачем же он, Матвей, ехал в такую даль из родных Лозищ? Что его манило? — спрашивает Нилов, побуждая Матвея осознать свои стремления и поступки, сформулировать

[1] В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10, стр. 197.

«смутные мысли». Оказывается, что крестьянские мечты Матвея несложны и, в общем, вполне осуществимы: «...клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу»... и т. д. и т. п. «Все это вы можете найти здесь!»—говорит Нилов «решительно и резко».

Но где-то в глубине сознания Матвея теплится «смутная мысль», брезжит иная мечта, осуществление которой возможно только на родине, в России... Это мечта о таком мире, о таком обществе, где «простолюдин» никогда не мог бы оказаться «без языка». Эта же мысль, но ясная, глубоко продуманная, возвращает на родину Нилова. «Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная.. Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он оказал Нилову — за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны,— чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое,— он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...»

Дали просыпающейся жизни — вот куда постоянно была обращена мысль Короленко Он понимал, что эти дали открываются только тому, кто активно ищет, кто борется, кто способен сбросить оковы прошлого, кто постоянно стремится к свету: «Надо искать света!» (рассказ «Тени»).

Мучительные сомнения и терзания героя повести «С двух сторон» (вторая редакция, 1914 года) студента Потапова, потерявшего веру в духовные силы человека, разрешает профессор ботаники Изборский (прототипом его был Климент Аркадьевич Тимирязев). Перед восторженной молодой аудиторией профессор развивает теорию хлорофилла, совершающего в зеленом листе растения великую работу восприятия солнечной энергии, энергии света. Но зеленый лист в речи профессора Изборского — также метафорическое обозначение людей мысли, людей науки и знания, призванных стремиться навстречу мысли, как не может не тянуться к свету «слепой музыкант».

Короленко писал в 1903 году о своем рассказе «Не страшное»: «Тема — бессмысленная сутолока жизни и предчувствие или ощущение, что смысл есть, огромный, общий смысл всей жизни, во всей ее совокупности, и его надо искать» [1].

[1] В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах, т. 10, стр. 357—358.

Отказ от борьбы, от поисков смысла жизни, подчинение затягивающему быту фатально приводят героя рассказа, русского интеллигента, к смерти — нравственной и физической.

Окончательный смысл жизни для писателя — в неостановимом стремлении, движении, борьбе, в преодолении горя, несчастий, трагедии. Это главная мысль притчи о Менахеме и романтического рассказа «Море», герой которого, заключенный в мрачной башне на неприступном острове, бросается в бурное море, увидев на дальнем берегу вспышки выстрелов — знак восстания. Это главная мысль повести «Слепой музыкант» и рассказа «Парадокс» с его знаменитым афоризмом-парадоксом: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

Вдохновляющий образ борца с косностью, со «старыми богами» создает Короленко в историко-философской новелле «Тени». Герой новеллы — древнегреческий философ Сократ — обращается к народу: «Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!» С такими же словами обращался к своему народу Короленко, страстно желая, чтобы народная мысль перестала быть «смутной», стала сознательной и активной.

Когда произошла Великая Октябрьская революция, Короленко было уже шестьдесят четыре года. В конце своего жизненного и творческого пути писатель увидел «трудовой народ» проснувшимся к активной исторической жизни, к действию и борьбе. Главное внимание Короленко по-прежнему обращено к «мужику». В 1919 году он повторяет призыв Глеба Успенского: «Смотрите на мужика» (очерки «Земли, земли!»). Однако в политическом сознании писателя под впечатлением пережитого происходят важные сдвиги. В тех же очерках находим следующие знаменательные строки: «Марксизм указывал совершенно справедливо, что Россия не может оставаться страной исключительно земледельческой, что одно наделение землей не решает всех ее жизненных вопросов, что промышленность ее растет, фабрики и заводы множатся, зародился уже и растет рабочий класс со своими интересами, далеко не общими у него с крестьянством. И в этом росте нельзя видеть только отрицательного явления, как на это смотрели народники. Россия наряду с земледелием должна развить у себя и обрабатывающую промышленность. Притом марксисты верно подметили в этом явлении черту, близкую русской интеллигенции, задыхающейся в атмосфере бесправия. Проповедь свободы находит более легкий доступ в рабочую среду, чем в крестьянскую массу, загипнотизированную самодержавной легендой. Еще в период народничества рабочая среда выдвинула своих первых революционеров, как ра-

бочий Петр Алексеев... Эта же среда первая насторожилась при отголосках борьбы, которая уже закипала в городах между отжившим самодержавным строем и бессильной без народной поддержки интеллигенцией» [1].

Писателю подчас трудно было принять суровые формы классовой борьбы русского рабочего класса, осуществившего в октябре 1917 года Великую социалистическую революцию и самоотверженно боровшегося с врагами в годы гражданской войны. Однако он всегда страстно приветствовал «дали просыпающейся жизни», он сумел на склоне лет увидеть в революционном пролетариате естественного союзника передовой интеллигенции. «Всю жизнь, трудным путем героя,— писал Горький, — он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня» [2].

К. Тюнькин

---

[1] «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 29.

[2] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 15, стр. 51.

РАССКАЗЫ
И
ОЧЕРКИ



Сон Макара

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны,— тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебною стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки: наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни.

По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах «торбаса», питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко,— так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоенную, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем, завтра большой праздник,

работать нельзя,— что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.— Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе* старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белою, волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

— Ча! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

— Здоро́во! — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю? — переспросил он.— Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он.— Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело,— ответил он.— Да ты почем узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю,— сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего,— сказал Макар успокоительным тоном,— съем в другой раз... Верно? — переспросил он,— в другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился,

что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие, скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другою. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую

голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем, в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самою тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, несся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон...

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потяну-

лись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запушенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу,— ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед,— напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал снача-

ла отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура,— мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая, коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— *Тытыма́* (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алешке.

— *Тытыма́!* — отдался, точно эхо, голос Алешки.— Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное

бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу *соны*.

— *Тытыма́!* — крикнул он.— Это мое! — и сам побежал вслед за лисицей.

— *Тытыма́!* — опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за *сону* и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, както устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник *соны*, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того, как его

переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушка́н (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара,— знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, погибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару

сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем, он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго,— так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко,— говорил он.— Пойдем-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к *большому Тойону*[1].

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить,— сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может уз-

---

[1] Тойон — господин, хозяин, начальник.

нать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабы́сь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар.— Уж нельзя и подумать! Что́ ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо́!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко,— ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл,— ответил попик, повернувшись к нему,— что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок [1], рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она

---

[1] П а д ь — ущелье, овраг между горами. С о п к а — остроконечная гора.

вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте,— кричал он,— это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

— Постой! — сказал на это татарин.— Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он.— Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает,— вскричал Макар, размахивая руками,— конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще

по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да, при том, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно ужó! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догóр* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар.— Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки,— сказал ему поп Иван.— За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стóит!

— Постой,— сказал он.— Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись,— сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну,— сказал Макар.— Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет,— сказал попик,— он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденом коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар

не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная *сона*, большой ухастый *бергес*, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса́. Но, что хуже всего,— несмотря на свою старость,—он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

— *Капсе́* (говори)! — сказал Макар приветливо.

— Нет,— ответил старик.

— Что слышал?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже,— сам он не знает, сколько лет назад,— он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молол на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо,— сказал Тойон,— а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догòру, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не ос-

тались у него в руках. В одну минуту старик со своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрялся кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыт* (отец),— сказал он,— как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

. . . .

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем,— сказал он.— Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах.

Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиною, заговорил с попом Иваном:

— Говори!

— Нечего,— отвечал попик.

— Что ты слышал на свете?

— Ничего не слыхал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

— Привел вот одного.

— Это чалганец? — спросил работник.

— Да, чалганец.

— Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

— Видишь,— ответил поп несколько смущенно,— весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравновешивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет,— сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь,— ответил Макар.— У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *сурукситом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее — и стал читать.

— Загляни-ка,— сказал старый Тойон,— сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он! — крикнул Макар запальчиво.— Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон.— Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Чтó говорить напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь,— сказал Тойон,— я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю,— сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько

Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою,— ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заездит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсáн* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил

своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу *соны,* но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные *комночиты,* — он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что́ поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста,— ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду,— торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это,— сказал он,— ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное,— продолжал старый Тойон,— глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем, разве он не видит, что и он родился, как другие,— с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? — Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит,— забыл все, кроме своего гнева...

. . . .

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, *барахсан!* Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше! . . . .
. . . .

1883

Чудная

Очерк из 80-х годов

I

— Скоро ли станция, ямщик?

— Не скоро еще,— до метели вряд ли доехать,— вишь, закýржавело как, сиверà идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сиверá — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастию — вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

— Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

— Ничего нет-то у нас...

— А рыбы? Река тут у вас недалече.

— Была рыба, да выдра всю позóбала.

— Ну, картошки...

— И-й, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

— Нельзя вам ехать-то будет — ночуйте! — говорит старуха.

— Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите — тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже — верьте слову,— говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

— Не спится, видно, господин? — произносит тот же провожатый — «старшо́й», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

— Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит,— чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

— Удивляюсь я вам,— слышится опять ровный грудной голос унтера,— народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать,— а как свою жизнь проводите...

— Как?

— Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому сызмалетства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вам? — произносит он тоном сомнения.

— А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

— Нет, господин, невесело и нам. Верьте слову: иной раз бывает — просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это — не знаю; только иной раз так подступит — нож острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

— Так отчего же?

— Кто знает?..

Опять молчание.

— Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...»

— Останетесь?

— Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

— Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

— Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

— Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру,— сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и го-

ворит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю... Ты в командировках бывал ли?» — Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие.— «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься — дело нехитрое».— Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу,— вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то правду, нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе,— говорит унтер-офицеру,— подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами,— барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных,— вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счеты эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще,— от начальника вышли,— гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, не подходящий — разжалован теперь... На глазах у начальства — как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом — выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали — ждем, стоим. Любопытно мне — какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали,— а и вещей-то с ней узелок маленький — юбчонка там, ну, то, другое,— сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее — смотрю: моло-

дая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я — бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко — просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали,— правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось,— старшой к себе взял. «Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас,— верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет,— даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее — лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко,— только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь,— просит ее,— пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы, говорит, холопы!» И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые все. А Иванов,— известно, море по колена,— смотрит да все свое бормочет: «Не по закону; у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали,— все она в окна кареты глядит, точно прощается, либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил — окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край од-

ну занавеску, будто сам поглядеть хочу,— и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела — в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искусает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: — Барышня, говорю, закройте окно.— Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

— Простудитесь, барышня,— холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: «Оставьте!» И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся,— после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

— Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый. . Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...»

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом,— неловко. Посмотрела

на него — ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь,— вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали — ветер сиверный,— я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой.— Эх, говорю, барышня,— как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали,— осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

— Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще с жалостью суется!

— Вы бы, говорю, начальству заявили — в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

— А куда? — спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. «Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте».

Не утерпел я.— Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой...— Вот, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

— Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!..— «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

— Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи.— Подивился я — как это она чужих людей своими называет,— неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?..

Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает, небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный,— а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло — просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастие, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян — храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее,— экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляузу подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья — сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

— Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись,— мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго — уйдет она или над собой что сделает,— в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» — спрашивает. Вот она ему и объясняет, да

тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смирненько: так и так, мол, сделайте божескую милость,— а она тут по-своему: «По какому праву», говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы, вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего — вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза — точно угли. «Закон!» — говорит, и засмеялась посвоему, сердито да громко. «Так точно,— полковник ей,— закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы,— в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня,— лошади поданы». А она на диван прилегла — только согреваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами,— выпрямилась вся,— прямо на нас смотрит в упор, даже скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», говорит,— и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете,— что хотите делайте. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

— Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! — Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли,— штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег — рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

— Вы не спите? — спросил у меня Гаврилов.

— Нет, продолжайте, пожалуйста,— я слушаю.

— ...Много я от нее,— продолжал рассказчик, помолчав,— много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите,— так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то,— все, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп,— вы и надевайте». Тулуп, точно, что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается» Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело,— глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел ослушаться, тем более — хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» — не иначе, как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу — лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь! говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло,— повеселела...

Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось — тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам,— гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» — «Здесь», отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» — «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

— Так вы ее больше и не видели?

— Видал, да лучше бы уж не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки,— сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не ду-

рак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житье ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» Тут, говорят, только чудна́я она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал,— у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у *своих* хочется». И так мне любопытно стало... и не то, что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сам схожу...

Пошел,— добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я,— она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала,— шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидала, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула,— он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его,— с постели встать хочет. «Прощайте,— говорит ему,— видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидал меня,— как вскочит на ноги. Думал я — кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он — стою я и сам ни жив, ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит.— А вам, спрашивает, кавалер, что здесь собственно понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они не-

здоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходительный. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: «Ну вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

— Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

— Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет,— заходите, пожалуй.— А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

— Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете? — А он ей: — Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко,— как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшо́го и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду — хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы,— потому собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» — «Нет, говорит, не звал я,— сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

— Что это, говорю, барышня,— за что вы сердце против меня имеете?.. Или я враг вам какой?

— Враг и есть, говорит,— а вы разве не знаете? Конечно, враг! — Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагляделся бы. Эх, думаю,— не жилица она на свете,— стал прощения просить,— как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

— Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомнил. Слова-то запали и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

— Видите, не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю как звать вас...

— Степан,— говорю.

— А по батюшке как?

— Петровичем звали.

— Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

— Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает — не похвалит.

— Ну, вот видите,— он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

— Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить. Ихнее дело — смотри, наше дело — не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него вострые, а добрые: «Слышите? — мне говорит.— Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

— Погоди, говорит, Степан Петрович,— не уходи еще.— А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!»

— Пусть,— она ему,— а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала,— он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

— Равнодушный? — он говорит.— Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

— Пожалуй,— она ему отвечает.— А вы мне — правду?..

— А я,— говорит,— правду: настоящая вы боярыня Морозова...

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю,— желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции... Устала я»,— говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

— Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

— Не знаю, говорю, может и еще дня три, до почты.

— Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

— Извините, говорю, напугал...

— То-то, говорит, уже вы лучше хозяйке сначала скажите.

— А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они значит боярского роду?

— Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть,— сам, чай, видел: не гнутся этакие.

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал — у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему — гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало,— просто, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось,— не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится,— а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» — спрашиваю у дев·

ки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?»

— Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта,— и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала,— как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел,— слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге,— после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался,— одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер,— баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего!

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

Яшка

Жестокие, сударь, нравы...
Островский

I

...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов «загнали» в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери «одиночек». Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями: «За кражу», «За убийство», «За грабеж», «За бродяжничество», а в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянною заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных.

Мы повернули раз и другой. Над первою дверью третьего коридора я прочел надпись: «Умалишенный», над следующею — то же. Над третьей надписи не было, а над четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой ка-

морки,— из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, взад и вперед за своею дверью, выкрикивая что-то, похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила: «За убийство».

Это был «коридор подследственного отделения», куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных, только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска: «Вход в малый верх».

Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону — третий умалишенный — не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.

— Яшка-то молчит ноне,— тихо сказал «старший надзиратель» младшему.

— Не видит... Ну его! — ответил тот так же тихо.

Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. «Старший» — седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей,— весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.

— Полно, Яшка, что задурил-то? — отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опу-

щенными вниз усами, в большой папахе — Чего не видал? Видишь, арестантов привели!

Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши «вольные» костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слов мы не могли расслышать,— «одиночка» уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь «подследственного отделения» вошла опять в свою обычную колею.

Пять шагов в длину, три с половиной в ширину — вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна на расстоянии двух сажен серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна — следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами,— борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь. Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь «одиночки», которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...

За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая «кеньгами» по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло принялись за работу... Отвратительною вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру...

Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.

— Од-на-ко! — сказал он протяжно.

— Д-да!— подтвердил я.

Больше говорить не хотелось, да и не было надобности,— мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканные паутиной, крепко запертая дверь... В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?.. Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы...

А арестантики продолжали свою работу,— это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда с своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая,— все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.

Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы притерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашею беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое... Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери.

Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть наружною заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они «толкались» по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности.

В неизвестные часы по двору проносилась команда: «Пошел за кипятком!», «Пошел за хлебом!», «Обедать пошел!», «По-шо-ол, расходись по камерам!» Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору: цепи уже несомненно налагали это обязательство. Под вечер где-то на третьем дворе раздавался звонок: приближалась «поверка». Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходили с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных.

Так проходил день в «подследственном отделении».

...Раз, два, три, четыре!..— гулко раздавался по вре-

менам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький «старший» съежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо «начальства».

Не знаю, зачем собственно понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три... около шести стук усиливался; семь, восемь, девять... стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.

Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным миросозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды. Он был надзиратель,— это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты,— это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит: «Веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства». Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомого ему «отделения». Главное нравственное правило: «не попадай на замечание» — проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеич двигался и действовал не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видал, чтоб он препирался с арестантом из одиночки,

когда тот просился «до ветру», как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно «клевавшего» в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника с очевидным знанием невозможности явиться в «эдаком виде» в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в «эдаком виде» кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротозействе не заключается ни «толку», ни «благородства». Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:

— Эй, ты, свиное ухо! По какой причине раскричался?

Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо «причины», и даже название «свиное ухо» казалось просто необидным собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.

— Нарукавники желаешь? — спрашивал Михеич так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.

— Покричи еще,— что ж, я и принесу нарукавники тебе... Это, брат, можно во всяко время...— соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.

— Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! — говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей, действительно, имел обыкновение разбивать и грызть зубами.

Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.

Другой умалишенный, остяк Тимошка, помещавшийся в первой камере у входа в коридор подследственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки:

— Тимошка тут, Тимофей, остяк... Набожный... Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится...

Я заглянул в оконце. Длинная, узкая камера была еще мрачнее нашей, так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ свету. Вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен, но вскоре увидел в углу, под самым окном какую-то коленопреклоненную фигуру. Тимошка мерно покачивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу. На окне лежало что-то вроде шапки. Мебели, как и в других одиночках, не было, только рядом с болванчиками стояла «парашка». Остяк молился ровным, своеобразным диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке, а иногда, нисколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как будто и они составляли часть его культа.

— Трех человек задушил руками,— отрекомендовал мне его Михеич.— Из себя невидный, а сила в ём ба-а-аль-шая!

— А что это в углу у него расставлено? — спросил я.

— Идолы это... бога́... Ка-акже! Сам делает. Сколько раз отымали, сейчас опять смастерит.

— Чем же?

— На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточен. А шапку видели... на окне у него лежит? Тоже сам сшил. Окно-то у него разбито, черт ему кошку шальную и занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами,— вот и шапка! Иголка тоже у него имеется, нитки из тюфяка дергает... Ну, зато набожен: молитвы получше иного попа знает. Бога́ у него свои, а молитвы наши... Молится, да!.. И послушен тоже... Тимошка, спой песенку!

Тимошка прервал молитву, взял в руку палку и повернулся к Михеичу.

— С барабаном? — спросил он.

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден.

— Неуж без барабана, чудак! — ответил Михеич.

Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти.

— Без конца у него песня эта,— заметил Михеич.— Теперь все будет петь, пока не скажу: довольно! Раз этак я забыл остановить его,— он и поет себе. Проверка пришла, смотритель и спрашивает: «Ты что делаешь?»— «Песню, говорит, Михеич приказал петь». Право, послушный он!.. А тре-ёх человек задавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли,— ходить не может. Зачинает мало-мало подыматься, да плохо. Видно, отстукали ловко!

— Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это...

— Да уж это не так, чтобы превосходно, что и говорить. Опять же и зря: послушный он, остяк-то. Ему

толком скажи,— он слушает. Только там это у них живо, в сумасшедшем-то доме: чуть что, пожалуй, недолго им, и совсем устукают. Этому стукальщику скоро вот то же будет,— как-то недружелюбно мотнул Михеич головой в сторону Яшкиной двери.

В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке, давившему людей руками и сдиравшему шкуру с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остяка.

Вообще, этот странный субъект находился на каком-то особом, исключительном положении, и он интересовал меня все более и более. В его стуке я, наконец, начал различать некоторую систему. Так, однажды, когда он вдруг загремел очень сильно, я увидел, что Михеич стал беспокойно озираться, как будто ожидая чьего-нибудь появления. Потом старик деловито обратился к Якову:

— Что ты? Зачем? Никого ведь нету.

Яшка тотчас же смолк Очевидно, он не просто стучал в пространство, а адресовал эти гремящие звуки чьему-нибудь слуху. Вскоре я убедился, что стуком этим он салютовал всякому начальству, начиная со «старшего надзирателя». Чем выше было начальство, тем, вообще говоря, громче были салюты. Ночью они раздавались значительно тише, точно Яшка стучал спросонок. Проснется он,— так думалось мне,— стукнет раза три-четыре и опять, исполнив эту обязанность, уляжется спать. Однажды только среди ночной тишины удары Яшки раздались точно гром канонады: на следующее утро оказалось, что ночью «на малом верху кержаки произвели не малую драку»,— стало быть, являлось высшее тюремное начальство.

Удары эти доставались Яшке не дешево. «Ноги вовсе у него попухли,— говорил мне Михеич,— а все ведь неймется».

На третий день нашего заключения мы потребовали у начальства, чтобы нас отпускали гулять, и нас приказано было отпускать «после поверки», когда остальные заключенные запираются в камеры на ночь. Это-то время я решил употребить для приобретения ближайшего знакомства с Яшкой.

II

Звонок. «Становись на поверку!»

В подследственном отделении все стихло. Где-то далеко, в третьем или четвертом коридоре, лязгнула дверь, послышались раскаты, точно рокот далекого наводнения. «Поверка» толпой ввалилась в наше отделение. Яшка принялся за свое дело.

Когда «поверка» обошла наши камеры и поднялась на «малый верх», Михеич отворил нашу дверь. Коридорный арестант подследственного отделения, Меркурий, исполняющий обязанности «парашечника», убирающий камеры и бегающий на посылках у «привилегированных» арестантов, явился в нашу камеру с самоваром. Пока «поверка» не ушла совсем, Михеич просил нас для «порядку» не выходить в коридор.

Вот «поверка» сходит по лестнице. Наша дверь не затворена, и нам ясно слышны не только удары Яшки, но и его возгласы:

— Беззаконники! — кричал Яшка, когда «поверка» проходила мимо его двери.— Пошто держите́, пошто морите́ меня? Сказывайте, слуги антихристовы!

Я вспомнил надпись над Яшкиной дверью. Неужто,— мелькнуло у меня в уме,— это недоразумение? Неужто этот человек, запертый, наглухо заколоченный в эту ужасную дыру, в этот гроб, вовсе не умалишенный и способен сознавать весь ужас своего положения?..

— За что это Яшку держат в одиночке да еще так строго? — спросил я Меркурия.

— Человека убил, каторжник беглый,— вмешался Михеич тоном убежденного человека.

— Не-ет,— протянул Меркурий,— что ты, Михеич! Что попустому говорить! Неизвестно это,— обратился он ко мне.— Звания своего, фамилии, например, он не открывает. Сказывают так, что за непризнание властей был сослан. Убёг ли, што ли, этого доподлинно не могу знать...

— Над его дверью написано, что он сумасшедший?

— Приставляется, — сказал Михеич, по-своему, кратко и утвердительно.

— Не-ет... опять же и это... кто знает! Может, и не

сумасшедший,— сказал опять Меркурий как-то уклончиво.— Собственно держат его в одиночке за непризнание властей, за грубость. Полицместер ли, кто ли придет, хоть тут сам губернатор приходи,— он и ему грубость окажет. Все свое: «Беззаконники да слуги антихристовы!» Вот через это самое... А то раньше свободно он ходил по всей даже тюрьме без препятствий...

— А зачем он стучит?

— И опять же, как сказать... Собственно для обличения!..

Меркурий ушел. Мы заварили чай и вышли «на прогулку» в коридор. Вдали, где-то в третьем коридоре, слышались еще шаги удалявшейся «поверки». У Яшкина оконца виднелись усы, часть бороды, конец носа. Яшка стоял неподвижно и будто чего-то ждал.

Вдруг дверь опять заколебалась от неистовых ударов.

— Зачем ты это, Яков, стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет! — сказал я.

— Эвона! — отвечал Яшка серьезно, мотнув головой по направлению к окну коридора, через которое виднелся противоположный фасад расположенного четырехугольником здания и в нем сквозной просвет высокой двери, ведущей на другой двор.

В этом просвете маячила в сумерках фигура последнего солдата «поверки». Фигура вскоре исчезла. Яшка счел возможным прекратить стук и обратился ко мне.

Он нагнулся, чтобы окинуть меня внимательным взглядом из своего оконца. Мне все не удавалось увидеть его лицо в целом. Теперь на меня глядели серые выразительные глаза, слегка лишь подернутые какою-то мутью, как у сильно утомленного человека. Лоб был высокий и по временам собирался в резкие — не то гневные, не то скорбные — складки. По-видимому, Яшка был высок ростом и очень крепко сложен. Лет, вероятно, было ему около пятидесяти.

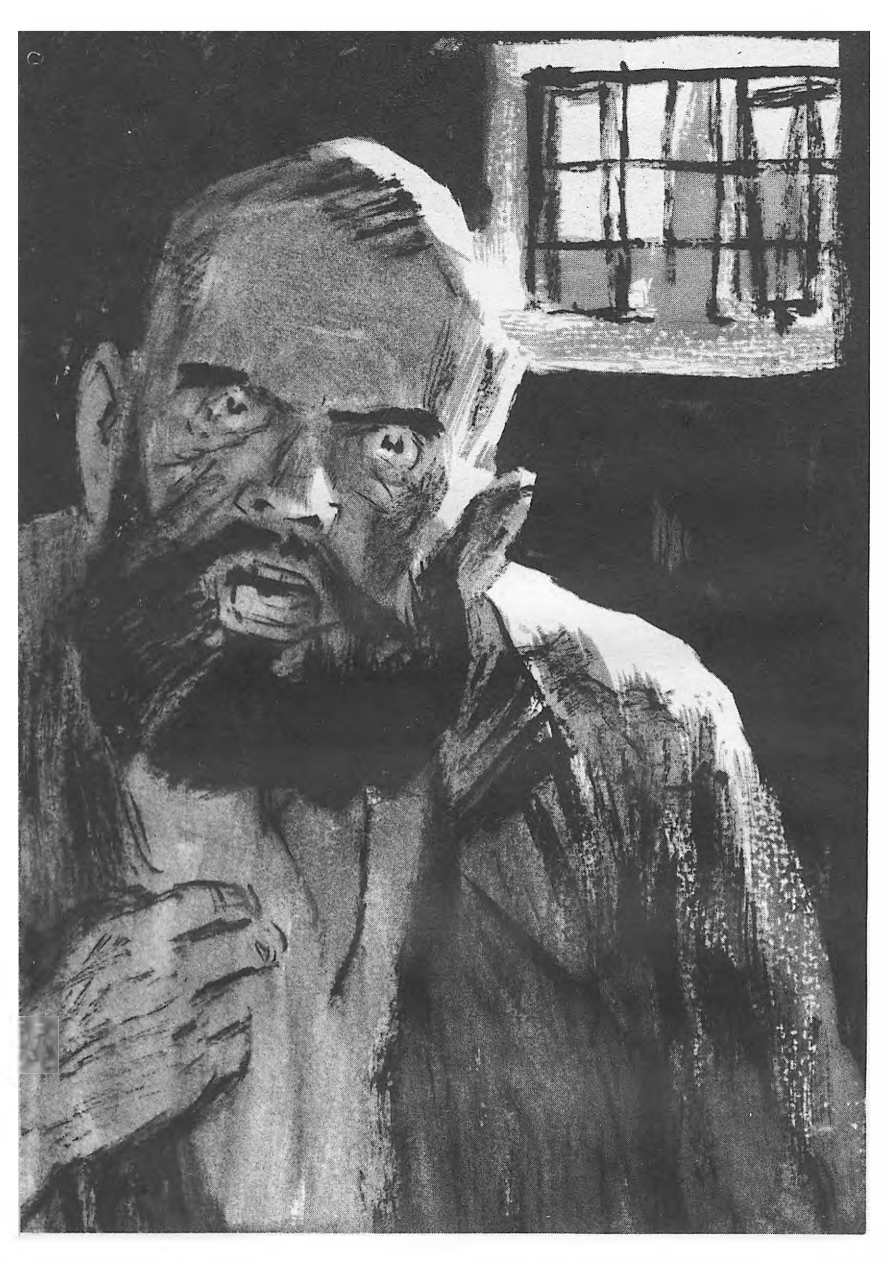
— Што будешь за человек? — спросил он.— Куда тебя гонят?

Я назвал себя и сообщил, куда меня гонят.

— А тебя как зовут? — спросил я.



«ЧУДНАЯ»



«ЯШКА»

— Был Яков... Яковом звали.

— А величают как? Родом откуда?

Яков взглянул на меня с каким-то подозрительным вниманием и, помолчав, ответил кратко:

— Забыл [1].

Понемногу мы разговорились.

Как арестант, содержимый на особых правах, в «вольной одежде» и т. п., я представлял для Яшки явление не совсем обычное. Передо мною же был обыкновенный заключенный, говоривший сдержанно, ровно, вообще, в будничном настроении.

— Беспокойно тебе,— стучу я этто. Ничего, привыкнешь,— говорил он, усмехаясь.— Ночью тише же стучу я, не громко. На расписку сюда слуга-то антихристов является, так ему я это постукиваю.

— Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? — спросил я.

Яков вскинул на меня своими большими глазами, и в голосе его, когда он отвечал, послышалась какая-то «обрядная» важность:

— Стою зá бога, за великого государя, за христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей.

Я несколько удивился, что, по-видимому, не ускользнуло от внимания Якова.

— Обличаю начальников,— пояснил он,— начальников неправедных обличаю. Стучу.

— Какая же от этого польза?

— Польза? Есть польза...

— Да какая же? В чем?

— Есть польза,— повторил он упрямо.— Ты слушай ухом: стою зá бога, за великого государя...— и он целиком повторил свою формулу.

Я понял теперь: Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он «стоял» столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей; он видел «пользу» уже в самом факте «стояния» за бога и за великого государя, стало быть, поступал так «для души».

---

[1] После я узнал, что родом он из Пермской губернии.

— А за что тебя держат? — спросил я далее.

— За что? Без-законники! — заговорил Яшка и возбужденно завозился за своею дверью.— За что держат? Скажи вот: безо всякого преступления... Нет моего преступления ни в чем. А и было бы преступление, так разве им судить?.. Бог суди!

— Человека ты убил,— сказал Михеич, внимательно слушавший наш разговор.— Пошто приставляешься?

— Неправда, неправда,— заговорил Яшка каким-то страдальчески-возбужденным голосом.— Ишь, чего выдумали, беззаконники! Неправда, не верь им, Володимер, не верь слугам антихристовым! Нет моего никакого преступления. Отрекись, вишь, от бога, от великого государя, тогда отпустим. Где же отречься?.. Невозможно мне. Сам знаешь: кто от бога, от истинного прав-закону отступит,— мертв есть. Плотью-то он живет, а души в нем живой нету ..

В это время из темного коридора, под прямым углом примыкавшего к нашему, показалась маленькая фигурка в сером пальто с медными пуговицами. Я узнал «старшего». Седая тюремная крыса точно выползала из норы за добычей. Старик крался, прижимаясь вдоль стены, чтобы Яшка не мог его увидеть из своей конурки. В руках у него была тетрадь и карандаш. Каждый вечер он клал эту тетрадь на окно коридора и ночью обязан был несколько раз написать в ней: «Был в таком-то часу» В эти-то часы и раздавалось тихое постукивание Яшки.

— Отопри «малый верх»,— шепнул Михеичу «старший», быстро шмыгнув мимо Яшкиной двери.

Михеич стал тихо снимать засов с дверей, которые вели на лестницу с надписью: «Вход на малый верх». На этом «верху» находилась особая воровская колония. О ней так и говорили: «Ноньче в воровской драка приключилась».— «Воры-то ночью за картами развозились». Этот «верх» недаром носил название «малого». Дело в том, что тюрьма была рассчитана на число жителей чуть не на половину менее того, какое в ней находилось в действительности. Пришлось поэтому пуститься на хитрости, и вот губернская архитектура кое-как приляпала к высоким камерам новые потолки, значительно их пони-

зившие и послужившие полом для «малого верха». Часть высоких окон, отхваченная этими антресолями, пришлась, таким образом, в «малом верху» и получила назначение снабжать его светом. Нечего говорить, что назначение это исполнялось далеко не удовлетворительно, и воровской «малый верх» представлял помещение, совершенно невозможное в гигиеническом отношении.

— Тут у вас ничего еще,— говорил мне Меркурий о наших помещениях.— Тут и хорошему, образованному человеку прожить мало-мало можно... А вот в воровской — не приведи господи! Вонько, темно, сыро... Чистая смерть!..

Чтобы несколько вознаградить за отсутствие воздуха и света, начальство тюрьмы дало ворам некоторые льготы. Они, например, не запирались по камерам и ночью, так как даже при сибирских взглядах на правила гигиены оказалось невозможным ставить у воров на ночь зловонные «парашки». Таким образом, начав задыхаться в одной камере, жилец воровского «малого верха» мог для разнообразия отправиться задыхаться в другую. Как бы то ни было, «малый верх» вознаграждал за некоторые неудобства жилища широким развитием общественности. По ночам оттуда слышался шумный говор, по временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся «воры» накрывались за картежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки.

Итак, Михеич стал тихо снимать засов, и «старший», расписавшись в тетради, опять было прошмыгнул мимо Яшкиной двери, направляясь на лестницу. «За водкой...— шепнул мне Михеич: — воры в карты дуются, водку пьют... накроет».

Но в этот критический момент, когда старый тюремный хищник стал подыматься на лестницу, Яшка, каким-то чутьем угадавший присутствие одного из «беззаконников», внезапно загремел своею дверью. Старик вздрогнул, точно ошпаренный. Я ясно представил себе, как болезненно задело его напряженные нервы это неожиданное громовое вмешательство. Он подпрыгнул на месте, точно его захлопнуло западней, заёрзал, попытался было броситься наверх, но, сообразив, что дело

потеряно и воры успели все припрятать, возвратился назад.

— Запри! — изнеможенно обратился он к Михеичу.— О, Яшка, Яшка! — прошипел он, обращаясь к дверям.— Кажется, ежели мог бы, вот как бы тебя растер, проклятого, вот как!..

Он сжал свои кулачонки и стал их тереть друг о друга, как бы воображая, что Яшка находится между ними и испытывает процесс растирания.

Яшка появился у своей двери, очевидно, довольный, что удар, направленный во имя господне чисто наудачу, попал в цель так метко.

— Не любо тебе, беззаконник? — гремел он вдогонку.— Долго ли держать меня будете, слуги антихристовы?..

— Пос-с-той, пог-год-ди! — шипел «беззаконник», пораженный в наболевшее место, и бросал при этом на нас косвенные взгляды, как будто между нашим присутствием и необходимостью для Яшки «погодить» была некоторая необъяснимая связь.

Смысл этого «погоди» был совершенно ясен: Яшка был во власти этой старой тюремной крысы, один, без союзников, и, тем не менее, он жестоко измучил того, от кого вполне зависел. А он именно его измучил. Для меня стала очевидною та странная связь, которая установилась между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его «беззаконниками». Казалось бы, заперли Яшку — и делу конец: его можно игнорировать. Но он успел своим неукротимым протестом раздражить их нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку, и торжествовал над связавшими его по рукам и по ногам врагами. Побежденный физически, он считал себя не сдавшимся победителю, пока еще «господь поддерживает его» в единственно возможной форме борьбы: «Стучу вот». В этом он видел свою миссию и свое торжество.

— И всегда так-то: стучит без толку... Уж именно, что без пользы, один вред себе получает...— говорил Михеич, запирая ход на лестницу.— Что толку в стуке? Ну вот, заперли его, в карцере сколь перебывал, нарукавники надевали,— все неймется. Погоди,— обратился Михеич к Яшке,— в сумасшедший дом свезут, там

недолго настучишь! Там тебя устукают получше Тимошки.

— Хоть куда отдавай, все едино! Меня не испугаешь,— отвечал Яшка.— Я за бога, за великого государя стою,— за бога, слуги антихристовы, стою! Слышишь? Думаете: заперли, так уж я вам подвержен? Не-ет! Стучу вот, слава-те, господи, царица небесная... поддерживает меня бог-от! Не подвержен я антихристу.

— Нарукавники тебе... связать тебя, стукальщика, да и держать этак... Не стал бы стучать...

Осенние сумерки, выползая из углов старой тюрьмы, все более и более сгущались в коридорах.

— На молитву пора,— сказал мне Яков,— прощай!

Он отошел от двери и, когда я, спустя некоторое время, взглянул в его оконце, он уже «стоял на молитве». Его окно было завешано какими-то тряпками, сквозь которые скудно прорывался полусвет наступающего вечера. Фигура Яшки рисовалась на этом просвете черным пятном. Он творил крестные знамения, причем как-то судорожно, резко подавался туловищем вперед и затем подымался несколько тише. Его точно «дергало».

Мы с товарищем прохаживались по темнеющим коридорам. Подходя к Тимошкиной двери, мы слышали мерное, точно заупокойное чтение. Из двери еврея вместе с дикими, стонущими звуками неслись убийственные миазмы. В соседней с ним камере каторжник, помещенный сюда опять-таки за недостатком места, совершал свою обычную прогулку, гремя кандалами, а наверху гоготали и шумно возились воры. Остальные камеры хранили безмолвие наступающего сна. Двое бродяг, сидевших вместе, варили что-то в печурке. Это, очевидно, были любители «очага». Весь день употребляли они на розыски щепок и всякой дряни, которую подбирали на тюремных дворах, на последние деньжонки покупали «крупок» и вечером, когда всех запирали, они разводили в своей печке огонь. В эти минуты я иногда подходил к их двери и тихонько заглядывал в нее, так, чтобы не нарушить их мирного наслаждения. Один, суровый бродяга, лет за сорок, сидел прямо против печки, обхватив колени руками, внимательно следя за огнем и за маленьким горшочком, в котором варилась крупка. Другой приволакивал к печке свой тюфяк и ложился на него лицом к огню,

положив подбородок на руки. Это был почти еще мальчик, с бледным, тюремного цвета лицом и большими выразительными глазами. Он, очевидно, мечтал. Огонек потрескивал, вода в горшочке шипела и бурлила, а в камере царило глубокое молчание. Бродяги точно боялись нарушить музыку импровизированного очага тюремной каморки... Затем, когда огонек потухал и крупка была готова, они вынимали горшок и братски делили микроскопическое количество каши, которая, казалось, имела для них скорее некоторое символическое, так сказать — сакраментальное значение, чем значение питательного материала.

В самой крайней камере, служившей как бы продолжением коридора, жильцы беспрестанно сменялись.

Эта камера не отличалась от других ничем, кроме своего назначения, да еще разве тем, что в ее дверях не было оконца, которое, впрочем, удовлетворительно заменялось широкими щелями. Заглянув в одну из этих щелей, я увидел двух человек, лежавших в двух концах камеры, без тюфяков, прямо на полу. Один был завернут в халат с головою и, казалось, спал. Другой, заложив руки за голову, мрачно смотрел в пространство. Рядом стояла нагоревшая сальная свечка.

— Антипка! — заговорил вдруг последний и, вздрогнув, точно от прорвавшейся тяжелой, мучительной мысли, сел на полу.

Другой не шевелился

— Антипка, ирод!.. Отдай, слышь. Думаешь, вправду у меня пятьдесят рублей?.. Лопни глаза, последние были...

Антипка притворялся спящим.

— У-у, подлая душа! — произносит арестант и изнеможенно опускается на свое жесткое ложе; но вдруг он опять подымается с злобным выражением.

— Слышь, Антипка, не шути, подлец! Убью!.. Ни на што не посмотрю... Сам пропаду, а уж пришью тебя, каиново отродье.

Антипка всхрапывает сладко, протяжно, точно он покоится на мягких пуховиках, а не в карцере рядом с злобным соседом; но мне почему-то кажется, что он делает под своим халатом некоторые необходимые приготовления.

— Кержаки это... разодрались ночесь на малом верху,— поясняет мне Михеич,— вот смотритель в карцер обоих и отправил. Антип этот деньги, што ли, у Федора украл. Два рубля денег, сказывают, стянул.

— Как же это их вместе заперли? Ведь они опять раздерутся?

— Не раздерутся,— ответил Михеич, многозначительно усмехнувшись.— Помнят!.. Наш на это — беда, нетерпелив! «Посадить их, говорит, вместе, а подеретесь там, курицыны дети, уж я вам тогда кузькину мать покажу. Сами знаете...» Знают... Прямо сказать: со свету сживет. В та-акое место упрячет... Это что? — только слава одна, что карцером называется. Вон зимой карцер был, то уже можно сказать. Сутки если в нем который просидит, бывало, так уж прямо в больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается.

Мне привелось увидеть этот карцер, или, вернее, не увидеть, а почувствовать, ощутить его... Мне будет очень трудно описать то, что я увидел, и я попрошу только поверить, что я, во всяком случае, не преувеличиваю.

На квадратном дворике по углам стоят четыре каменные башенки, старые, покрытые мхом, какие-то склизкие, точно оплеванные. Они примыкают вплоть ко внутренним углам четырехугольного здания, и ход в них — с коридоров. Проходя по нашему коридору, я увидел дверь, ведущую, очевидно, в одну из башенок, и наш Меркурий сказал мне, что это ход в бывший карцер. Дверь была не заперта, и мы вошли.

За нами в коридоре было темно, в этом помещении — еще темнее. Откуда-то сверху сквозил слабый луч, расплывавшийся в холодной сырости карцера. Сделав два шага, я наткнулся на какие-то обломки. «Куб здесь был раньше,— пояснил мне Меркурий,— кипяток готовился, сырость от него осталась,— беда! Тем более, печки теперь не имеется...» Что-то холодное, проницающее насквозь, затхлое, склизкое и гадкое составляло атмосферу этой могилы... Зимой она, очевидно, промерзала насквозь... Вот она — «кузькина-то мать!», подумал я.

Когда я, отуманенный, вышел из карцера, тюремная крыса, исполнявшая должность «старшего», опять краду-

чись, ползла по коридорам отбирать от надзирателей на ночь ключи в контору, и опять Яшка бесстрашно заявлял ей, что он все еще продолжает стоять за бога и за великого государя...

«О, Яшка,— думал я, удаляясь на ночь в свою камеру,— воистину бесстрашен ты человек, если видал уже «кузькину мать» и не убоялся!..»

III

— Отчего у Яшки в камере так темно и холодно?— спросил я, заметив, что в его камере темно, как в могиле, и из его двери дует, точно со двора.

— Рамы, пакостник, вышибает,— ответил Михеич.— Беспокойный, беда!.. А темно потому, что снаружи окно тряпками завешано,— от холоду. Стекла повышибет, тряпками завесит, все теплее будто!.. Ну, не дурак? «Для бога, для великого государя». Кому надобность, что у тебя стекол нет...

И Михеич презрительно пожал плечами.

С тем же вопросом я обратился к Яшке.

— Видишь ты,— серьезно ответил он,— беззаконники хладом заморить меня хотят, потому и раму не вставляют.

— Зачем же ты ее вышиб?

— Не вышиб я, нет!.. Зачем вышибать?.. Вижу: идут ко мне слуги антихристовы людно. Не с добром идут — с нарукавниками. Сам знаешь: жив человек смерти боится. Я на окно-то от них... за раму-то, знаешь, и прихватился. Стали они тащить, рама и упади... Вот!.. Что поделаешь. Согрешил: нарукавников испужался...

Несколько слов об этих нарукавниках.

Идея нарукавников — идея целесообразная и, если хотите, даже гуманная. Чтобы буйный или бешеный субъект не мог нанести своими руками вред себе или другим, руки эти должны быть лишены свободы действий с возможным притом избежанием членовредительства. Для этой цели надеваются крепкие кожаные рукава, коими руки притягиваются к туловищу. Чтобы удержать их в этом положении, рукава стягиваются двумя крепкими ремнями, которые двумя кольцами охватывают

спину и грудь. В чистом виде идея нарукавников имеет только предупредительный характер, и если Михеич грозит ими, как чем-то наказующим и мстящим, то это свидетельствует еще раз печальную истину, что грубая действительность искажает всякие идеи. Надо, впрочем, сознаться, что этому искажению в весьма значительной мере способствует самое устройство нарукавников, легко допускающее возможность многих «преувеличений». Пряжки, например, стягивающие ремни, могут быть затянуты в меру, не более того, сколько требуется самой идеей притяжения рук к ребрам, но они также могут быть затянуты и с преувеличением, причем пострадают и ребра[1]. Если принять в соображение, что редко — вернее никогда — субъект не обнаруживает стремления надеть их добровольно и что, стало быть, их надевают силой, то станет понятно, почему Яшка приравнивал процесс надевания нарукавников к смерти.

IV

Среда арестантов относилась к Якову довольно равнодушно. Был, впрочем, один остроумец, приходивший чуть не ежедневно изощрять на заключенном «в темнице» (на этот раз употребляю это выражение в буквальном значении) свое тяжелое скоморошество.

Это был один из тех остроумцев, каких много и не в остроге. Субъект этот наложил, по-видимому, на себя тяжелый искус развлекать публику балагурством, в котором было очень мало юмора, еще меньше веселья и уж вовсе не было смысла. Это было просто какое-то напряженное словоизвержение, поддерживаемое с усилием, достойным более веселого дела, по временам оскудевавшее и вновь напрягаемое, пока, наконец, сам остроумец не впадал от этих усилий в некоторое яростное исступ-

[1] Я не говорю уже о заведомых посягательствах на самое устройство нарукавников. Бывают и такие. Так, например, иногда к ним прибавляют еще ремень, притягивающий шею книзу. Это ничем не оправдываемое прибавление дает в результате уже несомненное членовредительство. Я знал здорового парня, у которого после пятичасового пребывания в нарукавниках с этим добавлением кровь бросилась горлом, и грудь оказалась радикально испорченною.

ление. Впрочем,— добрая душа у русского человека,— слушатели находили возможным награждать бескорыстное «старание» вялым смехом.

Яшка почему-то считал нужным делать этому скомороху принципиальные возражения, громил слуг антихриста, ссылался на авторитет «енерал-губернатора» (который, по его убеждению, стоял за него, хотя почему-то безуспешно), вообще, метал свой бисер, попиравшийся самым бестолковым образом.

— Енерал-губернатор! — грохотал остроумец сиплым голосом настоящего пропойцы,— вишь, чем удивить вздумал!.. Мы и сами в настранницких племянниках состоим... Хо-хо-хо! Не слыхивал еще, так слушай, развесь уши-то пошире. А то с енерал-губернатором выехал. Ха-ха-ха!

Когда Яков замечал, что возражения «настранницкого племянника» являются одним сквернословием, то он плевал и уходил от греха. Но «настранницкий племянник», успевший достаточно раскалиться на огне собственного остроумия, начинал бить ногою в Яшкину дверь, мешая Яшке «стоять на молитве». К этому присоединялся обыкновенно пронзительный голос музыкального еврея, сочувственно откликавшегося на всякие сильные звуки, и в результате выходил такой раздирательный концерт, что Михеич просыпался у своего косяка и укрощал разбушевавшегося «настранницкого племянника». Тот удалялся, впрочем, весьма довольный собою. Зрители тоже расходились, зевая и вяло поощряя остроумца: «Молодец, Соколов! За словом в карман не полезет!»

Были, однако, некоторые признаки, указывавшие, что где-то в остроге, среди этих однообразных серых халатов, в грязных камерах, у Яшки были если не союзники, то люди, понимавшие подвиг неуклонного стучания и сочувствовавшие его «обличениям». Однажды, проходя по коридору, я увидел у Яшкиной двери высокого старика в арестантском сером халате. У него были седые волосы и серьезное лицо, суровость которого несколько смягчалась каким-то особенным «болезным» выражением. В отношении к Якову он держался с видимым уважением, Они о чем-то разговаривали у оконца негромко и серьезно.

— Верно тебе сказываю,— говорил Якову старик.— Ефрем решен, и Сидор тоже решен. Сказывают, в свою губернию по этапу отправлять будут... А твое, вишь, дело...

Конца фразы я не расслышал. Когда я проходил обратно, Яков, с которым я уже был знаком довольно близко, указал на меня, и старик поклонился, но затем опять припал к окошечку. Мне не удалось более увидеть этого арестанта. Очевидно, он заходил сюда из какого-нибудь другого отделения.

Однажды я дал коридорному денег, прося купить Якову, что́ ему нужно. Тот не понял и передал деньги непосредственно. После этого Яков остановил меня, когда я проходил по коридору.

— Слышь, Володимер,— сказал он.— Спасибо тебе. Милостинку ты христову сотворил, дал коридорному для меня... Да, видишь вот: не беру я *их*. Прежде, на миру, грешил, брал в руки, а теперь не беру! Вот они тут на полу и валяются. А ты хлебную милостинку сотвори! Из теплых рук хлебная милостинка благоприятнее. Ироды-то меня на полуторной порции держат. Сам знаешь, что в ей, в полуторной-то порции... Просто сказать, что гладом изводят. Ну, да не вовсе еще бог от меня отступился,— добрые люди поддерживают: вчера кто-то два ярушничка спустил на веревочке сверху-то. Спасибо, не оставляют православные христиане.

Как бы то ни было, хотя эти факты указывают на некоторое сочувствие среды, тем не менее, в самые страшные минуты, когда живая Яшкина душа содрогалась от дыхания близкой смерти и заставляла его судорожно хвататься за рамы и за холодные решетки тюремного оконца,— в эти минуты душу эту, несомненно, должно было подавлять сознание страшного, ужасающего одиночества...

Был ли Яшка сумасшедший? Конечно, нет. Правда, сибирская психиатрия решила этот вопрос в положительном смысле, и Яшке предстояло вскоре испытать те же упрощенные приемы лечения, какие испытал остяк Тимошка. Тем не менее, я не сомневаюсь, что Яшка был вовсе не сумасшедший, а подвижник.

Да, если в наш век есть еще подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшиеся

идее (какова бы она ни была), неумолимые к себе, «не вкушающие идоложертвенного мяса» и отвергшиеся всецело от греховного мира, то именно такой подвижник находился за крепкою дверью одной из одиночек подследственного отделения.

— Есть семья у тебя? — спросил я однажды Якова.

— Была...— ответил он сурово.— Была семья у меня, было хозяйство, все было...

— А теперь живы ли дети твои?

— Бог знает... Как бог хранит... Не знаю...

— Тоскливо, должно быть, за своими тебе, за домашними? Может, письмо тебе написать?

— Нет, не тоскливо,— мотнул он головой, как бы отбиваясь от тягостных мыслей.— Одно вот разве: как бы им устоять, от прав-закону не отступить,— об этом крушусь наипаче...

Несколько времени он сурово молчал за своею дверью.

— На миру душу спасти,— проговорил он задумчиво,— и нет того лучше... Да трудно. Осилит, осилит мир-от тебя. Не те времена ноне... Ноне вместе жить, так отец с сыном, обнявши, погибнете и мать с дочерью... А душу не соблюсти. Ох, и тут трудно, и одному-те... ах, не легко! Лукавый путает, искушает... ироды смущают... Хладом, гладом морят. «Отрекись от бога, от великого государя...» Скорбит душа-те,— ох, скорбит тяжко!.. Плоть немощная прискорбна до смерти.

Тем не менее, легче было бы даже Михеича совратить с пути, на котором он обрел свое прочное душевное равновесие, чем заставить Яшку свернуть с тернистой тропинки, где он встречал одни горести... Казалось, он не доступен ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке.

Как-то однажды, в прекрасный, но довольно холодный день поздней уже сибирской осени, Яшка к обычным своим обличениям во время поверки прибавил новое:

— Пошто меня хладом изводите, пошто раму мне, слуги антихриста, не вставляете?

На следующий день была вставлена рама. Теплее и светлее стало в комнате Яшки, но вечером он стучал столь же неуклонно. Эта черная неблагодарность

поразила «его благородие» до глубины возмущенной души.

— Подлец ты, Яшка, истинно подлец! — произнес смотритель укоризненно, остановившись против Яшкиной двери.— Я тебе раму вставил, а ты опять за прежнее принимаешься.

— Беззаконник ты! — загремел Яшка в ответ.— Что ты меня рамой обвязать, что ли, хочешь?.. Душу рамой купить?.. Нет, врешь, не обвязал ты меня рамой своей, еще я тебе не подвержен. Для себя раму ты вставил, не для меня. Я без рамы за бога стоял и с рамой все одно постою же...

И дверь загремела бодрою частою дробью.

— Слыхал? — говорил мне после этого Яшка с глубоким презрением.— Беззаконник-то на какую хитрость поднялся? Раму, говорит, вставил,— за раму отступись от бога, от великого государя!.. Этак вот другой ирод из начальников тоже меня сомущал!.. Калачами!.. Привели меня с партией в Тюмень. Смотритель купил два калача, подает милостинку, да и говорит: «Вот, бает, тебе христова милостинка, два калача,— только уж ты меня слушайся. У меня чтоб в смирении...» Слыхал? — «Милостинку я, мол, возьму. Она христовым именем принимается... Хоть сам сатана принеси, и от того возьму... А тебе, беззаконнику, я не подвержен». Не-ет! Меня лестью не купишь. Слава тебе, господи, поддерживает меня царица небесная. Стучу вот!..

Что же это за «прав-закон», за который Яшка принимал свое страстотерпство?

Привелось мне как-то писать официальное заявление, для чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время «принимали новую партию». Письмоводитель выкликал по списку арестантов и опрашивал их звание, лета, судимость и так далее. Смотритель сидел тут же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем этом было мало интересного для его благородия; для меня — тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходившее.

Но вот монотонный разговор стал оживленнее. Я поднял глаза и увидел следующую картину.

Перед столом стоял человек небольшого роста в сером арестантском халате. Наружность его не отличалась ничем особенным. Казалось, он принадлежал к мелкому мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать — апатичный, если бы порой по лицу его не пробегала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспыхивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы; они пробегали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять водворялось выражение вялости. В передней толпились арестанты. Видимо заинтересованные ходом опроса, они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи и следя за разговором сотоварища с начальством.

— Ты что ж не говоришь? — кипятился письмоводитель.— Что молчишь? Ты ведь мещанин из Камышина? Ведь тут, в твоем статейном списке, написано ясно. Вот!

Письмоводитель ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арестанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее.

— И ладно, коли написано,— произнес он спокойно.

— Да ты должен отвечать. Веры какой?

— Никакой.

Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным, долгим взглядом. Арестант выдержал этот взгляд с тем же видом вялого равнодушия.

— Как никакой? В бога веруешь?

— Где он, какой бог?.. Ты, что ли, его видел?..

— Как ты смеешь так отвечать? — набросился смотритель.— Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты этакой!

Мещанин из Камышина слегка пожал плечами.

— Что ж,— сказал он.— Было бы за что гноить-то. Я прямо говорю... За то и сужден.

— Врешь, мерзавец, наверное за убийство сужден. Хороша, небось, птица!

Мещанин из Камышина сделал было движение, как будто хотел возражать, но через мгновение опять повел плечами...

— Там судите, за что сами знаете.

— Какой твой родной язык? — продолжает письмоводитель опрос по рубрикам.

— Что еще? — спрашивает опять мещанин с пренебрежением.— Какой еще родной?.. Не знаю я...

— Ах ты, подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь. По-русски, чай?

— Слышите сами, по-каковски я говорю.

— Слышим-то мы слышим, да мало этого. Пойми ты, анафема! Надо знать: русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь? Понял?

— Чего понимать?.. Не знаю,— решительно отрезал мещанин из Камышина.

Письмоводитель убедился, что с камышинским мещанином ничего не поделаешь, и камышинский мещанин был отпущен. При этом смотритель сделал многозначительное обещание.

— Погоди,— сказал он, провожая атеиста своим тюремным взглядом.— Мы еще с тобой, дружок, потолкуем на досуге. Авось разговоришься.

От этих слов мне вчуже стало жутко. Арестант только пожал плечами...

Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты.

— Как же это, чудак! — говорил какой-то рыжеватый философ, с тузом на спине,— пра-а, чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру: «бога нет», так что же есть, по-твоему? А?

— Ничего! — отрезал тот коротко и ясно.

«Ничего!» Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан, готовится принять неведомую меру мучений из-за... ничего! Казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом «ничего», можно относиться лишь безразлично. Между тем, камышинский

мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое «ничего» перед врагами этого учения.

Яшка начертал на своем знамени другую формулу: «за бога, за великого государя!..» Он был сектант, приверженец «старого прав-закону», но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль поразила мое воображение: как много общего между этими двумя исповедниками! Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. «Я вам не подвержен»,— говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. «Нет моего преступления ни в чем,— говорит Яшка,— а и было преступление, так не вам судить — богу». «Судите, за что знаете», говорит камышинский мещанин, не желая даже косвенно принять участия в процессе этого суждения. Но в то время как камышинский мещанин скептически вопрошает: «Какой бог, и кто его видел?» — Яшка производит неуклонное стучание во имя господне.

Кто же это: непримиримые враги или союзники? Однородные ли это явления, или явления разных порядков? Что тут существеннее: пункты сходства или пункты разногласия,— общее у обоих отрицание существующих условий или религиозно-сектантские взгляды, которые есть у Якова и которые изгнал из своего обихода камышинский мещанин?

У Якова, по-видимому, было положительное миросозерцание, основами которого являлись «бог и великий государь». Но это была какая-то странная смесь мифологии и реализма! Несуществующие безбожники, направляемые несуществующими министрами Финляндцевыми (министр финансов), заполняют мир, ловят души, требуют отречения «от бога, от великого государя». И рядом — несомненно существующее, самое реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает правым, сознательная готовность погибнуть и — страшно подумать — полная возможность такого исхода... Яшка предсказывает это на основании своей фантастической теории, а Михеич подтверждает, как несомненную пози-

тивную истину. «Этому стукальщику то же будет, что и Тимошке, а то похуже»...

Для камышинского мещанина «ничего» означает отсутствие всякой цели и смысла в жизни. По мнению Якова, все в мире клонится к злу. Было уже три «сменения»... Какие? — Яшка имеет об них лишь смутные понятия.

— Видишь вот,— ответил он на мой вопрос об этих сменениях.—Читал я в «Сборнике», да, видно, запамятовал. Первое—Рим отпал... Раз... Второе—Византия будто... Два. Ну, третье—московское. Ноне идет четвертое— горше первых. С шестьдесят первого году началось.

— Какое же?

— Какое? Ты теперича как пишешься? — неожиданно спросил у меня Яков.

Я не знал, как я пишусь, но Яков ответил за меня сам:

— Ты теперь пишешься: бывший государственный крестьянин. Понимай: бывший! Значит, был — да нету. Вот какое сменение!.. Земское сменение пошло, гражданские власти пошли. Государственных отменили.

С шестьдесят первого года мир резко раскололся на два начала: одно — государственное, другое — гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело, без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста.

— Что же, Яков: под гражданскими-то властями тяжелее, что ли?

— Как не тяжеле! Жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, а ноне земские подати окромя накладывают... на тех, кто им, значит, подвержен.

— Ты податей не платишь? — спросил я, начиная догадываться о ближайших причинах Яшкина заключения...

— Государственные платим. Сполна великому государю вносим. А на земские мы не обязались. Вот беззаконники и морят, под себя приневоливают. Кресты с церквей посняли.

— Ну, кресты-то на церквах есть.

— Не настоящие... Настоящих не стало... И кре-

щение не настоящее — щепотью... Все их дело, их знамение.

— Постой, Яков! Как это ты рассудишь: ведь и великий государь в те же церкви ходит?

— Великий государь,— отвечал Яшка тоном, не допускающим сомнений,— в старом прав-законе пребывает... Ну, а царь польской, князь финляндской... тот, значит, в новом...

Оказывалось, что будущее принадлежит новым началам. Уступая давлению этих начал, великий государь издал циркуляр, в котором написано: «Быть по тому и быть по сему», что значит: кого успеют слуги антихриста заманить,— заманивай. Над теми он властен, на тех подати налагай и душами владей. А кто не обязался, кто в истинном «прав-законе» стоит крепко, того никто не смеет приневолить.

Новые начала берут силу все более и более. «Беззаконники» пошли против какого-то циркуляра и стали под свою руку приневоливать насильно. Становится все труднее... Пущены в ход всякие средства

— На тридцать на шесть губерен пущено тридцать шесть лисиц. Честью да лестью все пожгут... народу погубят — страсть!..

Нигде нет защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом меркнет. Государственные власти «стоят плохо». Народ подается, не видя опоры. «Пишутся, правда, циркуляры-те, да что уж...» Суды пошли гражданские, тихие...

Тихие суды с шестьдесят первого года, то есть именно с тех пор, как в жизнь стала вторгаться гласность! Я не утерпел и попытался разрушить Яшкину фантасмагорию, для чего стал излагать основания нового гласного судопроизводства. Яков слушал довольно внимательно.

— Постой,— перебил он меня, наконец.— Думаешь, я не сужден? Сужден, как же! Безо всякого преступления судебною палатою сужден. Не признаю я суда ихнего... Ну, все же — судили. Вот набольший-то судья и говорит мне: «Не найдено твоей вины ни в чем. Расступитесь, стража!.. От суда-следствия оправлен». Ну, думаю, вот меня на волю выпихнут, вот выпихнут... А они тихим-то судом эвона выпихнули куда!

Я понял: суд гласно оправдал Якова, администрация его выслала... Яшка полагает, что гласный приговор — хитрость антихриста, что, кроме этого приговора, был еще другой, тихий. «Видишь вот, на каки хитрости идет». И все это, конечно, имеет определенную цель: судебная палата, министры, губернаторы, тюремный смотритель, Михеич... все они в заговоре, чтобы предать антихристу Яшкину душу...

Вследствие всего этого, на миру «жить стало не можно». «Вместе отец с сыном, обнявши, погибнете». Общественные связи нарушены. Приходится душу блюсти в одиночку, вразброд. Победа «слугам антихриста» почти обеспечена. Бросил Яшка семью, бросил хозяйство, бросил все, чем наполнялась его труженическая земледельческая жизнь, и теперь он один, во власти «беззаконников».

— И пошто только мучают? — удивляется Яшка.— Невозможно мне от истинного прав-закону отступить. Не будет этого, нет! Наплюю я им под рыло. Вот взял — приколол, только и есть. А то... морят попусту! — он был вполне уверен, что если до сих пор его еще «не прикололи», то лишь потому, что живая Яшкина душа доставит антихристу бо̀льшее удовольствие.

Но даже и это положение казалось Яшке лучше того, которое ожидает «на миру» всех, принявших печать антихриста. Новые порядки грозят всеобщею неминучею бедой.

— Что дальше, то и хуже будет. Худа ждать надо, добра не видать,— в «Сборнике» писано... Земля на выкуп пойдет.

— Да ведь и теперь земля идет на выкуп,— заметил я.

— То-то, и теперь идет,— отвечал Яшка невозмутимо.— А там и еще хуже будет. У кого двенадцать тыщей будет, тот и землей владеть станет. А и кто тыщу, другую имеет, и те без земли погинете. Верно я тебе говорю. Молод ты еще, поживешь — вспомнишь.

— Как же, Яков, неужто можно думать, что антихрист сильнее бога? Неужто божия правда не сладит с кривдой?

Яков подумал. Я заметил на его лице следы усилен-

ной умственной работы. Он почерпнул откуда-то определенный ответ:

— Ну,— сказал он,— не бывать тому. Поработают, да и погибнут... Верно!..— повторил он через минуту.— Поработают, да и погибнут. А только не увидать нам с тобой правды...

V

— Ты, Яков, не признаешь гражданского суда. А государственный признаешь? — допытывал я в другой раз.

— Признаю государственный.

— Какие же, по-твоему, государственные власти? Например, генерал-губернатор?

— Енерал-губернатор — государственный... От великого государя. Правильный.

— Значит, его решение правильное?..

— Давно велел отпустить меня. Да вот, видишь ты...

— Постой. Ну, положим, твое дело стал бы судить генерал-губернатор.

— За что меня судить? Не за что.

— Погоди! Ты, вот, говоришь: не за что, а гражданские власти говорят: есть за что. Надо ведь кому-нибудь рассудить. Государственные власти ты признаешь? Ну, вот, они и судят, и решают твое дело против тебя.

— Не могут они... Они должны правильно...

— Да ты обдумай хорошенько. Говорят тебе гражданские власти: пусть, мол, рассудит генерал-губернатор твое дело. Ведь он имеет право решать дела, так ли?

— Ну? — сказал Яков, видимо ожидая, что из этого выйдет.

— Ты ему должен подчиниться, как правильной государственной власти?..

— Нн-у-у? — протянул Яков, осторожно избегая ответа и, очевидно, заинтересованный возможностью некоторой новой комбинации.

— Ну, вот, и выходит от него решение: подчиняйся, Яков, новым порядкам, неси земские повинности...

Яшка смутился.

— Эвона! Видишь ты... Вот...— подыскивал он ответ.

— Теперь отвечай мне: покоришься ты или нет?

— То̀-оно[1]... Видишь ты... Где уж, поди... Нет! — отрезал он, наконец. — Где, поди, покориться. Како коренье... Невозможно мне...

И на лицо его легло то же выражение непоколебимого сурового упорства.

— Слушай, что я тебя спрошу, Володимер, — сказал он мне однажды. — Ты какого прав-закону будешь? Нашего же, видно?

Чтобы испытать Яшкину терпимость, я резко отверг свою солидарность с Яшкиным прав-законом и поставил перед этим фанатиком «старого прав-закону» основания совершенно несродного ему учения. В выражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства. Злоупотребляя несколько его невежеством в догматике и св. писании, я опирался на изречение: «по делам их познаете их» и на подходящих текстах из Иоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ее место «дела», то есть практическое стремление к осуществлению формулы любви. Все это я выдал за свою религию.

Яшка слушал внимательно, но, к моему удивлению, вовсе не заметил самого существенного в моем исповедании.

— Что ж? — удивил он меня. — Это и по-нашему так: все от Адама.

Я поставил вопрос яснее и обрушился с своею критикой на двуперстное знамение.

— Читал ты в писании: «Поклонитесь в духе и истине»?.. А что такое персты: дух или плоть?

Тут Яшка понял.

— Сказано тоже... — медленно заговорил он, — поклонитесь душою и телом...

— А где это сказано? — спросил я.

Яков задумался и не ответил.

— Что ж? Это тоже хорошо... — сказал он в раздумье, — конечно, всяк по своему разумению.

И, вздохнув, прибавил с странным выражением:

— Всяк по-своему с ума-то сходит...

---

[1] То̀-оно... — в этом слове сказывается уроженец Пермской или Вятской губернии. Оно употребляется в тех местах каждый раз, когда говорящий испытывает затруднение и не находит подходящего выражения.

VI

Спустя две недели после нашего прибытия в острог, перед вечером,— но еще задолго до поверки,— арестантов стали загонять в камеры. Коридоры опустели, и в подследственном отделении воцарилась тяжелая, будто выжидающая тишина, по которой мы привыкли уже угадывать приближение высшего тюремного начальства. Вскоре громыхнула дверь дальнего коридора, послышалось звяканье оружия, шаги многочисленной толпы.

Ближе и ближе. Толпа ввалилась в наш коридор. Шаги отдавались отчетливо и смолкли у Яшкиной двери.

Лязгнули запоры, дверь отворилась. Несколько секунд стояло гробовое молчание, затем раздался голос старика — «помощника»:

— Выходи, Яков... на волю.

— Врешь! — послышался в ответ суровый голос Якова.— Врешь, обманываешь, беззаконник! Не те времена, чтобы на волю меня...

Конвойные бросились в камеру; послышался шум борьбы, что-то грузно повалилось на пол.

— Пó душу! — вскрикнул Яков подавленным, как будто задыхающимся, голосом.— Пó душу пришли, господи!.. Смерть, смерть моя! — кричал он все громче и громче. В его голосе, то сдавленном, то резком и громком, слышалась глубокая тоска и страх смерти.

Сердце у меня сильно билось... Мною начинала овладевать Яшкина фантасмагория, в связи с комментариями реалиста Михеича: «У них это живо!» Яшку вязали, чтобы свезти в дом сумасшедших, где царили известные упрощенные приемы лечения. Яков отбивался в последней степени отчаяния.

— Володимер, Володимер! — вскрикнул он, вдруг вспомнив, что рядом, хотя за такою же дверью, есть человек, быть может способный понять его положение.

— Володимер, Володимер, Володимер!..

Фантасмагория овладела мною всецело. Я громко застучал в свою дверь.

— Что такое еще? — послышался голос помощника смотрителя.— Кто это стучит?

— Политические стучат, ваше благородие,— сказал Михеич.

— Спроси, что надо?.. Постой, я сам спрошу.

Седой старик в мундире и папахе подошел к нашей двери и уставился в меня своими старчески бесстрастными, подслеповатыми глазами.

— Вам что угодно?

Вопрос меня озадачил. Что мне было угодно? Реальная действительность глядела на меня в лице этого старика, и я не знал, что сказать реальной действительности. Я сам был заперт в одиночке, за крепкою дверью, и мне ли было вступаться за Яшку? на каком основании?

— Что тут творится? — спросил я.— Что вы делаете с Яковом?

— Это... позвольте... Какое вам дело?.. Дело это не ваше... Получено предписание от начальства: отправить номер пять в дом сумасшедших. Ну, мы и отправляем... Может ли все это до вас касаться?

VII

В отделении подследственных водворилась тишина, Яшку связанного пронесли по коридорам, уложили в телегу и увезли вон из тюрьмы.

Отступит ли Яков «от бога, от великого государя»? Отступит ли сибирская психиатрия от упрощенных приемов лечения? Ответ был ясен... Тяжелые мысли теснились в мозгу: меня подавляла мертвая тишь одиночки и коридоров.

Старик Михеич тихо запер дверь Яшкиной камеры, постоял перед нею, задумчиво покачал головой и затем уселся на своем излюбленном месте. Старая тюремная крыса бодро прошла по коридору, бросая довольные взгляды на опустевшую каморку, из которой не слышалось более громового Яшкина стука. Старик бормотал что-то и скверно улыбался.

Вечером «поверка» обходила камеры обычным порядком. Все было тихо.

— Нет уже стукальщика,— сказал его благородие, обращаясь к конвойному офицеру.— Свезли нынче в дом сумасшедших.

Вдруг по коридору пронеслись гулкие удары... Его благородие вздрогнул, тюремная крыса уронила каран-

даш и тетрадку, офицер как-то нервно обернулся в ту сторону. Вся «поверка» точно застыла.

— Пошто держитѐ меня, пошто моритѐ, беззаконники?! — раздался вдруг козлиный голос Тимошки-остяка, и общее напряжение разразилось смехом.

Эта выходка была совершенно неожиданна. Козлиный голосок остяка так смешно подражал могучим окрикам Якова, все это в общем представляло столь жалкую и смешную пародию, что его благородие расхохотался. За его благородием захохотала вся «поверка». Смеялся старичок помощник, моргая подслеповатыми глазками, грохотал толстяк офицер, сотрясаясь тучными телесами, хихикала тюремная крыса, улыбка шевелила длинные усы Михеича, смеялись в бороду солдаты, вытянувшись в струнку и держа ружья к ноге...

На следующий день и мы тронулись в путь.

1880

Убивец

I. БАКЛАНЫ

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили «плашкот» и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в дощатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому купеческого звания, на другой — трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане, наоборот, были веселы и сообщительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ветер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге врастяжку, заложив руки под

голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N, то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

— Что это за люди? — спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

— Ко́стюшка с товарищами,— ответил он сдержанно.

— Кто такие? — переспросил я, так как имя было мне незнакомо.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того, что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые птицы, вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно-хищным криком.

— Бакланы! — пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу.— Вот и мещанишки эти,— продолжал он,— те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведениев. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало.

— Грабят, что ли?

— Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю место-другое с обоза стянуть — ихнее дело... Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь,— грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Ко́стюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал... Верно!.. Помни: Коська этот — первеющий варвар... Товарища вот ему настоящего теперь нету... И был товарищ, да обозчики убили...

— Попался?

— Попался в деле. Не пофа́ртило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

— Первое дело — пальцы рубили. Опосля огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили... Помер, собака!..

— Да ты-то с ними знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то потчевали?

— Будешь знаком,— сказал ямщик угрюмо.— Сам тоже винища им выпоил немало,— потому — опасаюсь во всякое время... Помни: Ко́стюшка недаром и нонче-то выехал... Эстолько места даром коней гонять не станет... Фарт чует, дьявол, это уж верно!.. Купец вот тоже какой-то...— задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания,— не его ли охаживают теперича?.. Только вряд, не похоже будто.. И еще с ним новый какой-то. Не видывали мы его раньше.

— Это который в телеге лежал?

— Ну, ну... Жиган, полагать надо... Здоровенный, дьявол!. — Ты вот что, господин!.. — заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне.— Ты ужо́, мотри, поберегайся... Ночью не езди. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались. .

— А ты меня знаешь? — спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

— Нам неизвестно,— отвечал он уклончиво.— Сказывали — кудиновский приказчик из губернии проедет... Дело не наше...

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных «бакланов», не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

II. ЛОГ ПОД «ЧЕРТОВЫМ-ПАЛЬЦЕМ»

На **ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

— Эх, батюшка, Иван Семеныч! — уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения.— Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков, что о вашем процессе да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

— Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за «вольными»... И то время уходит...

— Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам «дружка» [1] надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

— Куда теперь меня доставишь? — спросил я у ямщика.

— К «дружку», к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинною седою бородой, очень почтенного вида. Он

---

[1] Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму.

поднял свой фонарь над головой и, оглядев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

— А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу... Коней, мол, старик, готовь... А вам, я говорю, какая забота?.. Они, может, ночевать удумают... Дело ночное.

— А какие ребята-то? — перебил мой ямщик.

— А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то... Думаю так, что из городу, а кто именно — сказать не могу... Где их всех-то узнаешь... А ты, господин, ночуешь, что ли?

— Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! — сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшею мне молвой.

Старик немного подумал.

— Заходи в избу, чего здесь-то стоять... Вишь, горе-то, лошадей у меня нету... Третьегоднись в город с кладью парнишку услал. Как теперь будешь?.. Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь, между тем, сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот.

И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

— Ох, господи,— закачал старик своею седою головой,— на грех ты торопишься, право... Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости господи!

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

— Ладно,— сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином.— Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалече тут, на заимку.

— Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет...

— Недолго! — решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

— Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: «Скоро, да не споро»... Успеешь...

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

— Ну, парень,— услышал я голос хозяина уже за дверью,— скажи «убивцу»-то, пущай поторапливается... Вишь, ему не терпится...

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово... Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

— Ну, слышь, «убивец»,— напутствовал нас старик,— смотри, парень, в оба. Сам знаешь...

— Знаю,— ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разрозненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жилье осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому «логу», однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительною ясностью. Вспомнив хищнические фигуры «бакланов», таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною,— я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и был «Чертов-палец».

Дорога жалась над речкой, к горам. У «Чертова-пальца» она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок. Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. «Чертов-палец» надвигался на нас, все вырастая вверху, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жались к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькиванье, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе...

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто

дрогнул и замер. Я привстал. По дороге, меж темных кустов, что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избегли нападения сбоку; но и теперь положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону — было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. «Убивец» поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

— Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову ослушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед, по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, «убивец» остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

— Ко́стюшка это, подлец, впереди всех бежит,— сказал «убивец», прислушиваясь к шуму.— Э, да один, гляди-ко, остался!

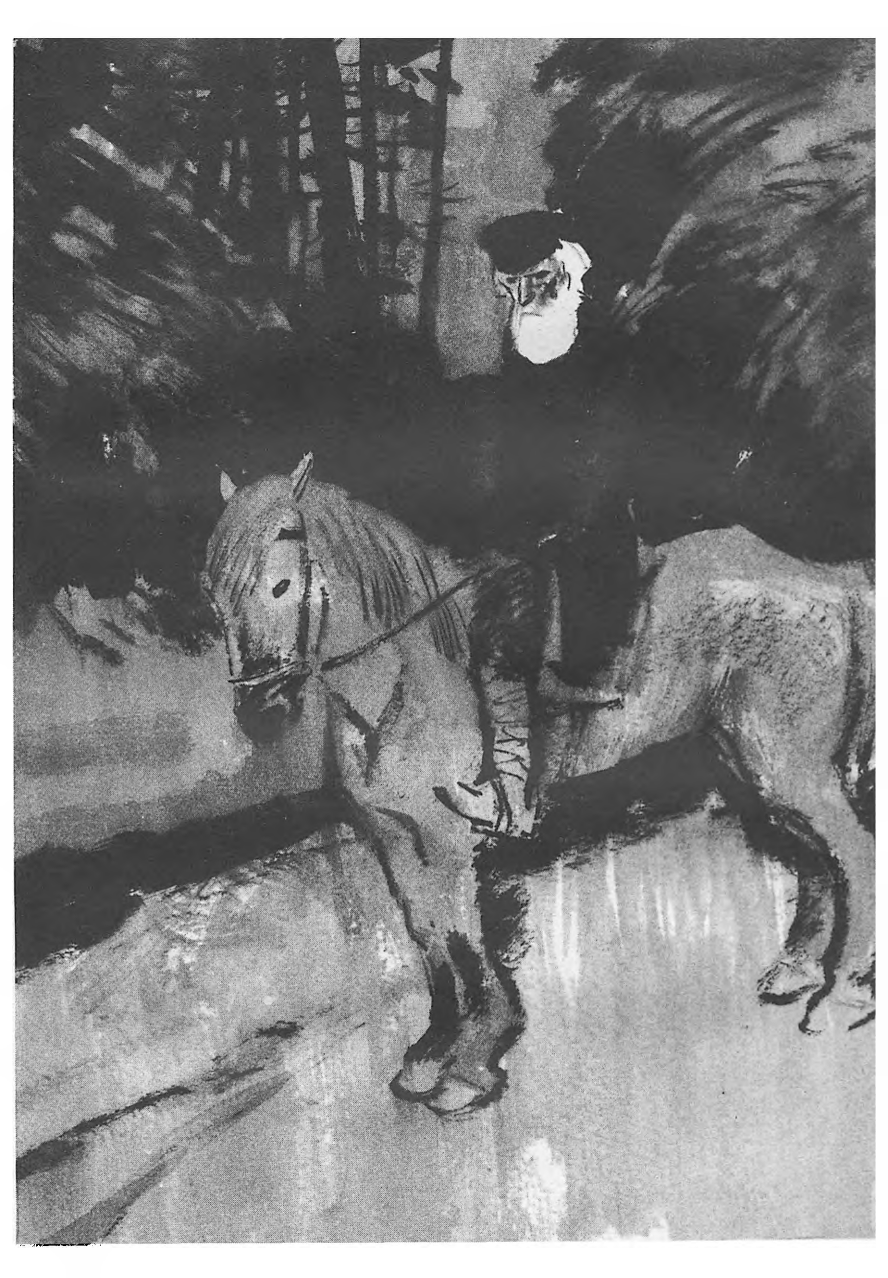
В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

«Убивец» все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

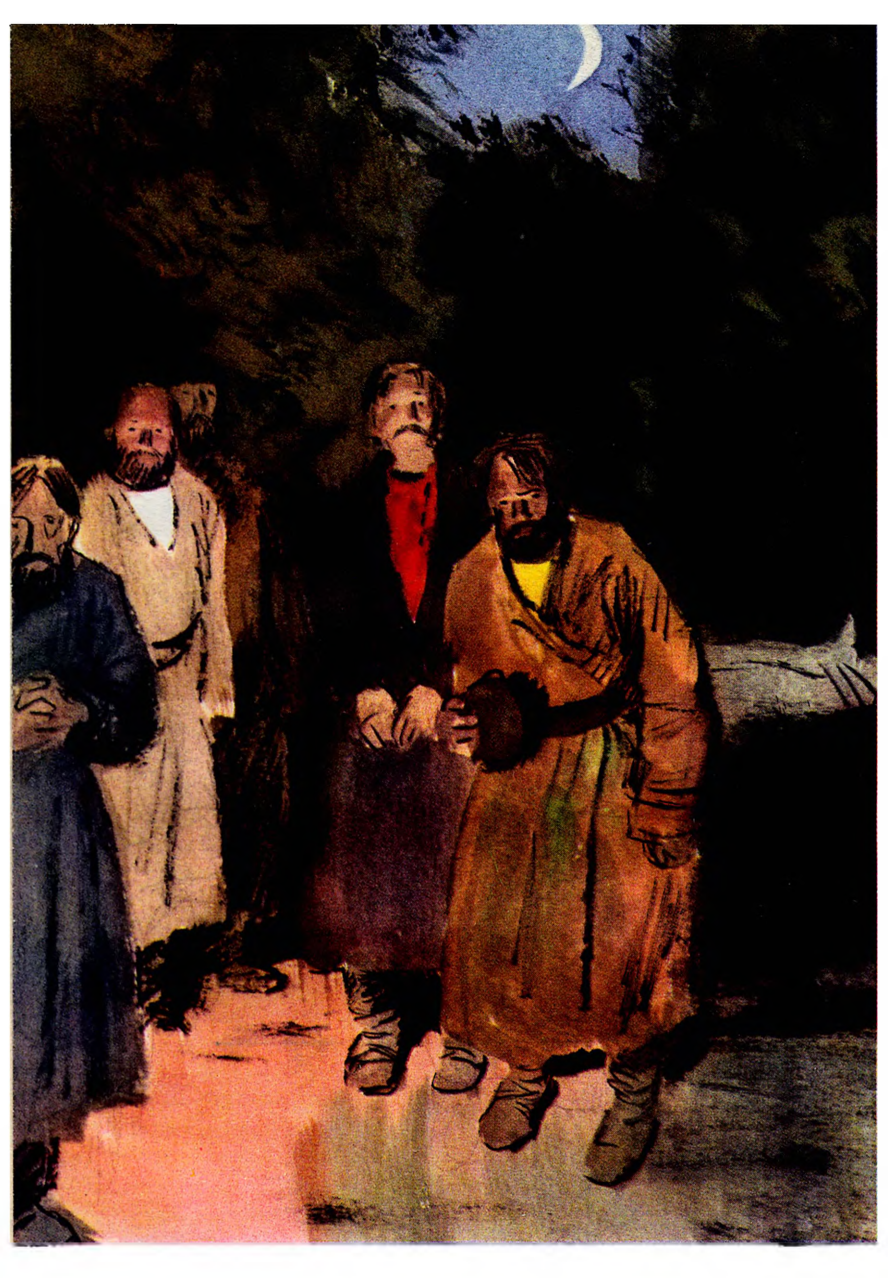
Вдруг на утесе, под «Пальцем», сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошовки и шарахнулось затем по кустам.

«Убивец» кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

— Слышь, Коська,— сказал он громко, глубоко взволнованным голосом,— не дури, я те говорю. Ежели



«УБИВЕЦ»



«УБИВЕЦ»

ты мне теперича невинную животину испортил,— уходи за сто верст, я те достану!..— Не пали, господин! — добавил он сурово, обращаясь ко мне.

— Мотри и ты, «убивец»,— послышался от утеса чей-то сдержанный, как будто не Ко́стюшкин голос.— Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

— Не грози, ваше степенство,— с презрением ответил ямщик.— Не страшен, небось, даром что с «бакланами» связался!

Через несколько минут лог под «Чертовым-пальцем» остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

III. «УБИВЕЦ»

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый:

— Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

— Не на чем,— ответил он.

— Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный...

— Отчаянный, это верно!

— А ты их знаешь?

— Ко́стюшку знаю... Да его, варвара, почитай, всякая собака знает... Купца тоже ранее примечал... А вот того, который остался, не видал будто... Видишь ты, понадеялся на Ко́стюшку, остался. Да нет, Костюшка, брат, не того десятка... Завсегда убегет в первую голову... А этот смелый...

Он помолчал.

— Не бывало этого ранее, никогда не бывало,— заговорил он опять тихо, покачивая головой.— Ко́стюшка его откуда ни то раздобыл... Скликает воронья на мою голову, проклятый...

— А почему они тебя так боятся?

— Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного...

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

— Погляди,— сказал он,— вон он, лог-то, виднеется, погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил...

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Чертов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул... Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правою рукой. Тройка как будто чуяла, хотя и не могла видеть этих движений... Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем...

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней...

— Тише, милые, тише!.. Не бойся... Вот ведь лошадь,— повернулся он ко мне,— бессловесная тварь, а тоже ведь понимает... Как на *угор* этот выехали да оглянулись,— не удержишь... Грех чуют...

— Не знаю,— сказал я,— может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

— Погнал нешто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то...

— Что ж? Ты расскажи, так узнаю...

«Убивец» потупился.

— Ладно,— сказал он, помолчав,— расскажу тебе... Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся...

Лошади застучали по мягкой дороге ровною, частою рысцой.

...Видишь ты... Было это давно... Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели — начальники. А тут и бог, вдобавок, убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было,— остался один-одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп — и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и, наконец, того, пошатился в вере. В старой-то пошатился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю... И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшенная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить... Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко — все кинул... Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошок и пошел...

— Куда?

— Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю — поле вспашу хозяину, а в другое — к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как богу молятся, как веруют... Праведных людей искал.

— Что же, нашел?

— Как сказать тебе?.. Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди бога помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по божьему закону?.. Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель... Правду ли я говорю?

— Пожалуй... Ну, и что же?

— Ну, еще пуще стал на миру тосковать... Вижу, что толку нету,— мечусь, все равно как в лесу... Теперь, ко-

нечно, маленькое понятие имею, да и то... Ну, а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить...

— Это как же?

— А так, очень просто: назвался бродягой — и посадили. Вроде крест на себя наложил...

— Что ж, легче ли стало от этого?

— Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело — без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность — самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о боге там,— это за большую редкость, и даже еще смеются .. Отчаянный самый народ. Вижу я, что, по глупости своей, не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое... Да еще говорят: как смел на себя самовольно этакое звание принять?.. Истомили вконец. Не знаю уж, что б и было со мной, да вышел тут случай... И плохо мне от этого самого случая пришлось... ну, а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже...

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут, так ведут. Мало ли каждый день приводят? Пришли это из городу арестантики, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого водят... К вечеру беспременно в острог». *Шпанка* [1] на двор повалила,— любопытно. Вышел и я погулять тоже: не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю — ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная: идет, сам пошатывается,— ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним, и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это,

---

[1] Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу.

так меня даже шатнуло... «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подобает, будто тигру какую? И диви бы еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!..»

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Привели старика в контору; кузнеца позвали — ковать в ручные и ножные кандалы, накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» — говорит кузнецу. Потом «наручни» покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»

Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:

— Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, «шпанка» тюремная — и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну, а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры, ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат... Что ни надумаю — все про себя; худо ли, хорошо ли — ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

— Что надо?

— Ничего, говорю, не надо, а так.. навестить пришел. Чай, одному-то скучно.

— Не один я здесь, отвечает, а с богом, с богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад.

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз как-то и говорит:

— Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть.

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:

— Что ты за человек за такой, сказывайся.

— Чего сказываться-то,— отвечаю ему,— самый потерянный человек, больше ничего.

— А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?..

— Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно.

Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли?» — Как же мне, говорю, отсюда выйти? — «Я тебя научу», говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко... Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись... Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное... А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится,— просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку...

Однако вспомнил про старика своего... «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не гляну... Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он.

«Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень,— спрашивает после,— на волю-то, небось, крепко хочется?» А сам смеется.— Так, говорю, хочется, смерть! — «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» — Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего.— Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут... Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спáсенье...»

— Греха, отвечаю, много.

— А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли? — Горько мне, говорю.— «Горько! А о чем — и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь — и не покаешься, а не покаешься — не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди — как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.

— Это говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят.

— Ну,— говорит старик,— это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою... Обещаешь ли меня слушаться,— укажу тебе путь к покаянию.— Обещаюсь, говорю.— «И клянешься?» — И клянусь...— Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи — в огонь пойду, а в воду, так в воду.

Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: ру-

ку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более, что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропадай, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

Вскорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел...

Ну, а еще через малое время — и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого.

Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало,— тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

— Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету.

— А как тебя звать-то? — спрашивает заседатель.

— Федором, мол, зовут, Силиным.

— А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее разá, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его...

— Ну, вот и отлично,— говорит Безрукой.— А ты, парень,— отозвал он меня к сторонке,— как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни.

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и

так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал об тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим».— А сам-то, мол, Безрукой где же находится? — «В отлучке, говорит,— по делам он все ездит. Никак скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке — работником не работником,— так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой да работник... Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева — люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки — ни-ни! А работник Кузьма— тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу, и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут,— не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему, все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, ужо на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особливо ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже; пуще дума одолевает, места себе не найду...

Прошло никак недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы; гляжу, народу у нас в избе много... Распрег коня; только хочу на крылец идти,— хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди малость, сам позову. Да слышь! — не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено,— не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит; водка перед ним, закуска, перо, бумага,— следствие, одним словом.

А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах ты, господи!.. Точно меня обухом по голове шибануло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли... И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу...

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке... Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь... Господи!..

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает. Писарь... верстах в четырех жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорит ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот, уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

— Знаете вы этого человека? — сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

— Нет, говорит, не видывал будто.

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

— Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прозванию Безрукой?

— Нет,— отвечал писарь,— не он.

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикла-

дывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятые у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили... Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспременно месяца на три уехать надо. А не уедешь,— смотри,— на меня не пеняй... Ну, лошадей мне давайте!..»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу собраться... Слышу — проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал... В доме все улеглись, огни погасли. Стал, было, и я дремать, да вдруг это слышу опять динь, динь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услыхали, огонь вздули. Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез,— значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

— Ну, как же быть?—старик-то говорит.—Да где же Кузьма?

— То-то вот,— хозяин отвечает.— Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решился.

— Ну, а Федор? — старик опять спрашивает: это уж про меня.

— Федор, мол, вечор с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил.

— Хорошо, говорит, надо быть, спать завалился. Ничего не видал?

— Надо полагать — ничего. Прямо на сеновал ушел.

— Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...

— Ладно ли будет? — говорит Захаров.

— Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в нем чудесная; и меня слушает,— кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется.

— Все же будто сумнительный человек,— говорит Захаров.— Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит.

— Ну, ну,— старик отвечает.— Знаю я его. Простой парень. Нам этаких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил.

Стали меня окликать: «Федор, а Федор!» А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! — говорит, да таково ласково.— Ты, спрашивает, спал ли?» — Спал, говорю...— «Ну, говорит, дитятко, вставай, запрягай коней; с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?»— Помню,— говорю. А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. «Может,— говорит старик,— подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока — запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся».

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол, все это видение? В голове суета какая-то, а мыслей нету...

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одною рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрег я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали — барыня молодая да трое ребят, мал мала меньше. Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не более. И куда только, думаю, тебе, горемычной, экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает, какие места, нет ли шалостей? — Не слыхивал,— говорю, а сам думаю: ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: клáди с ней много, богато едет, да еще с ребятами; ма-

теринское сердце — вещун. Тоже, видно, неволюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу, пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя... Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива, ни мертва... Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет... «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь...»

— Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?.. Да вы почто же ночевать-то не остались?..

— Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку... У старика-то,— говорит барыня,— пуще всех глаза нехорошие...

Ах ты, господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

— Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь, или дальше поедем? — Хожу я круг ее,— не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече; с проселку на него выезжать приходилось, мимо «Камня». Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

— Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее... С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе.— Теперь это, братец, люди меня боятся, «убивцем» зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай,— говорит моя барыня,— станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя сказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее, из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно ли живешь; в услужении ли, как ли?» — В услужении, говорю, недавно нанялся.— «Что, мол, за люди?»— Люди, говорю, ничего... А впрочем, кто их знает. Строгие... водки не пьют, табаку не курят.— «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело».— А как же, говорю, жить-то надо? — Вижу я: она хоть баба, да с толком; не

скажет ли мне чего путного? «Ты, спрашивает, грамотный ли?» — Маленечко, мол, учился.— «Какая, говорит, бо́льшая заповедь в евангелии?» — Большая, мол, заповедь — любовь! — «Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен,— значит, рассудить: где польза, а где пользы нету. А персты эти, да табак там — это одна наружность...» — Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил.

Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продрали глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается... Ребятам-то и любо... Известное дело — несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу,— меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит. Явственно-то не видно, а так кажет, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее... Не к добру... Задумался я... Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю, и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет,— я все молчу. Стихла и она, бедная... Сидит...

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать — чернее ночи. Сижу сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к «Камню» этому,— я не правлю. Подъезжаем,— так и есть... Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него,— веришь ли богу,— как угли... Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой.— «Федор! — старик говорит,— сойди-ка наземь!» Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят

мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошовке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним... и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. «Согреши, говорит, познаешь сладость покаяния...» Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошовушке... Он стал обок. «Начинай,— говорит.— Сначала бабу-то по лбу!» Глянул я тут в кошовку... Господи боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребяток руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось. Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли...

И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор... А самому страшно: сердце закипает. Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он... Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулся... состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого... ногами... Сам зверем стал, прости меня, господи боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

— Что́ же после? — спросил я, видя, что он замолк и задумался...

— Ась? — откликнулся он.— Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему... Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня,— повернул коня да давай его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меринок человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе. Не гляжу на людей... Сел на козлы, коней хлестнул... ни с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги стоит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухми прядет. Дернул я за повод, упирается. Ну, говорю, выходи, барыня, из кошовки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними стоит. Барыня, что твой ребенок послушный, выходит... Ребята повылезли,

к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжаюсь

Спятил я свою тройку, взял топор в руки, подхожу к серому.— Иди, говорю, с дороги,— убью! — Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают... Размахнулся изо всей силы, бряк его по лбу... Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги... Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

— Садитесь! — говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает... «Помоги»,— говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я взять его, да вдруг вспомнил...— Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, не гоже младенцу касаться...

Кое-как уселись. Тронул я... Храпят мои кони, не идут... Что тут делать?..— Посади-ко,— говорю опять,— младенца на козлы.— Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой,— пошли, так и несутся... Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут...

Наутро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. «Берите меня, я человека убил». Барыня рассказывает все, как было. «Он меня спас», говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. «За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил». Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил...— Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское да божье. Виноват ли я, прав ли,— рассудит бог да добрые люди...— «Да какая же, говорит, может быть вина твоя?» — Гордость моя, отвечаю. Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим советом поступал. Ан вот он, свой-то совет, и довел до душегубства...

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла... «Бедный ты!..» Ребяток обнимать заставляет.— Что ты? — говорю.— Не скверни младенцев. Душегуб ведь я...— Опасался, признаться, что детки и сами греха моего забоятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонко вокруг шеи моей ручками,— не

выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Добрая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня господь греха моего не взыщет...

— Если,— говорит она,— есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду! — И точно не забыла. Сам знаешь суды-то наши... волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сю пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

— А все-таки держали в остроге?

— Держали, и даже порядочное время. Главная причина — через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написали. Как пришли деньги эти, и сейчас мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. «Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?»

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрого, да чтоб я твой закон видел,— я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! — за деньги...

— Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен.

Смеется.— Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим,— власть. Куда захочу, туда тебя и суну.

— Это, мол, как же так выйдет?

— А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот: ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?

— Ну, мол, что дальше-то?

— Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл.

— А другой, мол, какой будет?

— Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя старик — все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?

— Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил... так ли, этак ли,— я б тебе

в ноги поклонился. А ты вот что! Ничего тебе от меня не будет.

Осердился он.

— Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною.

— Ладно, говорю, не грози.

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял, да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда... Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

— А что же Иван-то Захаров?

— А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был, ехать Захарову за мной невдалеке Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, бог-то судил иначе... Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись,— в тайгу... А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын — на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

— Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава те, господи... Вишь ты, и солнышко божье как раз подымается.

IV. СИБИРСКИЙ ВОЛЬТЕРИАНЕЦ

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

— Вам лошадей? — спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

— Да, лошадей.

— Нет.

— Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу...

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

— Нет, в самом деле,— сказал он затем серьезно.— Вам теперь, вероятно, не к спеху... Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

— Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

— Губернатора! — засмеялся Василий Иванович.— Куда махнули! И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого парня уважить, право... Вы не обижайтесь, я и вам тоже всею душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

— Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

— А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите? Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Васильем Ивановичем в его «хибарку», где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

— Да, так вы насчет правосудия спрашивали? — заговорил опять Василий Иванович.— Вы фамилию Проскурова слыхали?

— Нет, не слыхал.

— Да и чего слыхать-то,— вмешалась Матрена Ивановна.— Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

— Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! — горячо заговорил Василий Иванович.— Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угоднику моему свечку должна поставить за то, что муж твой с этакими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопая сделают разве следователем по особо важным делам?

— Что вы это мелете? — вступился я.— Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

— То-то и я говорю,— ободрилась Матрена Ивановна,— врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

— Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили,— укоризненно покачал головой смотритель.— А ведь, в сущности, напрасно. Оно, конечно, по штату такой должности у нас не полагается, но если человек, все-таки, ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

— Ничего я тут не понимаю,— сказал я.

— То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну, а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?.. Неужели и этого не слыхали?

— Да, слыхал, конечно.

— Ну, то-то. Компания, так сказать, всесословная. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: «рука руку моет», и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже лиц, в нем участвующих,— все, кроме, конечно, превосходительного... Но вот недавно както, после одного блестящего дела, «самого» осенила внезапная мысль: надо, думает «искоренить». Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили осердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подозревать связь с прежними.

— Что же тут удивительного?

— Оно, конечно, бог умудряет и младенца. Человек-то попался честный и энергичный,— вот что удивительно! Месяца три уже искореняет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

— Что же тут хорошего, особенно для вас?

— Да ведь заездил-то не Проскуров... Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления... для пользы службы, конечно. Ну, да редко им удается. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него изпод носу вытащить... Огорчили бедного до такой степе-

ни, что он даже в официальном рапорте забылся: «Старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному сокрытию следов преступления». Ха-ха-ха!

— То-то вот,— сказала Матрена Ивановна,— я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

— Ну, уж не озорник,— возразил Василий Иванович.— Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской. . «на предбудущее время,— говорят ему,— таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью». Чудак! Ха-ха-ха!

— Ну, а вы-то тут при чем? — спросил я.

Василий Иванович принял комически-серьезный вид.

— А я, видите ли, содействую. У нас тут,— спросите вот у Матрены Ивановны,— настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человечек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги, д-да-с...

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

— Погодите,— сказал я ему.— Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

— Представьте,— сказал он довольно серьезно,— ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать... Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую, и даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя «настоящее» начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Вез-

де у него есть свои люди... «сочувствующие». В этом его сила, конечно. Только... странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что «настоящие начальники не такие бывают». Это отголоски общественного мнения. А между тем, пока этот младенец ломит вперед, «высоко держа знамя», как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души, или просто лично не заинтересованный, старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

— Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?..

— То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадо. Прет себе без всякой «политики» и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: «съедят, мол, младенца ни за грош!» Ну, и жалко. «Погоди-ка,— говорит сторонний человек,— я вот тут тебе дорожку прочищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст». А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где надо, а где надо — и взяточкой бы не побрезгал,— без этого какой уж и начальник! Ну, тогда могла бы явиться и вера: «этот, мол, скрутит!» Только... черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением «начальственных» интересов... Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле.

— Наливай, Матренчик, чаю,— сказал он как-то мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга.— А прежде,— обратился он ко мне,— не дернуть ли нам по первой?..

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере в одной Сибири вы най-

дете такого философа где-нибудь на почтовом станке, в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был «из сосланных», то это было бы не удивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергши с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти «низменные» сферы не совсем обычные в них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому с спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой «ссыльной стране», с ранней юности вкусы и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинами; перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать «удовольствие существования»; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники «всяких» поручений... И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодушие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с младенчески наивным неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, «деградации». Когда, после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

— Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу... Не могус-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и выругать-то там будет некого.

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенною Россией,— сравнение, которое одно время было в таком ходу,— мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что у дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский, в простоте своей душевной непосредственности, полагал, что «так уж самим богом установлено, и вольтерианцы напрасно против этого вооружаются». Сибирский же Сквозник видел упразднение своего российского прототипа, видел торжество вольтерианцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назначение не верит. Пойдут одни «веяния» — он радуется; пойдут другие — он впадает в уныние и скрежещет Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: «авось и на этот раз пронесет еще мимо», зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: «надолго ли?» Ибо «рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки». А тут еще в сторонке стоит свой родной «вольтерианец» во фризовой шинели и улыбается: «Что, мол, батюшка, покуда еще бог грехам терпит, ась?» — да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

— Кстати,— спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу,— вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами, тот раз, в логу?

Я рассказал все уже известное читателю.

Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

— Да,— сказал он,— странные люди...

— Вы их знали?

— Как вам сказать? Ну, встречал, и беседовал, и чай, вот как с вами, пивал. А знать... ну, нет! Заседателей вот или исправников, быть может по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: несдобровать этому Силину,— не теперь, так после покончат с ним непременно.

— Почему вы думаете?

— Да как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится везти, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребята: «Убивца», мол, хоть заговоренною пулей, а все же взять можно...» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

V. «ИСКОРЕНИТЕЛЬ»

Василий Иванович насторожил, среди разговора, свои привычные уши.

— Погодите-ка,— сказал он,— кажется, колокольчик... Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

— Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по до-

роге к стану. Но вот дорога, пролегавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших — прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с облучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя, через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал, как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке и, как ни в чем не бывало, курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразною энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это, после нескольких мгновений, как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

— Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик... лошадей!.. Лошадей мне, милостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

— Не могу-с... Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя,— он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

— Что вы, что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с... Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых· у меня на всякий случай подорожная... Но, кроме того, на законном основании...

Но Василий Иванович уже смеялся.

— А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! — досадливо сказал Проскуров, очевидно не в первый раз попадавший в эту ловушку.— Скорее, бога ради, у меня тут дело!

— Знаю, убийство...

— Да вы почему знаете? — встревожился Проскуров.

— Почему знаете! — передразнил смотритель.— Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

— Э, врете вы опять,— просиял Проскуров,— *они*-то еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть собственно... правильнее сказать — подозреваемый, в руках. Это, батюшка, такое дельце выйдет... громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

— Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы.

— Василий Иванович,— заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном,— там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил смотрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону.

— Ну, вам, вам, успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

— Убийство, батюшка! Опять убийство... Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищемить можно... Ах, ради бога, поскорее!..

— Сейчас. Да где же это случилось?

— Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили...

— Что такое? Уж не ограбление ли почты?

— Э, нет, «вольного».

— «Убивца»? — вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

— Д-действительно-с... убитого так звали. А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

— Гм...— промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки.— Допросите-ка его, хорошенько допросите!

— Я встречался с ним ранее.

— Та-ак-с!.. — протянул Василий Иванович,— встречались... А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

— Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный человек! — досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне.

— Извините, милостивый государь, собственно я вовсе не имел в виду привлекать вас к делу, но вы понимаете... интересы, так сказать...

— Правосудия и законности,— ввернул опять неисправимый смотритель.

— Одним словом,— продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд,— я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то... вы понимаете... одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

— Не знаю,— ответил я,— насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу до-

ставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

— Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?..

Я назвался.

— Афанасий Иванович Проскуров,— отрекомендовался он в свою очередь.— Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы, милостивый государь... одним словом... ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

— Н-ну, уж это... я вам скажу... Это черт знает что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

— Не думайте, пожалуйста,— заговорил он.— Помилуйте, какие же основания?..

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

— Да и Василий Иванович, конечно, шутит,— добавил я.

— Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказаться.

— Напротив,— сказал я Проскурову,— я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересует это дело.

Передо мною, точно живой, встал образ «убивца», с угрюмыми чертами, со страдальческою складкой между бровей, с затаенною думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» — вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном логу, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

— Эге-ге! — закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно.— Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

— Поскорей, ради бога,— кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок привставал иногда и что-то делал над спиной ямщика; виднелись подымаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

— Много довольны, ваше благородие...

— Сказал товарищу, вот ему? — ткнул Проскуров в нового ямщика.

— Знаем,— ответил тот.

— Ну, смотри,— сказал следователь, усаживаясь в повозку.— Приедешь в полтора часа,— получишь рубль, а минутой — понимаешь? — одной только минутой позже...

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не докончив начатой фразы.

VI. ЕВСЕИЧ

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

— Ну-с, милостивый государь, что же собственно вам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось,— купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

— Д-да,— сказал он, когда я кончил.— Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

— Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

— Ах, боже мой! — воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования.— Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягали, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но в общем впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще рваная, убогая одежонка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

— Здравствуй, здравствуй, Евсеич,— сказал чиновник радушно.— Ну, что? Птица-то у нас не улетела?

— Пошто улетит? — сказал Евсеич, переминаясь.— Сторожим тоже.

— Пробовал ты с ним заговаривать?.. Что говорит?

— Пробовал-то пробова-ал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, постращал-таки маленько! — Что, мол, такой-сякой, лежишь, ровно статуй? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту? — «А кто?» — спрашивает.— Да начальство, мол, вот кто... сотский! — «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали...» Что ты с ним поделаешь? Отчаянный!.. Известно, жиган!

— Ну, хорошо, хорошо! — перебил нетерпеливо Проскуров.— Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

— Не убегет. Да ён, ваше благородие,— надо правду говорить,— смирной... Кою пору все только лежит да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается,— шут его знает... Раз только и вставал-то: поесть бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цигарку да опять и залег.

— Ну и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

— Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие...

Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени.

— Ну, что еще? — спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

— Да, значит, теперича так мы мекаем,— начал Евсеич, политично переминаясь и искоса посматривая на меня,— теперича ежели мужикам на *них* налегнуть, так в самую бы пору .. Миром, значит, или бы сказать: скопом.

— Ну? — сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

— Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем... Теперича хоть бы самый этот жиган... Он что такое? Можно сказать — купленый человек; больше ничего, что за деньги... Не он, так другой...

— Справедливо,— поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный.— Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

— Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу... мы бы, может, супротив *их* осмелились... Мало ли теперича за ними качеств? Мир— великое дело.

— Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет,— сказал Проскуров не без важности.

— Известно,— произнес Евсеич задумчиво.— Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, теперича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, тут мы должны вовсе пропасть и с ребятами. Потому — ихняя сила...

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

— Вот так всегда! — говорил он.— Все компромиссы, всюду компромиссы... Обеспечь им успех, тогда они

согласны оказать поддержку правосудию... Что вы на это скажете? Ведь это... это-с — разврат, наконец... Отсутствие сознания долга...

— Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом,— сказал я,— то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела *на легальном пути*. Иначе в чем же состоит самая идея власти?.. Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось не более трех, когда сзади послышался колокольчик.

— Ага! — сказал Проскуров,— едет без перепряжки. Ну, да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

VII. ЗАСЕДАТЕЛЬ

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мóроки. Было прохладно и тихо. «Камень» молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклятая, дремала недвижимо, не шелохнув ни одною веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчика, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в угрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщовым покрывалом, лежало мертвое тело.

— Здравствуйте, братцы! — сказал следователь тихо.

— Здорово, ваше благородие! — отвечали крестьяне.

— Ничего не трогали с места?

— Ничего, будто... *Его* маленечко обрядили: не хорошо, значит... Скотину не тронули.

— Какую скотину?

— Да ведь как же: пегашку-то пристрелили же варвары... На вершной покойник-то возвращался.

Действительно, в саженях тридцати, у дороги, виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднелось то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда, как последнее движение улетающей жизни... Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его широкая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходуном под короткою форменною шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже вздувались и опадали, причем нафабренные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

— У-уф,— заговорил он, пыхтя и отдуваясь.— За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

— Мое почтение,— ответил Проскуров холодно.— И напрасно изволили торопиться Я мог бы и обождать.

— Нет, зачем же-с?.. У-уф!.. Служба прежде всего-с... Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сиплым армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали, между тем, по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

— Это мой знакомый,— отрекомендовал меня Проскуров,— господин NN, временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

— Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов.

Безрылов поднес руку к козырьку и молодцевато щелкнул шпорами.

— Отлично-с. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом картины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов исступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копья.

— Ррак-ка-льи! — произнес он, наконец, и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который, между тем, уставился на него своими упорными глазами.

— Пожалуйста,— попросил заседатель, опуская глаза,— опишем при вскрытии, завтра... Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

— А там произведем допрос арестованному по этому делу,— сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забегали, как два затравленные зверька.

— Арестованному? — переспросил он.— У вас есть уже и арестованный?.. Как же мне... как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался оправиться. Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

— Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках... зам-ме-чательно...

VIII. «ИВАН ТРИДЦАТИ ВОСЬМИ ЛЕТ»

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще, Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя с снисходительною улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

— Прикажите ввести арестованного,— сказал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса.

Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Ко́стюшкой на перевозе задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубахе виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

— Как зовут?

— «Иван тридцати восьми лет».

— Где имеете место жительства?

— Без приюта... в бродяжестве...

— Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

— Так точно, ваше благородие, моя работа... Что уж, видимое дело...

— Молодец! — одобрил бродягу Безрылов.

— Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?.. Не отопрешься.

— А по чьему научению или подговору? — продолжал следователь, когда первые ответы были записаны.— И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые найдены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

— Ну, уж это,— ответил он,— ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь,— ну, и я свое тоже знаю... Сам по себе работал, больше ничего... Я, да темная ночка, да тайга-матушка — сам-третей!..

Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уставился на бродягу, видимо, любуясь его образцовою тюремною выправкой, как любуется служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

— Ну, а не желаете ли сказать,— продолжал он свой допрос,— почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением.

— Пырнул я его ножиком раз и другой... Более, кажись, не было... Свалился он...

— Десятник,— обратился Проскуров к крестьянину,— возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противоположной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сломленной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

— Ваше благородие... хрестьяне православные,— заговорил он умоляющим тоном,— не делал я этого... Верьте совести — не делал!.. Со страху нешто, не помню... Да нет, не может этого быть ..

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули.

— Ваше благородие,— заговорил он решительно, подходя к столу,— пишите: Ко́стюшка это сделал,— Костинкин — рваная-ноздря!.. Он, беспременно, он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело... Все одно: товарищ, не товарищ — знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его, в одном «заведении», с Ко́стюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча. «Убивец», мол, такой человек, его ничем не возьмешь: ни ножом, ни пулей, потому заколдован».— «Пустое дело, господа,— я говорю,— не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь» — «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» — «А это, говорю, дело мое. Острог — мне батюшка, а тайга — моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят... вот что!» Ну, слово за слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с

нами на *фарт*[1] идти?» — «Пойду», говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в логу беспременно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуваним честь честью... Ну, а ежели «убивец» опять повезет,— мотри, убегешь».— «Не будет этого, говорю, чтоб я убег».— «Ну, ладно, мол: ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек,— за «убивца» можешь себе награду получить большую!..»

— Награду? — переспросил Проскуров.— От кого же?

— Ты вот что, господин,— сказал бродяга,— ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после... Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная причина — товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел... Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убегешь ежели,— сам жив от меня не останешься!» Три дня мы в логу этом прожили,— все его дожидались. На третий день проехал он под вечер: значит, ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпалил Костинкин из ружья, пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня... прямо... Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу — все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хвать его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого — обземь. Силен был покойник. Подмял; гляжу — пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его... под ребро... Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза... «А! — говорит,— чуяло мое сердце!.. Ну, теперь, ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти..» Встал я, гляжу: мается он... хотел было подняться,— не смог.— Прости меня,— говорю.— «Ступай, отвечает, сту-

[1] **Фарт** по-сибирски — удача, дело, обещающее выгоду.

пай себе... бог простит ли, а я прощаю...» Я ушел и не подходил более, поверьте совести... Костинкин это, видно, после меня на него набросился...

Бродяга смолк и тяжело опустился на лавку. Проскуров быстро дописал. Было тихо.

— Теперь,— заговорил опять следователь,— докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Ко́стюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

— Будет! — сказал он твердо — Боле не стану... Довольно!.. Про Ко́стюшку-то все записали?.. Ну, и ладно, вперед не пакости он! Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

— Послушайте, Иван тридцати восьми лет,— сказал следователь,— считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

— Это дело не наше Мне все единственно.

Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

IX. ХОД

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлобья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным,

презрительным взглядом, он слегка, почти незаметно, покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову:

— Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью... Уж извините... Все эти хлопоты... Просто из ума вон...

— С чем это? — спросил Проскуров, не отрываясь от чтения протокола.

— Как? — просиял Безрылов.— Значит, вам ничего неизвестно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? Очень, оч-чень приятно-с...

Проскуров поднял глаза на заседателя, который, между тем, подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

— Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в N-ск... Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик,— продолжал Безрылов самым задушевным и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова,— поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

— По... позвольте-с, милостивый государь,— заговорил он торопливо и даже заикаясь.— Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок.. да-с, милостивый государь, не теленок-с!..

— Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! — изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности Проскурова.— Смею ли я шутить? . Официальное назначение... сам читал бумагу-с... Уверяю вас... Ну, и местечко, я вам скажу! — продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность.— Теперь уж вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменимого содействия... Жаль, конечно!.. Зато за вас... приятно-с Место тихое, спокойное... ха-ха-ха!.. Как раз... ха-ха-ха! по вашему нраву. И притом... от купечества... ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность...

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен... А Проскуров стоял перед ним точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-то осунулось и пожелтело и на нем застыло выражение горестного изумления. В эту минуту — увы! — он, действительно, напоминал... теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в переднюю...

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в сторонке. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

— Скажите мне,— спросил я у него,— неужели у вас, действительно, не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

— Чего? — переспросил он.— Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

— Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

— Конечно,— произнес он задумчиво.— Нам, при нашей жизни, вдесятеро столько,— и то на неделю хватит, а так, что значит... может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять...

— Неужто из любопытства стоило убивать другого, да и себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

— Жизнь, говоришь?.. Себе то есть?.. Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михалыча прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил...

— Ну, нет, он не убил бы.

— Твоя правда: мог он убить меня,— сам жив бы остался.

— Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

— Уйди ты! Что тебе надо? — сказал он и потом прибавил, понурив голову: — Такая уж моя линия!..

— Какая?

— А вот такая же... Потому как мы сызмалетства на тюремном положении...

— А бога ты не боишься?

— Бога-то? — усмехнулся бродяга и тряхнул головой.— Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался... А надо бы! Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленого осталось... Вот что́, господин,— сказал он, переменив тон,— ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую как следует быть, аккуратно. А доведись, в тайге-матушке или хоть тот раз, в логу,— тут опять разговор был бы иного роду... Потому — линия другая... Эх-ма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

— Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! — заговорил он вдруг как-то развязно: но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С «Камня» над логом снимались ночные туманы и плыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовье мертвого тела.

1882

Соколинец

Из рассказов о бродягах

I

...Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи понемногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моею головой, и я спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизме-

римою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что, в этот час, как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко, в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и, среди мертвого затишья во мраке, так явственно шепчет ужасные роковые слова: «навсегда... в этом гробу, навсегда!..»

Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решился прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это — бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно объякутившиеся потомки русских поселенцев и, частью, ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко, далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бледные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лу-

гов, темная полоса тайги — все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана... Кругом — ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужасом — чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно в виду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивая острую морду, настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно-серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали несся слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий, торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жилье изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от огня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и пока он неисговствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его «догóры» [1], а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать, пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут

[1] Догòр — друг, приятель.

огненные змейки, все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вольется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза,— глянет раз и другой, и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать «несчастненького», взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты «торбаса» из белой, как снег, конской шкуры. Широчайшие рукава якутской «соны»[1] подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки («бергес»), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

---

[1] «Сона» — верхняя одежда, кафтан, шуба и т. д.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полузастывшими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свой треух на плечи, я увидал молодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым, признакам я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

Усталость, морозная ночь, а быть может и тоска, которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана,— все это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.

Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.

— Здравствуйте, господин,— сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.

— Здравствуйте,— ответил я, продолжая в свою очередь пытливо осматривать незнакомую фигуру.

— Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить,— я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на заимке.

В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы со-

образно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой»,— казалось, выражали эти пристальные, холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычною назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если б он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.

— Кто вы такой,— спросил я,— как вас зовут?

— Меня-то? Зовут меня *Багылай*, то есть это, видите ли, по-здешнему, а настояще-то, по-рассейски — Василий... Может, слыхали? Байагантайского улусу.

— Родом с Урала, бродяга?..

На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.

— Ну, вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?

— Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.

— Верно. Семен Иваныч меня довольно знают.

— Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.

Бродяга охотно принял приглашение.

— Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый, особливо татары.

Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою припасы: круги мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Коечто из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачной рубахе и шароварах из «бильбирета» (род плиса), уселся против огня на стуле.

— Вот, господин,— поднял он голову и усмехнулся,— стану вам правду говорить: еду этто к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить ни-

как невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю... Да вы, вот, сказываете, про меня слыхали.

— Действительно, слышал.

— Ну, вот! Живу, могу сказать, не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород.

Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как будто удивляясь: «А что, ведь и вправду, все это так и есть в действительности!»

— Да,— продолжал он тем же тоном,— работаю! То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот, скажем, хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам... и сейчас вы мне уважение, самоварчик... Я это должен ценить. Так ли я говорю?

— Конечно,— подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.

Я действительно знал Василья по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из больших якутских *наслегов* [1]. В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наслегам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия «на дорогу», по-

---

[1] Якутская область в административном отношении разделяется на округи, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на у л у с ы, а улусы подразделяются на н а с л е г и. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный.

средством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслега избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почтением, поселенцы величали его в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали Васькой; попы, выезжая на требу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашею братиею, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге,— оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне, за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка, можно было устроить и это.

И тем не менее, вглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой натуры. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала, и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю сто́ит некоторого усилия держать этот ровный тон, сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...

Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал,— хотя и подавлял пока это сознание,— что эта серая жизнь, жизнь на чужбине, посты-

лой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу...

Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я кликнул его, когда все было готово.

— Спасибо, господин,—сказал он, подымаясь.—Много доволен и на ласковом слове. Ах, господин, господин!—обратился он вдруг ко мне как-то страстно,— поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне взыграло,—право, не лгу! Потому что знаю: у рассейского человека этот огонь горит... Ехал этто лугами... темень, мороз... Юрта где задымится в сторонке,— конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну, а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал,— вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется,— милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно!

II

Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииска или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур[1], проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогод-

[1] Учур — река, приток Алдана, впадающего в Лену.

нюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.

Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.

Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он уже привык называть себя — Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.

— Далеко! — сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.

— Что это? — спросил я.

— Наша-то сторона, Рассея... Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую — подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце сделается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту грескают. . тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!

— Что ж, это у них обычай,— возразил я — Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.

— Помогли, правда.

— Довольны вы своею жизнью? — спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.

Он как-то загадочно улыбнулся.

— Да, жизнь...— сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.

Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.

— Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться — и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю,

что и на свете не живу вовсе. Так... бьюсь только понапрасну.

По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственною разбитою жизнью!

Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.

— Ну, да что тут. . Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?

Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.

III

В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний-Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.

На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.

«Нижний-Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.

Обширная камера под низко нависшим потолком... Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и же-

лезная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально-вытянутою линией тускло горят фонари.

Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за этою решеткой. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма,— здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их пловучая тюрьма.

Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.

Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою железную клетку,— тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:

— Рычаг такой-то... отдать!

— Есть! — и вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бесчинства со стороны серого населения пароходного трюма.

Тем не менее, и под давлением строгого режима, это серое население жило за железными решетками своею обычною жизнью. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрачной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый, задумчивый свет в железном коридоре и за решетками... когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестан-

тов,— там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандальное общество казнило своих отступников.

На следующее утро, во время переклички, три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку.

Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски «шпанки», серой, безличной толпы, подобные события нередко тоже бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночною трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны, да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.

Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях «происшествия». Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и не трудно было бы найти несколько человек, которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства «товарищества», языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство, как ни грозны его окрики,— «артель» еще страшнее: в эту ночь, там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко ловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой» [1], хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не оставалось ничего более, как

---

[1] «Сделать крышку» — на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка.

приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.

Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.

Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полною обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»

Однако, при более тщательном рассмотрении, дело стало возбуждать некоторые сомнения. Сомнения эти относились именно к Василию. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых «ответчиков» кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь, и медные трубы, покачивали головами.

— Слышь, парень,— подошел раз к Василию старый, бывалый в переделках бродяга,— как приедем на Соколиный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно Совсем табак твое дело!

— А что?

— Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?

— Вторично.

— То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручнях, так ли?

— Было дело.

— Ну, а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза!

Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.

— Ну, вот! Сообрази-ка ты все это, да и готовься к расстрелу!

В партии поднялся ропот.

— Не болтай, Буран,— заговорили арестанты с неудовольствием.

— Хлопает старик зря.

— От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!

— Не выжил я из ума,— сердито заговорил старик и плюнул с досады.— Много вы, шпанье[1], понимаете! Вы судите по-рассейски, а я по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю... Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генералу-губернатору,— готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на *кобылу*[2] велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корапь! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну, а впрочем,— глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи,— мне все одно, хоть пропадите вы все пропадом...

Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к сторонке.

Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия, во всем составе, по тщательном обсуждении данного дела, постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за «артельного дела», то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из «экономии», поступил в его распоряжение, и Василий стал «сбивать партию» желающих участвовать в побеге.

Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.

— Мне,— ответил он,— на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился.

Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.

---

[1] Презрительная кличка от слова «шпанка» (объяснение выше).

[2] К о б ы л о й называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьми.

— Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти,— дорога трудная. Наберется человек десять — и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острову.

Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному, обветрелому лицу покатились старческие слезы.

«Ослаб старый бродяга»,— подумал Василий и пошел «сбивать артель», подыскивать других товарищей.

IV

Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выраставшие среди сумрака приближавшегося вечера.

Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.

На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось в берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.

— Порт это,— тихо говорил Буран,— *Дуя*[1] называемый. Тут на первое время в казармах жить придется.

После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.

Впереди задвигались огни. Послышались голоса:

— Партия, что ли?

— Партия.

— Ступай сюда, в седьмую казарму!

Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.

— Братцы,— послышались удивленные голоса,— никак караулу-то с нами нету?

---

[1] Порт Д у э, на западном берегу Сахалина.

— Молчи! — угрюмо проворчал в ответ на это Буран. — Зачем тебе здесь караул? Небось, и без караулу не убежишь. Остров этот большой, да дикой. В любом месте с голоду поколеешь А кругом острова море. Не слышишь, что ли?

Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.

— Слышь, как ревет? — обратился Буран к Василию. — Вот оно: кругом-то вода, посередке беда... Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти придется... Гольцы, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, не благоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет — стар! Два раза бегал; раз в Благовещенске, другой-то раз в Рассее поймали, — опять сюда... Видно, судьба мне на острову помереть.

— Авось не помрешь! — ободрил старика Василий.

— Молод ты, а я уж износился. Эх, море-то, море-то, как жалостно да сердито взыграло!

Из казармы № 7 вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: поглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждаются, что побег на острове — дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удальцы, да и то после тщательных сборов. А таких, все равно, запирай не запирай — убегут, если не из тюрьмы, то с работы.

— Ну, Буран, советуй теперь, — приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров, — ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать.

— Чего советовать-то, — ответил старик вяло. — Трудно... годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы поснимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить

дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпустят. Вот тут и думай.

— Ты придумай, Буранушка,— тебе лучше знать.

Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга, очутившийся в третий раз на старом месте, «ослабевал» все больше и больше. Между тем, Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.

«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника-бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах, рядом с Васильем, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.

Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно на острове, не труден. «Куда хошь ступай,— говорил Буран,— коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах да в тайге. Гиляк инородец на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь,— заплутаешься в камнях: либо пропадешь, расклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять сюда явишься. На полдень пойдешь,— дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога — на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу кажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место: тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».

— Ну, только что скажу тебе, парень,— начинал Буран обычный унылый припев,— и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний Пан-

ги, последний самый — Погиба. А почему Погиба? — больше всех тут нашему брату погибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь, идешь да прямо на кордон и наткнешься Не дай господи!

— Ну, да ведь уж два раза ходил, чай знаешь?

— Ходил, парень, ходил...— и потухшие глаза старика опять вспыхнули.— Ну, слушай меня, да делайте, как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда провизию запасать, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на перекличку не являться,— ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь, на воздухе-то, и отлежится. Ну, а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись.

— Зачем на кобылу? — сказал Василий.— Даст бог уйдем, так уж охотой не вернемся.

— А не вернешься,— глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли,— не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пáди где-нибудь, на кордоне Кордону-то, небось, с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья — и делу конец.

— Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего надо,— артель отпустит.

Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понурив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь и на следующий день, когда, действительно, стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.

Отряд подобрался удачно. С Васильем пошел его приятель, который «по бродяжеству» носил кличку Володьки, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.

Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в казарму; пробравшись туда тихонько, он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля Василья, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.

— Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?

— Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запасу,— дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало.

Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.

— Ты что же это, Буран, думаешь? — окликнул его Бобров.

— А тебе что?

— Как что? Почему не собрался?

— В могилу мне собираться, вот куда!

Бобров рассердился.

— Да ты что в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться... А еще старый бродяга!

Заплакал от покоров старик.

— Отошло мое время... Не избыть мне острова... Износился!..

— Износился ты аль нет, это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?

— Знаю,— сказал Буран сумрачно,— сделают крышку, потому что стóю... Не честно старому бродяге поми-

рать такою смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено.

— Все живою рукою будет. Что надо?

— А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых.

— Да ведь у ребят свои есть.

— Ты слушай меня, что я говорю,— заговорил Буран с сердцем,— знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла.

Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью даром, частью за деньги у старожилов-ссыльных. Все было готово дня в два.

Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.

На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты, вместе с запасом. Беглецы «стали на молитву», отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу.

V

— Что же, небось, весело было в путь отправляться? — спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.

— Да как же не весело! Как изошли из кустов, да тайга-матушка над нами зашумела,— верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чуяло, видно, Бураново сердце, что не далеко уйти ему.

Видим мы с первого разу, что командер у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает:

идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу; ну, а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.

— Гляди-ко,— говорит мне Володька,— с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то.

— А что? — говорю.

— А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжениев от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Не ладно, право!

Вижу и я, что не ладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:

— Дядя, мол, а дядя! Что больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь, отдохнуть?

Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.

— Погодите,— говорит,— зачем торопитесь ложиться? Вон в Варках, либо в Погибе уложат пулями — належитесь еще.

— Ах, чтоб те пусто было! — Ну все же спорить не стали, потому что он — старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо,— тут не до отдыху.

Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает:

— Слышь, Василий, дело-то все же не ладно!

— Что такое опять?

— До Варков-то, сказывали, двадцать верст; ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться.

— Буран, а Буран!.. Дядя! — кричим опять.

— Что вам?

— Варки, чай, близко.

— Далеко еще,— отвечает и опять пошел.

Была бы тут беда, да на счастие увидели мы — на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макаров силой удержал. Уж ежели, думаем себе, челнок стоит, значит и житель близко. Стой, ребята, в кусты!

Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по речке; по одну сторону горы и по другую тоже горы, лиственью поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами — дохнул из пади ветер, туман как нарочно, в море и угнал. Смотрим мы: внизу за горкой кордон, как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без малого волку в пасть своею охотой не полезли.

— Как же, говорим, дядя Буран. Ведь это кордон.

— Кордон,— отвечает Буран.— Самые это Варки.

— Ну,— говорим мы ему,— уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь.

Заплакал старик.

— Братцы! — говорит,— стар я, простите ради Христа. Сорок лет хожу, весь исходился, видно, память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог, за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьим духом на собаку пахнёт,— беда будет.

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожатым; мне, значит, привалами распоряжаться, порядки давать; ну, а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы,— идет себе, с ноги на ногу переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.

Шли мы больше горами: оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, *кыта́* называемая. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.

Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то

обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего...

VI

Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.

— Что же дальше? — спросил я.

— Лошадь вот... Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.

Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.

— Стожары-то высоко поднялись,— сказал он.— За полночь зашло.

Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую не закрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.

Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.

— Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут, как звери в лесу, все в одиночку... Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли. Может, и выжил бы здесь.

— Ну, а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.

Бродяга ответил не сразу.

— Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.

Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.

— Ну, ладно, ладно! — сказал Василий ласково.— Спущу сейчас. Смотри, Серко, завтра не выдай!.. В бега его завтра пущу с татарами. Конек хороший, набегал я его — теперь с любым скакуном потягается. Ветер!

Он снял недоуздок, и конь веселою рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.

Лицо Василья сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.

— Да что рассказывать-то,— сказал он угрюмо,— не знаю, право... Нехорошо у нас вышло. Ну, да уж начал, так надо кончать...

...Шли мы уже двенадцать дён и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командера своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти берегом, а мы по верхам рыщем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому... Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончаться, потому что всего на двенадцать дён и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать; сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк для своей утробы как знаешь: ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.

Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик притомился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.

Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы тут, ребята, смотрите, ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».

Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.

— Это что же Оркун, имя, что ли? — спросил я рассказчика.

— Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам неизвестно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун,— мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит: вот нам от тебя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать: то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:

— Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить.

— Верно! — говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал головой,— понял.

Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» — «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пощупывает.

Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.

— Что ж теперь? — сумлеваются ребята.— Ведь он в деревню пошел, народ сгонять станет!..

— Ну, так что ж,— говорим мы им.— Их всего-то четыре юрты,— много ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек — хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!

Ну, все-таки, надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то

сторона за проливом, край неба горами синеет. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да, вишь, локоть и близок, а укусить — не укусишь!..

Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим, идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копья. «Вот видите,— ребята говорят,— гиляки биться идут!» — Ну, мол, что будет... Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться, и живого им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего,— значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!

Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копья, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидали, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую — остальным.

Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повеял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно.

И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то, между тем, все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре юколы дал,— рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему, господи! И по сю пору о нем вспоминаю.

День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день — все ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; сжалится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке,— ну, он поест, а сам ни с места. Заго-

релось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал.. Бывает!..

Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью, как-никак, едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть,— ну, а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, *старички* (птица такая, вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет.

— Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать.

Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.

Спим себе, беды и не чаем.

Долго ли, коротко ли спали, только слышу я: Буран меня окликает Проснулся от сна, гляжу: солнце-то садиться хочет, море утихло, мòроки над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие.

— Вставай,— говорит,— пришли уж... по душу, говорит, пришли!..— рукой этак в кусты показывает.

Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты...

Один, поближе, из ружья целится, другой, подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья подымают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все, как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали...

Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он понурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.

— Не надо бы рассказывать,— сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.

— Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?

— А дальше... да что уж тут... сами подумайте: ведь

их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали... Ножи у нас длинные...

Выстрелили они по разу наспех — промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем...

— Верите вы? — как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски,— и оборониться-то они нисколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них, как лютые волки!..

Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал... Он на меня. Сверху еще Макаров навалился... Слышу: бежит по мне кровь... Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался...

Поднялся я на ноги, гляжу — последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гиляки — и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось... Сам себя потерял...

Было у нас два черкеса, проворны, как кошки, и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же... Оглянуться мы не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.

Вскочил на ноги, зубы оскалил... в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим... Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил...

Полетела голова поверх деревьев с утесу... Тишина у нас настала, стоим все ни живы, ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался,— пала голова в море.

И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он, бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали. да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.

Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое — во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стонет...

А Бурана нашего первый солдат из ружья убил. Не вовсе убил,— помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..

Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дождаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».

— Что ты, что ты, дядя Буран! — говорю ему.— Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем... Бог с тобой.

— Нет уж, братец,— отвечает старик,— против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острову, видно. Так пусть уж... чуяло сердце... Вот всю-то жизнь почитай все из Сибири в Рассею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом...

Подивился я тут на Бурана,— совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.

— Слушайте,— говорит,— ребята, что я стану рассказывать, да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно,— пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Рассее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь,— эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет,

приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острову с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки... В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот заслышали мы, что русской человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать...» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его,— счастливы будете и всякую помощь получите.

Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:

— Теперь,— говорит,— ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!

Послушались мы.

Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роем; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.

Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки... За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедра стоит...

VII

Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова... вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами,

смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь...

Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, вороты заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим: вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»

— Бродяжки,— говорим,— от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.

А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии — сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»

А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.

— Ах, братцы,— говорит,— не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!

— Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном.

— А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?

— Попал,— говорим,— да приказал долго жить.

— Ну, царство ему небесное... Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?

— Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему.

— То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как назвать... тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки.

— Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей...

— Горькая ваша жизнь,— ох, горькая!

— Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем,— и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне,— зверь сожрет, птица расклюет... Кости — и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?

Пригорюнились мы... Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим,— потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит,— ну, а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать... в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.

— Ну, однако, ребята,— говорит приказчик,— пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану,— трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчету. А то как бы с вами беды не нажить... Смотрите, в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите.

Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер.

Погасили сибиряки огни, легли спать,— до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.

Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая... дождем тебя моет, ветром тебя сушит и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту... Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго... Долго ли на родине погуляешь,— опять тюрьма!

Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право... Вот и в ту ночь, идем-идем, вдруг Володька и говорит:

— А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?

— Это ты про кого, мол?

— Да наши, на Соколином острову, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут... Эх, не надо бы и ходить-то...

Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий,— на других тоску нытьем нагоняешь».

А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем — дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами — нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь... Потянусь — и сна не бывало...

Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало — ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.

Проснулся я от этого сна,— кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской — глухая тропа таёжная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает,— значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то —

может, и сами слышали,— никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет... Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.

Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак, подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек — зверь не прорыщет, птица не пролетит.

Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это «вольная команда»[1] с сетями рыбу ловит. Ну, и мы без страху подходим:

— Здорово, мол, господа, вольная команда!

— Здравствуйте,— отвечают.— Издалеча ли бог несет?

Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:

— Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли»?

Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в этаком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком,— он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет,— чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?

Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:

— Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это,—

---

[1] Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами.

право,— беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше... Пройдете мимо,— счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?

— Пожалуй, говорю, лишний не помешает.

— Берите артельный... Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать.

Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются... Плачем... И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услыхали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.

Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.

Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил... над рекой... Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.

Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.

На счастье наше, жил в то время в городу старичок чиновник. Был он в прежнее время в N тюремным смотрителем. А в N тюрьма большая, народу в ней перебывало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное,

только ругаться любил... Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали ему, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была не малая... Имел доход порядочный...

В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокое, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»

Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:

— Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?

— Нет,— говорят те,— не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак, вольной команде нонче в город возвращаться.

— То-то вот и я думаю... А видите, вон огонек за рекой горит?

— Видим.

— Кому же у того огня быть? Как по-вашему?

— Не могим знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие.

— То-то, проходящие... Нет у вас, подлецов, догадки о своем брате подумать, все я об вас обо всех думай... А слыхали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече... Не они ли это, дурачки, огонь развели?

— Может статься, Степан Савельич. Не диво, что и они развели.

— Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзав-

цев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку...

Вот, сидим мы у огня, ухи дожидаемся,— давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо... Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь — родная матушка; на небе темнее — на сердце веселее.

Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.

— Ну, говорю, ребята, пропали наши головы... Исправник!

Вскочили все, котлы опрокинули,— в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:

— Что, дурачки, разбежались? Небось, выйдете все,— я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают, как зайцы!

Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.

— Слышь, говорит, Василий? чудное дело: голос у исправника будто знакомый.

— Молчи, говорю, что еще будет. Немного их.

Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:

— Эй, вы, не бойтесь!.. Кого вы в здешнем остроге знаете?

Притаили мы дух, не откликаемся.

— Да что вы это, лешие! — окликает тот опять.— Сказывайте, кого вы в здешнем остроге знаете, может и нас узнаете тоже.

Отозвался я.

— Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может и нам, и вам лучше бы было. Живьем не дадимся.

Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро,— сила-то наша. Беда только, думаю,

как начнут из револьверов палить,— в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.

Тут старик сам заговорил:

— Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?

Дарьин опять меня толкнул:

— Верно! Кажись, это N-ской смотритель... А что,— спрашивает громко,— вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?

— Как, мол, не знать,— старостой у меня в N находился. Федотом, кажись, звали.

— Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш.

Тут все мы вышли.

— Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся.

— Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали, прямо против города огонь развели?

— Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик.

— Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко, трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то... Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, востры, даром, что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!

Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся. Потом перестал кричать и говорит:

— Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного, да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать,— поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят... Ну, и стар уж... А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну, а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?

— Одиннадцать,— говорим.

— Ну, и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всею партией и прете.

Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздуванили припасы и распрощались,— старика-то послушались.

Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы, или помер кто. Про татарина слыхал, будто тоже сюда прислан, а верно ли — не знаю.

В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.

А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим — колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим, бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.

Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те, господи, что вечор его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.

VIII

Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова, и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.

Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетавшие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И от всей этой молчаливой, объятой холодом, картины веяло в душу снисходительною грустью,— казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «далеко, далеко!»

Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.

Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Его грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге, а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме — не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахнуло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимым желанием чаши?

Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю... Куда?

Да, куда?..

В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы... Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая, тяжелая туча... Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари, да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек...

Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?..

Заснул я очень поздно.

IX

Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.

Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но... все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступавшей весны Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми, неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы,— их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.

Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник. то улица имела довольно оживленный вид. То и дело

где-нибудь скрипели ворота, и со двора выезжали дровни или выбегали рысцой верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдут запрещение корана, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственною фигурой, волочась на вожжах. Не сдержать коня и вывалиться с дровней — это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.

Но вот прямая, как стрела, улица приходит в какое-то особенное, суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.

На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал *бега*, до которых и якуты, и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались, как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня, как ветер.

Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад, почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-рассейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучавшие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.

Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.

— Эх, удалой молодца! — вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дико-

го спорта, приседали и хлопали себя по коленам, в такт ударам лошадиных копыт.

В половине улицы Василий догнал меня. возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.

Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».

— Закутил! — крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.

— Дело ваше...— ответил я.

— Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, перемёты мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану,— не давай! Слышишь?

— Слышу,— ответил я холодно,— только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.

— Не придем,— ответил бродяга и хлестнул коня концом повода. Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне.

— Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!

— Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?

— Продаю,— подошла линия!

Он опять хлестнул коня и опять удержал его.

— Собственно потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх. мил-лай! Посмотри вон, татарин едет, вон на чалом жеребчике... Эй, ты,— крикнул он ехавшему сзади татарину,— Ахметка! Подъезжай-ка сюда.

Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.

Плутоватая рожа Ахметки вся расцветала широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга,— как будто говорил каждому этот взгляд.— Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом лов-

ким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.

— Товарища! — кивнул он головой на Василья.— Вместе бродяга ходил.

— А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.

— За бумагам пришел. Прискам ходим, спирту таскаем[1].

Я взглянул на Василья. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.

— Уйду с ним в тайгу... Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..

Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице, вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.

1885

---

[1] Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел — спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы, и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы.

По пути

Святочный рассказ

I

Лихо взлетев на пригорок, тройка остановилась, ямщик сошел с козел и стал оправлять разладившуюся упряжь.

Седок, пробужденный внезапной остановкой, высунул голову из-под шинели, потом потянулся и сел в просторной повозке, стараясь не потревожить спавшего рядом мальчика.

— А? Что такое? — спросил он, зевая.

Денщик, который крутил, сидя на облучке, цигарку из толстой бумаги, ответил, не торопясь:

— Ничаво, ничаво! Сьчас поедем, ваше высокородие. Недалече!

Колокольчик под дугой коренника звякнул несколько раз, оставив в воздухе мягкий отголосок. Ветер шевелил гривы лошадей и шелестел в придорожных кустах. Седок, офицер лет около пятидесяти, снял мохнатую папаху и посмотрел на небо.

Денщик скрутил цигарку, взял ее в зубы и, добывая из кармана спички, сказал:

— Партия, ваше высокородие.

Офицер встрепенулся, черты его румяного лица приняли определенное начальственное выражение, и он посмотрел вперед.

Дорога сбегала в долину и опять полого подымалась кверху длинным «тянигужом». На подъеме она, казалось, жила, шевелилась, кишела серыми движущимися точками. Кое-где можно было различить телеги, которые казались отсюда странными насекомыми... Вся масса тихо, почти незаметно на этом расстоянии ползла кверху...

— Расползлись, канальи, точно овцы,— сказал офицер с неудовольствием.— И конвоя не видно...

— Вон они, забегали,— сказал денщик, закуривая и улыбаясь.— В телегах спали, видно...

— Ничего! — уверенно прибавил ямщик, взбираясь на козлы.— На слово партия идет... Фролов за старосту. Спи знай!

— Фролов,— какой Фролов? — спросил полковник.— Бродяга? По прозванию Бесприютный?

— Ну! Он самой... Фролов по всей Сибири человек известный. Можно сказать,— знаменитый бродяга... Сказывают,— не знаю правда, не знаю нет, но будто в Питербурхе и то Бесприютного знают...

— Фролов...— сказал офицер задумчиво. Он вспомнил себя молодым урядником, вспомнил первую партию, которую конвоировал, и молодого бродягу и прибавил:

— Да, вот она жизнь...

— Так точно,— отозвался с козел денщик, пуская в воздух синюю струйку дыма.

Замечание офицеру не понравилось.

— Дурак ты, Климов, ей-богу! Ну что «так точно»?.. Я вообще говорю: жизнь!.. А ты: так точно!.. Глупо, братец.

— Да ведь и я, ваше высокородие, вопче... Самая это собачья жизнь, бродяжья.

— А, ты вот насчет чего! Привычка, говорят, вторая натура.

— А я что же говорю: натура волчья, в лес тянет.

Почему-то и это замечание не удовлетворило офицера...

— Э! все ты не то говоришь... Молчи, Климов! Ямщик, поезжай.

Ямщик подобрал вожжи и привстал. Тройка понеслась под гору и потом лихо взяла кверху. Через несколько минут, замедлив ход, она врезалась в середину

расступавшейся партии. Теперь конвойные шли по сторонам, с ружьями на плечах. Смешанный говор и шум охватил едущих со всех сторон. Из-за шороха колес слышался плач детей, топот толпы, переливчатый звон кандалов. Арестанты снимали шапки и низко кланялись. Каторжане с достоинством и не торопясь обнажали наполовину бритые головы...

В одном месте мелькнула фигура не совсем обычная: молодой человек в вольной одежде и в очках шел стороной дороги рядом с высоким арестантом и о чем-то разговаривал с своим спутником. Полковник нахмурился; когда повозка поравнялась с этой парой,— молодой человек снял запыленные очки, протер их платком. Он с любопытством, но не кланяясь, взглянул на проезжающих. Другой арестант поклонился вежливо, но тоже без особенной почтительности... Повозка проехала дальше.

В голове партии, в стороне, ожидал, стоя навытяжку, старший конвойный. Полковник остановил ямщика и подозвал его жестом.

— Все благополучно? — спросил он.

— Так точно, ваше-дие.

— Почему запоздали? Смотри: до заката не попадете на этап...

— При выходе из N, ваше-скородие, случилось неблагополучие.

— Что такое?

— Скоропостижно скончался старик арестант..

— А!.. Да-да... За старосту у вас Фролов?

— Так точно, ваше-скородие... Бесприютный.

— А где он, кстати?.. Покажи мне...

Старшой пригляделся и сказал:

— Вон он,— с политическим идет... Прикажете позвать?

— Не надо... Пошел!

Тройка подхватила и понеслась по свободной дороге... А партия ползла дальше.

II

В самом конце партии тащилась, шурша колесами, телега. На других телегах ехали «привилегированные» арестанты, женщины с грудными детьми и старики. Порой

на них присаживались конвойные. На этой виднелся только мужик, правивший лошадью, и старый седой арестант. Он сидел на краю, спустив ноги и повесив обритую голову с белой бородой. За ним виднелось что-то длинное, покрытое серыми халатами.

Казалось, присутствие этой последней телеги бросает тень на всю партию...

Невдалеке за нею шел Фролов с «политическим»...

«Политического» звали Залесским. Это был молодой блондин, с закинутыми назад волосами и серьезным, немного наивным лицом человека, привыкшего к кабинетной работе, над книгами. Каким-то внезапным порывом политического ветра его подхватило из привычной обстановки и кинуло на эту дорогу с тюрьмами и этапами. И от нечего делать он присматривался к этому новому и удивительному для него миру. Арестантская среда, в свою очередь, присматривалась с неменьшим удивлением к странному «барину», глядевшему на нее через очки наивно изучающим взглядом. Он был «привилегированный» и ему полагалось место в телеге. Но от самого Томска он ни разу не садился в нее, предоставив партии распоряжаться своим местом, как угодно. Теперь его небольшой чемоданчик лежал рядом с мертвым телом.

Имя Фролова, шедшего рядом с Залесским, было действительно широко известно по всему сибирскому тракту от Благовещенска до Перми. К партии он был присоединен в Томске, и тотчас же его выбрали старостой. Он принял этот выбор спокойно, как должное, и тотчас же Залесский почувствовал, что это большая сила. Партия сразу подтянулась. Распоряжение этапом фактически перешло к Фролову. Он вел партию «на слово», и конвойные знали, что на слово теперешнего старосты можно положиться: ни побегов, ни экстренных происшествий не будет. Конвойные шли вольно и даже спали в телегах..

Всякая профессия имеет своих выдающихся людей. Фролов был таким выдающимся человеком бродяжьей профессии. Еще ребенком он последовал за отцом, которого сослали в Сибирь. Мать его умерла в пути, и мальчик рос в тюремной среде. В тюремной церкви он слышал кое-что о боге... кое-что торопливое, казенное и

небрежное. В тюрьмах выучился грамоте. Впоследствии из него выработался настоящий герой сибирской дороги. Об его побегах ходило много рассказов, слагались даже песни. Никто не знал за ним убийств, но он обладал большой хитростью и изобретательностью. Однажды на глазах Залесского он закатил глаза так, что видны были одни белки и физиономия его, даже вся фигура сразу изменилась до неузнаваемости. Он протянул вперед руку, как будто держась за поводыря, и стал поразительно похож на старика слепого, бредущего за милостыней. Через минуту лицо его опять изменилось. Прежний Фролов смотрел на Залесского пытливо и печально, как будто стараясь узнать, какое впечатление произвела на «барина» эта метаморфоза.— «Он мог бы быть замечательным трагическим актером»,— подумал про себя Залесский... Во время дневных переходов, вечерами на этапах они часто говорили друг с другом. Их влекло друг к другу какое-то взаимное чувство. Фролов знал сибирскую дорогу и тюрьмы так, как их не знал никто. Арестантская одежда, в которой другие выглядели чуждо и странно, сидела на нем, точно он в ней родился. Это был его мир, и в нем он чувствовал себя хозяином. Широкий сибирский тракт, обставленный столбами, глухая таежная тропа, с чуть заметными признаками прохода людей, этапы, тюрьмы, солдаты, начальство, смотрители, надзиратели, арестантская среда с ее волнениями и страстями,— все это было ему знакомо во всех самых глубоких подробностях... Когда он подходил к околице сибирской деревни, старик «поскотник», присмотревшись к нему, узнавал его так же легко, как тюремный служака на любом этапе.

— Опять убег? Отколе бог несет? — спрашивал мужик, сторонясь и давая место у огня с тем радушием, с каким товарищи арестанты очищали место на нарах... И Фролов занимал это место в своем мире уверенно и просто, зная, где нужно быть настороже и где можно спать спокойно даже под звон колокольцев проезжающего трактом начальства...

Но зато это был совершенный ребенок по отношению ко всему остальному божьему миру, который казался ему сказочным и странным. В Залесском он видел представителя этого другого, странного мира, лежащего за

гранью его горизонта, к которому, однако, его влекло всю жизнь. Вернуться в Рассею, на родину, которую он не знал, и зажить там какою-то новою жизнью,— было его мечтой. Залесский, в свою очередь, был совершенным младенцем в той среде, куда его теперь занесла судьба. Отсюда странный взаимный интерес, который привлекал их друг к другу...

Разговоры их были как будто несистематичны и случайны. Однажды на остановке в пересыльной тюрьме, когда арестанты толковали о выборе нового старосты, Залесский вмешался в общий разговор. Он заговорил, просто и наивно, о том, что ему казалось несправедливым в арестантских обычаях, в законодательстве этого странного общества, где достоинство и значение людей определяются важностью совершенных ими преступлений и отчаянной решимостью на новые преступления. Всем руководили «каторжники»,— аристократия тюрьмы. «Шпанка», забитая и загнанная, подчинялась безропотно и робко. Женщины продавались «на майдане» из полы в полу; воровство общественных денег и хищения старост и артельщиков было как бы установленным институтом, освященным обычаем. Со всей искренностью наивного и прямого человека Залесский, просто и вдумчиво, старался выяснить свое мнение... Арестанты слушали с любопытством... Политическая ссылка еще была явлением новым, и ее представители внушали интерес и невольное почтение. Но затем «общество» перешло к обсуждению своих дел, как будто «барин» ничего не говорил. Залесский почувствовал в этом особого рода почтительное, но бесповоротное пренебрежение и более не пытался подымать общие вопросы.

Но Фролов именно с этих пор стал проявлять к нему влечение. Все, что говорил этот молодой человек в очках, Фролову казалось тоже ребячески наивным. Но он понимал как будто, что есть где-то такой мир, для которого все это не наивно и не глупо.

Фролов был не молод, хотя возраст его определить было бы трудно. Его движения были уверенны, неторопливы и ровны. Залесскому постоянно казалось, что когда-то они должны были быть порывисты и быстры. И теперь по временам глаза арестанта загорались, а плечи вздрагивали, заставляя ожидать резкого движения... Но

случалось это редко,— как будто было что-то в настроении этого человека, что постепенно умерило живость его порывов. Бывали минуты, когда его глаза уходили еще глубже и как будто задергивались. Тогда именно Залесскому казалось, что этот человек, знающий так хорошо все, чем живет серая масса, знает или предполагает еще и *о жизни вообще* что-то, неизвестное другим. Знает, но не хочет сказать.

Не этим ли, думал Залесский, объясняется то влияние, каким пользовался Фролов в своей среде. Было что-то придававшее особенное значение самым простым его словам. За прямым смыслом этих слов слышалось еще нечто недосказанное, что глядело на слушателя из глаз Фролова и прикасалось к душе при звуках его голоса, будя в ней какие-то смутные чувства и намекая на что-то, кроме вопросов обычного тюремного дня.

III

Однажды Залесский перебирал в своем чемоданчике книги и письма. Староста принес чемодан и должен был отнести его обратно. С наивной бесцеремонностью простого человека он стал рассматривать книги, и его внимание привлекла одна. Заглавие ее было: «Вопросы жизни и духа» (Льюиса).

Бродяга заинтересовался и прочитал вполголоса:

— Наш век страстно ищёт веры.

Залесский поднял на него глаза. Фролов прочитал про себя еще несколько фраз и сказал задумчиво:

— Этто гнали лонйсь (в прошлом году) штундистов из Екатеринославской губернии. За веру... Капитан с ними был, а прочие мужики... Книжка у него, евангелие. Отнять хотели. Ну, прошение написал. Дозволили. Придут на этап, сядут в уголок... Он читает, те слушают.

И он положил книгу. Затем взгляд его остановился на фотографии, выпавшей из письма.

— Это кто? — спросил он, поворачивая карточку

оборотной стороной, на которой была надпись Залесский взял у него карточку и сказал:

— Не надо читать. Это написано только для меня...

— Начальство, небось, читало,— ответил Фролов.

— Вы ведь не тюремщик,— ответил Залесский: — если хотите, посмотрите карточку, но не читайте. Это — моя сестра с семьей.

— Ну, не сердись, барин... Мне что!.. Сестра так сестра. У меня тоже сестра... была.

— А теперь?

— Кто ее знает... Может жива, может нет. Я ее не видал... Сказывают: хорошо живет... в Рассее...

Затем, когда Залесский стал опять закрывать чемодан, Фролов вдруг сказал:

— А книжечки этой... можно мне почитать?

В уме молодого человека быстро промелькнула общая физиономия труда Льюиса. Он примерил его к умственному уровню бродяги, и ему хотелось отказать. Но затем он сказал:

— Возьмите... Только будет ли понятно?

И ему почему-то стало совестно. Ночью он видел, что бродяга за сальным огарком читал Льюиса. Брови его были сдвинуты... На лице отражалась упрямая и трудная работа мысли...

Залесский не спрашивал, понимает ли он книгу и как именно понимает... Фролов стал в дороге часто заговаривать с ним, но тоже не упоминал о книге... Разговоры эти носили странный характер. Они были как будто бессвязны, но Залесскому казалось, что их направляет какая-то одна постоянная мысль, стоявшая в голове бродяги. Его рассказы порой были так выразительны и красивы, что Залесский думал про себя:

— Из него мог бы выработаться замечательный рассказчик...

Порой у Фролова готовы были сорваться с языка какие-то полупризнанья... Что-то вроде внезапной откровенности прорывалось в голосе, но он обрывал их на полумысли и опять только приводил какой-нибудь эпизод.

— Мальчик-то... что у вас на карточке?.. Стало, вам племянник приходится? — спросил он как-то.

— Да,— ответил Залесский.

— Славный парнишка... сытенький... А неизвестно,— прибавил он вдруг,— какая ему линия выйдет...

Залесский молчал и ждал.

— У всякого человека своя линия... Вон мужик пашет. Ввел коня в борозду,— он идет, и погонять не надо... А небось в первый-то раз неохота лезть в оглоблю. Так-то... У мужика опять своя линия... У нашего брата, бродяги, своя. Вы, барин, про генерала Кукушкина слыхали?

— Нет, не слыхал.

— Бродяжий генерал... По лесу кричит: ку-ку, куку... Крикнет весной, у бродяги сердце горит... Последний раз втроем мы из Акатуя бежали. Одного часовой застрелил, другого поймали, тоже, пожалуй, прикончили: у них, у архангелов тюремных, опять своя линия. А я все-таки к генералу Кукушкину явился в тайгу... Все одно, как к начальству... Здравья желаю, ваше превосходительство...

Фролов замолчал и потом сказал серьезно, как будто удивляясь своим словам:

— Веришь ты, барин. Один раз на поселение вышел. С поселенкой слюбился. Одну весну руками за нее хватался, на другую не выдержал, сбежал... Пришел в тайгу и думаю: ну, генерал Кукушкин! Не слуга я тебе! Лучше жизни решусь... А все-таки... остался на своей линии...

В другой раз он опять заговорил о племяннике Залесского и стал расспрашивать, сколько ему лет, когда его отдадут в школу...

И потом вдруг рассказал эпизод из своей жизни.

— В первый раз отец мой из поселенья бежать надумал. В Рассею пробраться. Мать-отец там у него остались, внучка у них... Жили хорошо. Пошли. Хомяк еще с нами — вон тот, что с мертвым телом в твоей телеге едет... Идем дорогой. Оголодали. А народ в том месте плохой. Не то, что дальше по Сибири: завсегда для бродяги краюха хлеба, молока кринка на окне у амбара ночью стоят...— Бери, мол, да ступай себе мимо. В Забайкалье этого нет. Надо, значит, самому промышлять.

Ломать амбар, услышат. А тут оконце небольшое. Подсадил меня отец к оконцу: — «Ну-ко, говорит, Яш! Пробуй: не пролезет ли голова. Голова пролезет, и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре темно, может, еще и чалдон сторожит.. И совестно,— в первый-то раз... Не воровал еще никогда... Сунул голову: «Не лезет, мол...» Слышу, отец говорит Хомяку: «Эх, брат, ломать, видно, не миновать!» — «Плохо это,— отвечает Хомяк...— Озлится чалдон... И то они по здешним местам варвары». А отец опять: — «Так-то оно так... Да, вишь, мочи нет... И мальчонко отощает... Не дойдем...» Повернулось у меня сердце, и стало опять совестно: зачем солгал.— Тятька, говорю, а тять!.. Голова-то у меня пролезла...— Взяли хлеба каравай да холста на онучи... Пошли дальше...

Фролов посмотрел на Залесского своим вдумчивым взглядом и прибавил:

— Понял ты?..

— Кажется, понял,— ответил Залесский.

— А понял, так и ладно...

IV

В тот день, с которого начинается наш рассказ, Залесский во весь переход чувствовал себя в особенном настроении. Недолгий осенний день отходил... Партия продолжала тянуться по дороге... «И завтра, и через неделю,— думал Залесский,— и через месяц то же солнце увидит тех же людей на той же дороге... Только вон тот, что лежит на задней телеге, уже кончил свой путь. И старик, который сидит с ним рядом, пожалуй, тоже скоро его кончит... Да вон еще ребенок, который жалобно плачет в другой телеге... Он родился весной на одном этапе, умрет на другом осенью...»

Партия вытянулась на гребень, и голова ее стала спускаться вниз. Фролов, который молча шел рядом с Залесским, взглянул вниз на долгий спуск и крикнул:

— Подтягивайся, братцы, подтягивайся... Ямщики, подхлестни лошадей... Близко!

Партия дрогнула; пешие пошли живее. Колеса зарокотали быстрее...

Но Фролов опять шел рядом с Залесским, молчаливо и задумчиво...

— О чем вы задумались? — спросил Залесский.

— Так... вопче... вспомнилось,— сказал бродяга...

И потом, пройдя еще несколько саженей, он тряхнул головой и посмотрел на Залесского вдумчивым и вопросительным взглядом. Залесский понял, что сейчас он опять расскажет ему один из эпизодов своей жизни... На этот раз под влиянием настроения, витавшего над партией во весь этот переход, он будет, может быть, более откровенным...

Фролов начал без всяких приготовлений.

— ...В третий раз я тогда бродяжил. Отец уже помер, товарищ отстал,— пошел я один. Все думал к сестре пробраться. Тоскливо было до страсти, скука! Иду и все вспоминается, как мы тут с родителем с покойником шли; и зарубки на лесинах его рукой деланы. Вот раз к вечеру бреду тропкой, запоздал до ночлежного места шибко. Хотел в шалашике переночевать, который шалаш вместе мы с отцом построили. Только подхожу к самому этому месту, через ручей перейти,— гляжу: за ручьем огонек горит, и сидит у огонька бродяжка. Исхудалый, глаза, как у волка, кидает на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, голодный человек и холодный: одежда, почитай, вся обвалилась. Вот, хорошо. Обрадовался я этому случаю,— думаю: товарища бог послал. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел,— как следует, по-товарищески. У нас, барин,— своя честь есть, бродяжья. Иной, подлец, из-за халата товарища убьет... Ну, это уж нестоющие люди. Меня отец не тому учил... И в товарищах я ходил с такими людьми, на которых можно положиться. Ну, все-таки и этому товарищу рад... Посидели мы, потолковали... Спать! Лег я, веток под голову наломал... Полежал, полежал... Не спится. Отец вспоминается покойник: этак же вдвоем в шалаше лежали. Слышу: встает мой бродяжка, из шалаша вон идет. «Куда?» — говорю.— Да так, мол, не спится что-то. Дойду, говорит, к ручью, воды в котелок зачерпну да сучьев натаскаю. Завтра пораньше чай варить... Да, ты, говорит, что же это, молодец, головой-то под самый навес уткнулся,— чай ведь душно....

А меня отец покойник учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать,— пуще всего голову береги; в живот ткнет — не убьет сразу... Вот я завет отцовский храню, хоть на этот раз ничего и в уме не было... «Ничего,— говорю,— в привычку мне так-то, и комар меньше ест». Хорошо.

Ушел бродяжка к ручью,— не идет, да и не идет. Ночь темная была, на небе тучи, да и неба сквозь дерев не видать. Огонек у шалаша этак потрескивает, да листья шелестят... Тихо.

Вот лежал я, лежал, об отце думал, про своих вспоминал, про сестру, да про Рассею... Вздремнул. Только слышу, отец меня окликает: «Яшка!» Так это будто с ветром издалека принесло. Прокинулся, открыл глаза: костер дымит, да ветка над входом качается. И я опять заснул.

И опять слышу: идет кто-то к шалашу, сучья хрустят, за огоньком будто кто маячит. И опять: «Яшка! Не спи!»

Перекрестился я сонной рукой, вздохнул об родителе... а не могу вовсе проснуться. Глаза так и сводит. Заснул опять, крепче прежнего.

Прошло сколько-то времени, слышу: идет отец к шалашу, стал в дверях, руки эдак упер, а сам наклонился ко мне в дыру-то.

— Слышь, говорит, Яшка! не спи, а то заснешь навеки!..

Да явственно таково сказал, что сна моего как не бывало. Прокинулся: огонь погас, по листьям дождик шумит, и нет никого.

Присел я тихонько. Думаю: неспроста это дело. Где же это товарищ мой богоданный?..

Слышу: дышит кто-то сзади меня, ветками шебаршит... Поднялся я на ноги, вышел неслышно на волю. Гляжу: сидит мой товарищ на корточках, над головой моей шалаш разбирает... И корягу вырезал в тайге здоровую...

Фролов смолк и потом спросил:

— А вы и не спросите, что я тогда с тем человеком сделал?

— Не спрошу,— ответил Залесский...— Захотите,— сами скажете... А не захотите,— не надо.

Фролов посмотрел на него и пошел молча.

V

Партия с тихим рокотом скатывалась по дороге. В вечереющем воздухе звон кандалов и шуршание колес звучали мягче и тише. Серые люди, телеги, казавшиеся какими-то бесформенными животными, проплывали мимо... Ребята спали на руках матерей, люди говорили друг с другом тихо и сдержанно. Неровный топот двух сотен ног покрывал все остальные звуки.

Этап с высоким частоколом стоял на холмике, и мелкий хвойный перелесок подбегал к нему с одной стороны. Невдалеке, в лощине, искрились и мигали ранние огни села. Все было по-старому. Только разве лес отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочки, да частокол потемнел, да караулка еще более покосилась.

Ворота отперли, партия столпилась около них с шумом и говором, во дворе сидели торговки из села... В этапной кухне горел яркий огонь, и около крыльца этапного начальника зажгли фонарь. Полковник, проезжавший по ревизии, стоял, окруженный другим начальством, и смотрел на прибытие партии. Его военная тужурка была расстегнута, и из-под нее виднелась белая жилетка с форменными пуговицами... Вообще он держал себя нараспашку, курил трубку, отводя по временам длинный чубук в сторону, и порой обменивался с кем-нибудь добродушными шутками. От всей его фигуры веяло самодовольством.

— Эй,— спохватился вдруг полковник,— а где же тот, как его?.. Бесприютный?

— Фролов,— крикнул кто-то...— Барин требует...

Полковник обождал. Но партия успела втянуться в ворота, которые были заперты за ней, а Фролов не являлся.

— Прикажете позвать, Семен Семеныч? — спросил один из конвойных офицеров.

— Нет, не надо, зачем? Я это так,— по старому знакомству... человек усталый, зачем его тревожить... Все равно, завтра повидаю... Притом — у него забота. Ведь он староста?

— Так точно, ваше высокоблагородие...

Невдалеке, в тени частокола, стояла тройка. Лошади ржали и фыркали, и колокольчик позвякивал под дугой. Полковник собирался навестить старых знакомых в стороне от тракта и завтра должен был вернуться, чтобы продолжать дальнейший объезд.

Через полчаса лошади были поданы к крыльцу, денщик помог полковнику усесться, усадил мальчика и сам вскочил на козлы.

— Прощайте, господа! — сказал полковник добродушно.

— Счастливого пути! — отозвалось несколько голосов.

— А вы, Степанов,— обратился полковник к этапному начальнику,— смотрите, чтобы все было в порядке. Вы меня знаете: я никому зла не желаю; ну, а за беспорядки не взыщите. Солдата и арестанта в обиду не дам, не дам-с!.. У меня правило!..

— Слушаю-с...

Тройка взвилась, повозка обогнула холмик, и звуки колокольчика долго еще неслись из сумерек, тихо порхая вокруг запертого и примолкшего этапа.

Залетел этот звон и в этапную камеру, в которой воздух, несмотря на открытые окна, был спертый, затхлый и душный... Через час камера спала тяжелым сном усталости. Порой слышался сдавленный писк ребенка, порой прорывалось сонное бормотание, и затем опять все сливалось в одном дыхании, точно камера дышала одной грудью, обладала одним пульсом. Порой по тракту проезжала обратная тройка, и тихие удары колокольчика врывались сюда и висели в воздухе ровными толчками, точно рядом с камерой бился еще чей-то пульс,— пульс раскинувшейся за оградой свободной и свежей ночи.

В камере не спали два человека. Один был Залесский. Заложив руки за голову, он глядел вперед, и мысли бежали лихорадочно в его голове... Порой они туманились, и тогда только смутные образы стояли в воображении. Ему слышался ровный шум леса. Громадные ветви, теряясь в темноте, качались сумрачно и важно; темнело; колокольчик замер где-то в бесконечной дали и оборвался... Как будто целая бесконечность отделила эти звуки от темной чащи, в которой бились затерянные лю-

ди... И ему казалось, что сам он тут же, рядом с ними, в таком же темном лесу и не может найти выхода ни себе, ни им. Когда же он опять открывал глаза, он видел на другой наре напротив сальный огарок и лицо Фролова, склоненное над книгой. На лбу бродяги залегли глубокие морщины...

«Не понимает»,— думал Залесский, и ему опять стало отчего-то совестно...

Потом он совсем забылся...

Ночью его разбудил шум... Фролов стоял около него и гневно смотрел на его соседа. Это был тощий и жалкий субъект, шут и балагур, который постоянно подходил к нему с предложением услуг и лестью. Залесского это тяготило, и, чтобы избавиться от него,— он раза два давал ему по мелочам деньги. Теперь Жилейка (так звали этого арестанта), пользуясь темнотой, прилег тесно рядом с ним и попытался выдернуть из-под головы Залесского пиджак, в котором были деньги. Фролов, очевидно, заметил это и теперь держал Жилейку сильной рукой за шиворот... Начинали просыпаться арестанты.

— Что такое? — спросил кто-то.

— Жилейка, слышь, к барину подсыпался...

— Оставьте его,— сказал Залесский.

Фролов тряхнул Жилейку и бросил его опять на нары.

— Собака! — сказал он.— Ложись поди со мной. Ну!.. А ты, барин, тоже... Сам виноват... Не видишь, что это за человек... Зачем давал деньги?.. Слабы вы на это, господа политические...

Через минуту в камере все опять спали. Фролов тоже лег на свое место... Погасил свой огарок. В дальнем углу в фонаре тускло светила лампа.

VI

На следующий день Залесский проснулся поздно.

Партия получила от этапного начальника позволение отрядить охотников за сбором подаяния в соседние деревни. Окруженные конвоем, нарочно звеня кандалами

как можно сильнее, они проходили по улицам деревень, стараясь придать себе особенно угнетенный и несчастный вид,— и тянули хором жалобный мотив:

«Мило-се-ердные наши-и ма-а-тушки-и...»

Они успели уже вернуться с целой телегой милостыни, и когда Залесский открыл глаза,— староста и два помощника были заняты дележкой. Перед ними были навалены караваи хлеба, куски ситника, баранки; они старательно резали ровные куски, прибавляя к каждой доле небольшие ломтики булок. Половинки баранок втыкались в хлеб.

«Много набрали сегодня,— подумал Залесский,— должно быть, праздник».

Сегодня он чувствовал себя в другом настроении; вчерашние его впечатления отодвинулись куда-то далеко, и он опять с любопытством наблюдал суетливую толпу арестантов.

— Барин, милостыню возьмешь, что ли? — спросил у него Фролов, заметив, что он проснулся.

— Нет, не возьму.

Залесский никогда не брал своей доли. В первое время он старался победить в себе невольную гордость и брать милостыню, как все другие. Но затем он представил себя в числе поющих «Милосердную». Может ли он, как другие, заработать эти куски? Нет,— стало быть, он не должен участвовать и в дележе.

Это выделяло его из арестантской среды и могло показаться гордостью. Фролов опрашивал его всякий раз и всякий раз равнодушно кидал его долю в общую кучу, не выражая своего мнения...

Залесский встал с нар и осмотрелся. Камера была почти пуста: большинство арестантов гуляли по двору, шутя и балагуря с торговками. Несколько человек зашивали у окон халаты, искали насекомых, кое-кто прилаживал коты или подкандальники, готовясь к завтрашнему пути. В камере господствовало настроение ленивых и прозаических будней.

Такой же будничной показалась теперь Залесскому и фигура Фролова.

— Кипяток! кипяток! — раздалось вдруг у дверей, и два человека внесли в камеру ушат с кипятком для чая, поставив его около старосты. Арестанты торопливо

наполнили камеру, подходя с чайниками и получая вместе с тем свою долю милостыни.

Торговки, продававшие на дворе съестное, убирали лотки. Залесский торопливо вышел, остановил одну из них и, взяв первый ломоть, попавшийся под руку, вернулся в камеру. Он также заварил чай и, усевшись в стороне, стал медленно пить.

День прошел так же тускло и скучно.

Солнце зашло, и на дворе быстро темнело; в окна виднелась большая тяжелая туча; она тихо ползла по небу, как бы раздумывая о чем-то и разглядывая то место, куда пролиться дождем. Но дождя не было, только в окна залетал свежий ветер.

Зажгли лампы; от этого стены сразу побелели, окна выступили пятнами, и туча потерялась в темноте. Теперь двор затих, а камера ожила и зашумела.

В дверях показалась голова караульного.

— Смирно, ребята! — сейчас будет полковник.

Во дворе послышался топот шагов.

В темном четыреугольнике дверей показалась добродушная фигура Семена Семеновича. Сюртук его с измятыми погонами по обыкновению был расстегнут, что придавало ему вид некоторой благодушной распущенности. В левой руке он держал свою трубку, с длинным чубуком, один конец которого посасывал углом рта. На голове у него была надета большая сибирская папаха с кокардой, откинутая несколько назад, что как-то выделяло еще больше его лоснящиеся щеки, вздернутый нос, опущенные вниз усы. Небольшие глаза искрились добродушием человека, довольного собой и другими.

— Здорово, подлецы,— сказал он весело, вынув чубук изо рта и остановившись на мгновение у порога. Глаза его заискрились еще больше. Он знал, что арестанты знакомы с его манерой, что слово «подлецы» выражает только фамильярное доброжелательство. Действительно, в камере послышались радушные ответные возгласы:

— Здравия желаем, ваше высокородие...— А кой-где вынеслись голоса побойчее: — Здравствуйте, Семен Семенович, ваше высокородие.

За полковником вошел начальник этапа, болезнен-

ный, очень высокий и худой офицер с воспаленными и неприятно бегавшими глазами. Он не имел на этот раз причин бояться каких бы то ни было претензий, но все же, когда он видел инспектора и арестантов вместе,— ему было не по себе. С ним вошли еще два молодых прапорщика конвойной команды, два-три солдата и наконец рослый фельдфебель вынырнул из темноты и тотчас же прилип к косяку молодцевато вытянутой фигурой.

— Ну, каково дошли, мерзавцы, а? — спросил опять полковник и затем стал вдруг серьезнее, насупился и вынул изо рта трубку.

— Нет ли претензий? Говори, ребята, откровенно.

Полковник спрашивал отрывисто, резким голосом. Внезапная серьезность, водворившаяся на его лице и во всей фигуре, показывала, что в этом деле он не шутит, и арестанты это знали.

— Слава богу,— раздавались их голоса,— спасибо, ваше высокородие,— не забываете нас. Не имеем претензии. Идем хорошо, слава богу...

— Ну, слава богу лучше всего,— и полковник опять расцвел.— Садись, ребята, садись по местам,— чай простынет. А где тут... у меня?..

Семен Семенович оглянулся по камере, как бы кого-то разыскивая; он на мгновение насупился: взгляд его упал в одном углу на фигуру Залесского. Молодой человек сидел недалеко на низенькой скамейке, сосредоточенно наливал чай из жестяного чайника в деревянную кружку и затем, отпивая медленными глотками, смотрел в другую сторону. Хотя полковник велел арестантам, вставшим при его появлении, сидеть свободно, но этот, по-видимому, не вставал вовсе, и начальнику это не понравилось. Кроме того, Семен Семенович был в душе демократом и хотя никого не притеснял, но вместе с тем не допускал никаких незаконных льгот для так называемых «привилегированных»... «Вольная одежа» молодого человека его смущала, но он знал, что на этот раз ничего не может сделать: «циркуляр»!.. Поэтому на выразительном лице его появилась гримаса, как будто он принял слишком крепкую понюшку табаку,— что заметили все арестанты,— и он отвел глаза.

— А где у меня тут старый знакомый... а?

Взгляд его весело пробежал по серой толпе, и он увидел около ушата с кипятком знакомую фигуру Фролова. Услышав вопрос инспектора, староста равнодушно посмотрел на полковника, но не двинулся с места.

— Фролов!.. Староста... Тебя, слышь...— толкали его ближайшие соседи, но полковник сам приближался к нему, проходя между нарами, причем свита следовала за ним.

Арестанты столпились вокруг них, глядя с почтительным любопытством на полковника и на своего старосту. Залесский тоже взял свою чашку и подошел поближе. Сверкающая фигура полковника вошла в освещенное лампой пространство, и арестанты остановились, сдерживая друг друга на почтительном расстоянии. Полковник и бродяга стояли в центре этого круга.

Глаза инспектора сияли веселым огоньком и бегали особенно оживленно; он имел вид человека, уверенного в том, что своим появлением он делает неожиданный сюрприз, радуется сам и готовится обрадовать другого.

— Что, Фролов, узнаешь меня? — спросил он, круто остановившись у нар и вынимая изо рта трубку.

— Узнал, ваше благородие,— просто ответил Фролов.

— Помнишь, стало быть? — и полковник подмигнул бродяге одним глазом весело и фамильярно, как человеку, с которым у него есть общие приятные воспоминания.

Фролов промолчал. Очевидно, для него в этих воспоминаниях не было ничего приятного.

Инспектор поднял брови и, отведя трубку, стал что-то рассчитывать в уме.

— Да, да! Лет восемь никак мы не видались,— так ведь, братец?

— Не могу знать,— ответил Фролов с холодным спокойствием.— Нам года считать ни к чему...

— Да... восемь. Меня тогда в штабс-капитаны произвели. А в первый раз встретились двадцать лет назад... Верно! Я не ошибусь!.. Вот, господа,— повернулся он к своим молодым спутникам.— Имейте в виду: два-

дцать лет назад, это было в первый год после моего определения, мы с ним встретились в первый раз... Много воды утекло, ах, много!..

— Много,— повторил бродяга и бросил на полковника быстрый, короткий взгляд исподлобья. В этом взгляде мелькало то же выражение, с каким вчера он исследовал покосившиеся этапные постройки. Полковник угадал его мысль.

— Да, брат,— переменился и я, что делать. А уж о тебе и говорить нечего: сгорбился, глаза впали, седина пробилась... постарел, братец, постарел!..

Фролов стоял неподвижно, слегка опершись рукой на край ушата. Его лицо не выражало ничего; окружающие тоже молчали; синяя струйка дыма вилась из трубки, расплываясь над головами людей причудливыми завитками.

— Д-да,— сказал полковник отрывисто и затянулся; трубка захрипела, и он принялся выколачивать ее о край нары.— Д-да! Русская поговорка: гора, дескать, с горой не сходится. Имейте в виду, господа. Двадцать лет... Молодой прапорщик, новые эполеты... так сказать, у порога жизни... Оба были молоды, и вот теперь... Знаете: для ума много, так сказать... для мысли...

И он кинул в сторону Залесского самодовольный взгляд. Выколотив трубку, он сунул ее в кисет и начал набивать табаком, потом, закурив, снял папаху, кинул ее на нары и запросто уселся.

Минуту стояло молчание. Полковник, очевидно, вспоминал... Тогда он был молод; усики только пробивались над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как новый мундир и погоны; все это наполняло тогда радостью и блеском его жизнь, которая представлялась молодому прапорщику целой лестницей повышений. Если во столько-то лет он достигнет чина поручика,— то умрет, наверное, полковником... Теперь полковник оглядывался назад, на пройденную часть жизненного пути и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безусому фендрику. Вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих мечтаний. Все, чего удастся еще добиться, будет уже сверхсметным подарком судьбы.

Да, он доволен судьбой. Все ему удавалось. Сына он сразу поставил выше, чем стоял сам в начале карьеры, дочерям дал приданое... Теперь, если придется, он умрет спокойно и, конечно, с наилучшими надеждами в будущей жизни...

В это время со двора донесся ласковый визг собаки и веселый смех мальчика, игравшего с нею на крыльце смотрительской квартиры. Полковнику захотелось иметь его около себя, и он кивнул фельдфебелю.

— Ваську сюда!..

— Василий Семеныч,— почтительно позвал фельдфебель,— папаша требуют.

На пороге показался краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение ослепил его; мальчик с улыбкой закрыл глаза руками, но затем, разглядев отца, радостно кинулся к нему среди расступившихся арестантов. Его не пугали серые халаты, он привык к звону кандалов, и не раз жесткая рука каторжника гладила его белокурые волосы. Однако, встретив взгляд человека, стоявшего перед его отцом, он вдруг присмирел и прижался лицом к отцовской ноге.

— Вон какой бутуз растет у меня, это самый младший,— сказал полковник, гладя рукой голову сына, и взглянул на Фролова. Вместе с сожалением к бродяге, он испытывал то странное чувство, которое заставляет еще более ценить место у камина, когда вспоминаешь о том, что другие пробираются среди темной метели...

Фролов стоял сгорбившись, с темным лицом и угрюмой лихорадкой во взгляде. Залесский посмотрел на него и подумал, что он понимает его настроение... Встреча с «старым знакомым» заставила и его оглянуться на свою жизнь... Что-то смятое, спутанное, ряд годов, ничем не отмеченных, и какие-то обрывки воспоминаний, отзывающиеся тупой болью. Люди, которых он знал близко,— были не те, что живут полною жизнью. Города он знал только со стороны тюрем, в деревнях — бани и задворки... Жизнь прошла стороной, и он смотрел на нее со стороны, с опушек тайги и с своей бесконечной дороги. В одном месте он видел, как пахари выводили на заимочных пашнях борозду за бороздой, посматривая

на солнце. Дальше уже косцы, звеня косами, укладывают зеленые ряды на лугах. Еще дальше жнецы жали поспевшую рожь. Вся эта чужая работа катилась стройно по заведенной колее, из месяца в месяц, из года в год, и все это не задевало человека, который смотрел с дороги. Матери кормили ребят грудью; мужики, положив головы на колени баб, подымали кверху детишек, которые тянулись к ним ручонками и звонко смеялись... А он смотрел на все это из кустов.

— Много раз бегал с тех пор? — спросил вдруг полковник отрывисто.

— Одиннадцать раз,— тихо ответил Фролов.

— И все неудачно!

— До своей губернии два раза доходил...

— Ну?..

Бродяга молчал, полковник пожал плечами:

— Эх, Фролов, Фролов! Жаль мне вас, ей-богу... На дороге где-нибудь встречу, сам рубль подам, даром что от вас хлопот казне не оберешься. Вот ты одиннадцать раз прошел, и назад тебя гнали. Сколько казне расходу... А убей ты меня,— не понимаю, зачем вы всё бегаете... Да и сам ты не скажешь.

— Сестра у меня,— тихо и как-то жалко сказал Фролов.

— Сестра! Что она тебе письма что ли пишет, зовет на именины да на крестины?

— Никак нет...

— Может, давно умерла?

— Тетка еще была.

— Ну хорошо, ну жива, ну обе живы. Так ты думаешь, они бродяге обрадуются? Ведь она замуж вышла, семья у нее. Сама за сотским не пошлет, так муж во всяком случае... Имейте в виду,— повернулся полковник к офицерам: — чем опытнее в своем деле бродяга, тем глупее в житейских делах. Я этот народ изучил...

В голосе полковника звучала такая уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его маленьких и теперь несколько насмешливых глаз. Между тем Фролов, тот самый «Бесприютный», чье имя пользовалось у сотен людей безусловным авторитетом, о ком по сибирскому тракту сложились

целые легенды, стоял перед ним и бормотал что-то невнятно и смутно.

Молодой прапорщик, стоявший сзади полковника и державший под мышкой новенькую папаху с блестящей кокардой, смерил бродягу с ног до головы пренебрежительным взглядом; двое его товарищей неодобрительно покачали головами. Только один Степанов, смотритель этапа, худой, с раздражительным и желчным лицом, стоял неподвижно, и вся его фигура выражала, по меньшей мере, равнодушие к излагаемым начальником мыслям или даже пассивное неодобрение. Впрочем, это могло происходить оттого, что Степанов, не молодой уже подпоручик, и сам-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, вдобавок был еще и с похмелья.

Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. Кто-то в задних рядах вздохнул. Хомяк сидел на одной из нар в своей обычной позе, и даже он как будто прислушивался к уверенному голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного. В серой массе чуялось напряжение; арестанты переглядывались, как будто поощряя друг друга сказать что-то такое, что у многих было на уме, но что не могло ни у кого сорваться с языка.

Вдруг мальчик, тихо прислонившийся к ногам полковника, посмотрел в лицо человека, стоявшего против отца, и с беспокойною просьбой сказал:

— Папа... пойдем...

Залесский тоже взглянул вслед за мальчиком и, протолкавшись через кучку арестантов, положил руку на колено полковника и сказал с наивной простотой человека, очевидно совершенно забывшего свое положение:

— Знаете, полковник... Вам бы лучше уйти.

Это было совершенно неожиданно. Полковник посмотрел на него с недоумением, но вдруг понял то что-то особенное и тяжелое, что нависло среди угрюмой, ожидающей тишины, и немного растерялся... Степанов тоже что-то сказал ему, нагнувшись, и полковник вдруг как-то жалко заторопился.

— Ну-да, ну-да... Я сейчас... Прощайте, ребята.

Никто не ответил, и когда полковник сошел с нар,

было мгновение тяжелого ожидания и ужаса. Мальчик пошел вперед... Толпа расступилась...

Фролов стоял, схватившись за край нары судорожно сжатыми руками и подавшись вперед. Он дышал тяжело и весь дрожал мелкою судорожною дрожью. Он шептал что-то, но слов не было слышно...

VII

В этот вечер староста Фролов закутил. Он угощал всех, даже Жилейку; бродяги, усевшись кучей, затянули протяжную и надрывающую песню. Приходил фельдфебель, потом начальник этапа, но все они видели, что это одна из тех неудержимых вспышек неповиновения, в которых увещания бесполезны, а насилие может повести к самым ужасным последствиям для обеих сторон. Еще третьего дня конвойные, провожавшие партию, спокойно спали в телегах, а кандальщики сами наблюдали дисциплину и порядок. Теперь староста первый шумел и вызывающе отвечал на увещания. Кругом этапа во дворе царило напряженное ожидание. Солдаты не ложились спать, караул удвоили, со двора слышалось сдержанное бряцание ружей. Казалось, зверь, которого вчера можно было водить на шелковой ленте, теперь ощетинился и грозил разбить свою клетку.

Опытные люди знают эти мгновенные вспышки в арестантской среде. Масса людей, которые обычно так или иначе руководятся своими разрозненными интересами,— тут вдруг проникаются общею всем страстию. Каждый чувствует это странное единодушие, наступающее без предварительного сговора, без рассуждений, и сознание общности настроения страшно усиливает его в каждом отдельном человеке. Тут трус становится храбрым, а храбрый человек — безумцем. Из двух сторон, стоящих лицом к лицу, одна чувствует себя сильнее, потому что заранее отказывается от самого дорогого, за что можно бояться...

Степанов, состарившийся на этапах, был знаком с этими стихийными вспышками. Поэтому он принял все меры, чтобы избегнуть столкновения. Он не

пытался вмешаться, не отнимал водку, которую арестантам удалось добыть в большом количестве, и даже удалил от дверей камеры часового. Он надеялся, что таким образом пламя внезапно вспыхнувших страстей перегорит и погаснет, не выходя за пределы камеры.

Залесский старался заснуть, но это ему не удавалось: дремота была тревожна. По временам, открывая глаза, он видел будто в тумане силуэты двигавшихся людей; слышал сквозь дремоту говор и песни. Один голос особенно выделялся и тревожил его, напоминая о чем-то неприятном и тяжелом. Поэтому он не хотел просыпаться, а проснувшись, старался тотчас же опять заснуть.

В одну из таких минут он увидел Фролова. Староста сидел на краю нары, обнявшись с простоволосой арестанткой. Женщина покачивалась и, смеясь, с пьяною наглостию заводила циничную песню. В камере было душно, накурено и пыльно от движения; фигуры рисовались тускло, будто в волнах тумана, пронизанного скудным светом ночников. На одной из нар в середине выделялась тощая фигура Жилейки. Он потрясал в воздухе кулаками и выкрикивал охрипшим голосом, видимо кому-то угрожая: «Знай наших!.. Поберегайся!» Во всех концах камеры стоял оживленный говор. Даже те, кто не принимал в пирушке непосредственного участия, сидели на постелях кучками и громко беседовали друг с другом о самых разнообразных делах и случаях, не имевших, по-видимому, ни малейшего отношения к тому, что здесь происходило. Камера гудела, как улей, разбуженный каким-то толчком в глухую полночь.

Потом протяжная хоровая песня покрыла все остальные звуки, и под ее грустный напев Залесский опять забылся.

Проснулся он от наступившей вдруг тишины и, проснувшись, сразу уселся на своей постели. Теперь в камере слышался один только голос. Кто-то плакал, но это не был плач пьяного человека. Это был протяжный грудной рев, как-то безнадежно и ужасающе ровный, которому, казалось, конца не будет. Этот рев как будто поглотил в себе все оживление разбушевавшейся камеры.

Остальные арестанты прислушивались к нему в тяжелом испуганном молчании. Только пьяная женщина тянулась к рыдавшему, стараясь приподнять с нары его голову, и по временам причитала:

— Яши-инька, Яш! Горемышный ты мо-о-ой...

— Мамка, не трог меня...— глухо и прерывисто отвечал бродяга.

— Не трог, не трог,— испуганно шептали арестанты.

Вдруг Фролов поднял голову и обвел камеру тяжелым взглядом. Казалось, водка не опьянила его, и трудно было бы поверить, что этот человек только что плакал. Глаза его были сухи, черты стали как будто острее и жестче. Он порывисто приподнялся, держась руками за край нары, и искал кого-то глазами.

— А, барин! — крикнул он Залесскому, который смотрел на него, сидя на своем месте, отделенном от бродяги тянувшимися посреди камеры двойными нарами.

С языка бродяги сорвалось короткое циничное ругательство.

— Ва-а-просы... Я, брат, и сам спрашивать-то мастер... Нет, ты мне скажи,— должен я отвечать или нет... ежели моя линия такая. А то — ва-а-просы. На цигарки я твою книгу искурил...

Залесский молчал.

— Сестра-а! — сказал опять Фролов тоном глубокого презрения...— У меня у самого сестра.

И затем целый град самых грубых ругательств полился из уст Фролова. Казалось, он чувствовал особое наслаждение, втаптывая в грязь образ мифической сестры, мечту своей жизни.

Залесский сидел молча и думал, чем кончится эта сцена. Арестанты смотрели то на него, то на Фролова, не понимая, в чем дело. С трудом сойдя со своего места, без халата и шапки, в одном белье и с палкой в руках, старый Хомяк пробирался, между тем, вдоль нары, направляясь к Бесприютному. Подойдя на два шага, он протянул руку, пошарил перед собой и, нашупав плечо Фролова, сказал с неожиданной силой:

— Молчи... Яков... Я тебе говорю: нишкни!

Фролов отстранился и, дико глядя на Хомяка, продолжал ругаться. Старик поднял палку и ударил Фролова. Среди арестантов пронесся внезапный вздох.

— Вяжи его, ребята... Вяжи щенка... Вали в мою голову...

— Врешь,— закричал Фролов.— Сам молчи, старая собака... Связал один такой-то!..

— Братцы, родимые,— ножик! — взвизгнула вдруг арестантка.

В камере поднялась суматоха. Около нар топталась и глухо наваливалась серая, безличная толпа...

— Старика смяли,— крикнул кто-то сдавленным голосом — Что вы стоите, как быки?.. Уведи старика, ребята... Не-ет, врешь... Нет, отдашь...

Серая куча глухо сопела и ворчала, ворочаясь сплошной массой на полу...

— Берегись! Ножик,— крикнул кто-то, и, пролетев над головами, нож зазвенел на полу. Несколько тел опять глухо свалились на пол, и Фролов поднялся на мгновение над толпой, дикий и страшный. Но вскоре опять свалился со стоном.

Когда, привлеченные шумом, в камеру вошли конвойные солдаты с ружьями,— все уже было кончено. Степанов вошел бледный и ждал столкновения,— но столкновения не вышло. Вся страсть этой толпы ушла на борьбу с одним человеком, который лежал на наре весь опутанный принесенной со двора веревкой. Фролов лежал неподвижно и только с какой-то странной размеренностью поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. От этого взгляда становилось жутко.

VIII

— Барин, а барин!. Слышь, барин!..

Залесский проснулся. Утомленная борьбой камера была погружена в глубокий сон. Даже один из караульных, приставленных к связанному Фролову, крепко спал, прислонясь спиной к деревянной колонке. Другой — Жилейка — растерянно топтался на месте в большом затруднении.

Фролов сидел на наре все еще связанный и глядел на Залесского. Хомяк стоял около него, пытаясь развязать узлы своими дрожащими и бессильными руками.

— Помоги развязать, барин,— сказал Фролов.— Не бойся, ничего не будет. Видишь,— старик меня знает.

Залесский поднялся и стал помогать Хомяку. У него работа тоже не особенно спорилась, но Жилейка, видимо обрадованный тем, что вмешательство барина окончательно снимает с него ответственность,— принялся за дело сам, и через минуту Фролов стал на ноги.

— Ну, ложись спать, ребята,— сказал он своим обычным голосом Жилейке и другому караульному, молодому арестантику, который успел тоже проснуться и удивленно протирал теперь заспанные голубые глаза.

— Слушаем, Яков Иванович,— сказал подобострастно Жилейка; казалось, все происшедшее внушило Жилейке еще более почтения к Фролову.

— Да смотри, ребята, никого не будить,— добавил последний. Теперь это опять был авторитетный староста, отдававший приказания, и оба караульные, не говоря больше ни слова, полезли на свои места и тихо улеглись, покрывшись халатами.

Фролов, между тем, взял свою шапку, надел халат, помог одеться Хомяку, и оба они вышли на двор, огороженный па́лями. Залесский, спавший у открытого окна, приложился лицом к железной решетке.

Две фигуры виднелись неясно на ступеньках крыльца. Они говорили о чем-то, но слов не было слышно. Только по временам грудной голос Фролова прорывался в темноте глубоко и полно. Хомяк говорил что-то глухо и неясно.

Ночь уходила своей тихой чередой. Фролов проводил Хомяка на его место и помог ему улечься. Затем сам он опять вернулся на крыльцо, и Залесскому все виднелись в окно неясные очертания неподвижной фигуры.

Острые концы палей все яснее проступали на светлеющем небе. Дыхание утра постепенно развеивало сумеречную мглу прохладной ночи... Небо синело, становилось прозрачнее, и взгляд Залесского, глядевшего из-за решетки, уходил все дальше ввысь...

Потом розовые лучи заиграли на зубцах и стали спускаться вниз на землю, золотя щели... Белое облако

заглянуло сверху во двор и стало подыматься все выше. Потом другое, третье, целая стая... И за ними еще глубже проступала синяя высь...

Встрепенувшись от холодной росы, жаворонок, спавший всю ночь за кочкой вне ограды, поднялся от земли, точно камешек, брошенный сильной рукой,— и посыпал сверху яркой веселою трелью.

Из семейной камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину.

Бледная, изможденная вышла на крыльцо мать ребенка. Некрасивое испитое лицо носило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко. Стоя на крыльце, она слегка покачивалась на нетвердых ногах. Казалось, она все еще спала и двигалась только под внушением звонкого детского крика.

Бесприютный поднялся.

— Матрена! — окликнул он женщину.— Тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза.

— А! ты здеся, Яков. Никак уже встал. Да, Яш, голубчик,— молочка бы ему: слышь, как заливается.

Фролов направился к небольшому домику, где помещалась караулка и кухня. Через минуту он вышел опять во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившеюся из-под платка косой, стояла тут же.

— Ишь — заливается, орет,— произнес Бесприютный.— Ты бы хоть грудь дала.

— Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

— Ишь ты. А жив!.. В кого он у тебя такой уродился? Ась?

Арестантка не ответила. Она поправила выбившиеся волосы и сказала:

— А ты, Яков, вечóр пошумел сильно.

— Пошумел,— сказал Яков просто.— На вот, неси... Ишь орет... Наголодался...

День совсем разгорелся. Выкатилось на небо сияющее солнце. Невдалеке с одной стороны лес вздыхал и шумел, а с другой шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца.

Деревня принималась за работу.

— Ну, ребята! Подымайся в дорогу!..— раздался голос Фролова у входа в этапную камеру.— Живей! Переход нынче долгий...

1888

Черкес

Очерк

I

— Иван Семеныч, а Иван Семеныч!..

— Ммм...— послышалось в ответ из глубины повозки.

— Только и есть у них: мычат, как коровы. У-у, падаль, прости господи, а не унтер, чтоб вас я́звило!..

Я не видал лица жандармского унтер-офицера Чепурникова, произносившего злобным голосом эти слова, но ясно представлял себе его сердитое выражение и даже сверкающий глубокою враждой взгляд, устремленный в том направлении, где предполагалось неподвижное, грузное тело унтер-офицера Пушных.

Ночь была темна, а в нашей повозке, конечно, еще темнее. Колеса стучали по крепко замерзшим колеям, над головой чуть маячил переплет обтянутого кожей верха; он казался темным полукругом, и трудно было даже разобрать, действительно ли это переплет над самой головой или темная туча, несущаяся за нами в вышине. Фартук был задернут, и в небольшое пространство, оставшееся открытым, то и дело залетали к нам из темноты острые снежинки, коловшие лицо, точно иглами.

Дело было в ноябре, в распутицу. Мы ехали к Якутску; путь предстоял длинный, и мы мечтали о санной дороге. На станциях обнадеживали, что от Качуга по Лене уже ездят на санях, но пока нас немилосердно трясло по замерзшим колеям.

Унтер-офицер Чепурников отдернул фартук. Резкая струя ветра ворвалась к нам, и Пушных зашевелился.

— Ямщик! Что, еще далече до станции?

Ямщик наш был одет в пеструю и мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темною же, как чернила, ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток, что производило самое фантастическое впечатление.

— Верстов еще с десять,— послышалось оттуда.

— Хлопаешь зря: едем-едем — все десять верстов.

Чепурников нервничал и сердился.

Ямщик равнодушно пробурчал что-то, несколько придержал лошадей и набил трубку. Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся от ветра, и скрючившиеся от мороза руки.

— Ну, ты, поезжай, что ли! — сказал Чепурников с холодным отчаянием.

— Сьчас!

Огонек погас, и на облучке опять замелькало только созвездие из беловатых пятен.

Телега качнулась, мы задернули фартук и вновь понеслись вперед среди холода и темноты.

Чепурников нервно ворочался и вздыхал, Пушных сладко всхрапывал. Этот гарнизонный счастливец обладал завидною способностью засыпать мгновенно при всяких обстоятельствах, и это служило главною причиной глубокой ненависти, которую питал к нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищ. Последний пытался доказывать неоднократно, что Пушных не имеет никакого «полного права» своею грузною фигурой занимать большую половину места, назначенного для троих. Пушных при этом жмурился и стыдливо улыбался. Он позволял даже Чепурникову всячески тиранить себя каждый раз при усаживании в повозку. Желчный унтер-офицер порывисто запихивал куда-нибудь его ноги, подбирал и укладывал руки, затал-

кивал в самый дальний угол его спину, гнул его и выворачивал, точно имел дело с тюфяком, а не с живым человеком.

— Вот... вот!.. так... этак!..— приговаривал Чепурников, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища.— Р-раздуло вас, прости господи, горой!..

Пушных конфузливо и виновато улыбался.

— Чем же я, Василий Петрович, в эфтим случае... Мы все, то есть, родом экие!.. Ой, Василь Петрович, ты мало-мало полегче пихайся.

Чепурников окидывал взглядом свою упаковку и оставался недоволен.

— Бесс-совестные! — ворчал он.

Надо заметить, что оба мои спутника принадлежали к разным родам оружия, и Чепурников, как жандарм, считал себя неизмеримо выше Пушных уже тем, что его служба вменяла в обязанность тактичное и вежливое обращение. Поэтому он обращался даже к Пушных не иначе, как во множественном числе, хотя при этом высказывался нередко довольно бесцеремонно: «Бессовестные вы этакие чурбаны!» — говорил он, например.

Но, в сущности, все мы понимали, что совесть тут ни при чем. Особенно же когда, проехав версты полторы, Пушных засыпал, как камень,— тут уж вступали в силу положительно одни физические законы: Пушных, как тело наиболее грузное, опускался на дно повозки, вытесняя нас кверху.

То же случилось и в эту холодную ночь. Чепурников жался к краю повозки, я кое-как сидел в середине, стараясь не задавить Пушных, который все совал под меня голову с беспечностью сонного человека. Я всматривался в темноту: какие-то фантастические чудовища неясно проползали в вышине, навевая невеселые думы.

— Ну, и командировка выдалась!.. Не фартит мне, да и только! — сказал Чепурников с глубокою грустью и с очевидною жаждой сочувствия.

Мне было не до сочувствия. Для меня эта «командировка» была еще менее удачной, и мне казалось, что это у меня на душе проплывают одни за другими бесформенные призраки, которые неслись там, в вышине.

— Эх, и что бы месяц раньше! Купил бы я в Качуге шитик, поставил бы парус — и катай себе вниз по Лене до самого Якутска. Ведь это, как вы думаете, экономия?

— Конечно, экономия.

— То-то вот, что экономия... А как по-вашему, сколько?..

— Не знаю...

— А вот погодите, рассчитаем. Три тысячи верст, по четыре с половиной копейки, это выходит по сту по тридцати пяти рублей с лошади. Ежели теперь на четверку да на обратный путь хоть, скажем, на две лошади... Поэтому экономия составляется сот восемь рублей на одних прогонах. Так или нет?

Чепурников рассчитывал с каким-то сладострастным наслаждением и потом сказал со злостью:

— А теперь вот и за одну лошадь, смотрите, останется ли? Вспомните мое слово: станут нам дальше и четвертую лошадь припрягать. Такой подлец народ стал, такой подлец — и сказать вам не могу. Этто чтобы служащему человеку сколько-нибудь уважить,— никогда!

Мне от этих расчетов было ни тепло, ни холодно. Пушных напоминал о себе сладким мычаньем сквозь сон.

— Да вот тут еще с этим делись, с чурбаном! — желчно закончил Чепурников.— А спрашивается теперь: за что?

Он смолк. Темная дорожная ночь тянулась без конца, а колокольчик, казалось, бился и стонал на одном месте. Туманы продолжали ползти в вышине какими-то смутными намеками на что-то необыкновенно печальное. Чепурников вздыхал и злился рядом со мной, продолжая раздражать себя расчетами экономии, утерянной только потому, что меня бог не послал ему месяцем ранее.

Но вот повозка быстро забилась на ухабах, колокольчик заболтал что-то несвязное, послышался хриплый лай ленских собак, более похожий на какой-то очень жалобный вой, и в промежутке между фартуком и верхом повозки проплыл яркий огонь фонаря, раскачиваемого ветром на верхушке полосатого столба.

Станция.

Я стал выбираться из повозки, разминая отекшие члены. Чепурников захватил узелок с провизией и стал бесцеремонно тормошить Пушных. После нескольких пинков беспечный унтер-офицер промычал что-то, зевнул протяжно и сладко и стал вываливаться из телеги.

— Полоски (сабли) захватите,— крикнул ему Чепурников на ходу,— да револьверы!

Но Пушных в эту минуту, стоя уже на земле и заложив руки за голову, сладко тянулся, хрустя суставами, и зевал.

Когда он вошел через минуту в теплую станционную комнату, потирая по-детски кулаками заспанные глаза, в руках у него не было ни «полосок», ни револьверов, которые остались в повозке.

II

Я сел к столу и, облокотившись на него, смотрел перед собою, отдаваясь ощущению тепла и отдыха. Глаза мои были открыты, но все предметы принимали для меня какие-то фантастические формы. Стены комнаты раздвигались, и я опять видел себя далеко на дороге, в темной повозке. Только в углу повозки приютилось теперь какое-то странное животное на четырех изогнутых ножках; оно сердито шипело на меня, фыркало и лязгало зубами, сквозь которые пробивалось пламя, пыхая на меня жаром. От этого я начинал ужасно грустить, и тогда глаза мои инстинктивно искали на стене картину, изображавшую возвращение блудного сына. Блудный сын стоит на коленях, а старик отец протягивает над ним благословляющую руку. У старика было доброе лицо, и он так благосклонно глядел, а быть может, еще и до сих пор глядит на проезжающих со стен всех станций, на протяжении всей Лены. Почтенный старец! Он столько раз и так радушно встречал меня своим благословляющим жестом, что я положительно привязался к нему и, входя в любую станцию, утомленный угрюмыми приленскими видами, тотчас же разыскивал его глазами. И в эту минуту я стремился к нему под защиту. Тут ли он? Да, он тут, и, значит, я не на холоду, а в светлой комнате, и сердитое животное, пыхающее огнем,— только железная

печурка, жарко натопленная лиственничными дровами. Да, старик тут, и, значит, у меня есть добрый знакомый в этом далеком и неприветливом краю, в этом маленьком домике с полосатыми столбами, приютившемся у подножия угрюмых и мрачных хребтов.

Пушных, положив руки на стол и голову на руки, тихонько всхрапывал, а Чепурников суетился один, то подкладывая дров, то распоряжаясь относительно самовара. Наконец он удалился за перегородку, и через минуту оттуда послышался сначала просто любезный, а потом и дружеский разговор.

— Я очень доволен; я даже так рассуждаю,— говорил писарь,— что вас ко мне сам бог послал, право. Можете верить слову.

Под дальнейший тихий шепот новых приятелей я совсем заснул.

Кто-то тронул меня за руку. Я открыл глаза и не сразу сообразил, в чем дело. Надо мной стоял жандарм Чепурников, и на его обыкновенно подвижном лице теперь лежало какое-то застывшее выражение. Он трогал мою руку, а сам смотрел в окно. Я невольно посмотрел туда же, но ничего особенного не увидел. В стекла глядела ночь, и только пушистые снежинки, налетая из мрака, садились снаружи на черные стекла и тотчас же таяли. Казалось, какие-то белые насекомые с любопытством заглядывают в нашу комнату и через мгновенье бесшумно отлетают в темноту, чтобы сообщить кому-то о том, что́ они увидели в станционной избушке...

— Что такое? — спросил я с невольной тревогой.

Чепурников сел на стул и с тем же задумчивым видом перевел на меня свои карие глаза.

— А-а, господин...— сказал он тоном доверия.— У нас тут такое дело налаживается, просто уж и не знаю. В один день человеком сделаешься!

— Человеком? — переспросил я, все еще не отряхнувшись от сна.— Что ж, это отлично!

— Верно, в один день, господин!..— и Чепурников вперил в меня долгий, в душу проникающий взгляд.— Вот,— заговорил он вдруг вкрадчиво,— вы, например, люди образованные и стоите за бедноту. А можете ли вы понимать служащего человека?

— Ну?

— Служащему человеку требуется голову свою как-нибудь прокормить и какой-нибудь дивидент себе приобрести. Так ли я говорю, ай нет?

— Так в чем же дело?

— В том дело,— ночевать здесь придется!

— Ну, и прекрасно.

— То-то. А не быть бы мне в ответе, потому нам по инструкции воспрещается... Так уж вы, в случае чего, ни-ни... Так, дескать, встретились, только и всего... На станке, при перепряжке... Поняли?

— Положим, ничего не понял. С кем встретились?

— А вот погодите... Гаврилыч, вылезай-ка сюда!

Станционный писарь, внимательно следивший за разговором из-за перегородки, тотчас же вышел. Это был человек лет тридцати, в стоптанных валеных калошах, повязанный грязным шарфом; движения его не лишены были некоторой торжественности. Видно, что жизнь на станции и общение с «проезжающими господами» способствовали развитию в нем некоторых возвышенных наклонностей.

— Это он верно вам говорит,— наклонился писарь ко мне, уставляясь в меня своими большими черными глазами, немного напоминавшими чахоточного.— Дело первой важности,— большие можно тысячи приобрести...

— Вот! — подчеркнул Чепурников, испытующе заглядывая мне в лицо.

Я опять протер глаза. Этот шепот, важный вид говоривших, застывшие взгляды и загадочные слова казались мне просто продолжением какого-то бессвязного сна.

— Да в чем, наконец, дело? — спросил я с досадой.

— В черкесе-с...— и взгляд писаря стал еще многозначительнее.— Неужто про черкеса не слыхали? Лицо по всей Лене знаменитое.

— Я здесь в первый раз.

— Извините, не сообразил. Позвольте, я вам объясню. Этот черкес, да еще с другим товарищем по спиртовому делу у нас первые... То есть, проще вам сказать, спиртоносы, на прииска запрещенным способом спирт доставляют и выменивают рабочим на золото. Отличные дела делают.

— Ну-с?

— Ну-с, больше ничего, что завтра этот черкес будет здесь...

Он наклонился к моему уху.

— Золото в Иркутск везет китайцам продавать... Ежели теперича сам бог нам его в руки дает,— это значит божие благословение... Третья часть в нашу пользу, остальное в казну...

— Понимаю... Но неужели он так беспечен, что прямо дастся вам в руки?

— Какое дастся! Дьявол — не человек. Не первый раз уже... Летит, сломя голову, ямщикам на водку по рублю! Валяй! Лишь бы сзади казаки да исправник не пронюхали да не нагнали. А у нас народ на станках робкий... Да и на кого ни доведись — страшно: с голыми руками не приступишься. Ну, а теперь все-таки люди военные. Можно его и взять.

— Ежели нам удастся, и вы счастливы будете, господин! — сказал Чепурников, у которого загорелись глаза.— Тысячи и на ваш фарт не пожалею.

— Да уж только бы пофа̀ртило,— все так же поучительно прибавил писарь,— а уж дуванить-то будет чего.

— Я думаю, казенного проценту за поимку тысяч тридцать. А лошадей все равно свободных нету,— наивно схитрил Чепурников, взглянув на писаря.

— Ну, как знаете. Мне никаких денег не нужно, а ночевать я согласен с величайшим удовольствием.

— Берите, не отказывайтесь. Мы вас обижать не согласны.

Я вышел из-за стола и стал укладываться на диване. Перспектива провести целую ночь в теплой комнате, под благословляющею десницей почтенного старца, была так соблазнительна, что в моей отяжелевшей голове не было других мыслей... Чепурников с писарем удалились за перегородку и продолжали там свою беседу о предстоящей кампании.

— Верно ты знаешь, что завтра?

— Да уж верно тебе говорю. Болдин сказывал. Выпили мы тут с ним, он и проговорился... Они меня не боятся, потому я и сам в прежние времена, признаться сказать...

— А трудно...— слышалось через минуту.

— Трудно. Храбрость имеет большую. Черкес настоящий, молодчина!

— Отчаянный?

— Да уж без засады не взять.

— А как ничего нету?

— Чудак! Ведь уж мне тогда здесь не житье,— неужто стану рисковать!

Я заснул. Мне казалось, что я забылся только на мгновение, но, очевидно, прошло довольно много времени. На станции было тихо, на столе стоял самовар и чайные приборы. Очевидно, мои спутники успели напиться чаю и улеглись спать. Свеча была погашена, и только железная печка освещала комнату вспышками пламени.

— Гаврилов! — послышался вдруг тихий оклик Чепурникова.— Не спите?

— Не сплю.

— А знаете, я ведь рассчитал.

— Ну?

— Тридцать две тысячи восемьсот сорок рублей пятьдесят копеек.

— Н-да,— сказал Гаврилов из своего угла,— капитал хороший. Только бы бог помог.

— Дай-то господи! Капитал отличный. Вот бы Марфа моя Степановна обрадовалась!

— Н-да. Возымели бы мы с тобой хорошую копеечку...

Сильным сопением Пушных напомнил собеседникам о своем существовании.

— Ишь, сопит, свинья! — с презрением сказал Чепурников.— А ведь и ему придется дать.

И через полминуты он добавил с закипающею досадой:

— Спрашивается: с какой стати?

Опять тишина.

— Гаврилов, а Гаврилов!

— Что?

— А вы верно знаете, сколько с ним золота?

— Верно. По этому самому расчету они уж и раздуванили в тайге. Черкес с Мандрыковым за себя весь песок взяли!

— Гм... Жалко!

— Что тебе жалко?

— Маловато выходит.

— Что так?

— Да так, не хватает мне мало-мало по моим расчетам. Еще бы мне тысячки хоть три, я бы на Горе у вдовы у Мятусовой домик купил. Славный домик, с огородом и с мензелинчиком. А теперь придется у Степанова купить. Тоже домик ничего, а нет того виду... Тот на господскую ногу... Я ведь службу-то брошу...

— Бросишь?

— Ну ее! С капиталом какая надобность? Теперь я перед каждым офицером тянусь, а тогда он у меня, офицер, на чашку кофею будет зван. Так, ай нет?

— Пустое! — сказал писарь решительно.

— Как пустое?

— Так, суета, честолюбие одно,— подтвердил Гаврилов философски.— Думаешь, хорошо: станешь ты по этой причине форсить, нос кверху драть? Нет, брат, хорошего тут мало...

Я насторожил уши. Писарь говорил тихо, и голос у него мне показался чрезвычайно приятным. Я устал от холодного, угрюмого пути и от этих жестких, наивно-грабительских разговоров. Мне показалось, что я, наконец, услышу человеческое слово. Мне вспомнились большие глаза Гаврилова, и в их выражении теперь чудилась мне человеческая мечта о счастии...

— Вот ты как разговариваешь,— сказал несколько озадаченный Чепурников.— Ну, а ты что станешь делать?

— Я?.. Мне бы привел господь, я бы женился.

— А ты разве не женатый?

Гаврилов сделал на своей постели нетерпеливое движение.

— Ты знаешь ли,— спросил он резко,— почем в нашей стороне пуд хлеба?

— Пожалуй, не рупь ли с полтиной...

— То-то. Так неужто же при наших достатках жениться?

— А ты бы другого места поискал.

— Бывал и в других местах. Не фартит. На приисках служил и спирт нашивал... Только и нажил, что ло-

моту в ногах. Нет, по нашему месту надо совсем бессовестному человеку быть, тогда станешь богат...

— А невеста есть?

Гаврилов молчал. Слабый огонек его цигарки как-то задумчиво вспыхивал и угасал за перегородкой. Писарь курил и мечтал.

— Поглядываю тут на одну. Да что! Я беден, она и того беднее. Так и не говорил ей ни разу... Другое бы дело, кабы бог помог... Уехали бы мы с ней из этого гиблого места, зажили бы себе тихонько, свое бы дельце завели.

— Какое бы ты дело стал заводить?

— Я-то?

— Да.

Опять Гаврилов замолчал, как будто не решаясь посвятить Чепурникова во святая святых своих мечтаний.

— Кабак в своем месте открыл бы,— сказал он.— Чего лучше? Спокой!.. А народ у нас к вину наваженный...

III

Огонь в печке угасал. Как это часто случается после сильной усталости, я спал плохо. Забываясь вполовину, я терял минутами сознание времени, но вместе с тем ясно слышал порывы ветра, налетавшего с ленской стороны, слышал, как он шипит снаружи у стен и сыплет снегом в окна.

Вдруг с одним из этих порывов до меня долетел слабый звон колокольчика. Звук этот чуть коснулся слуха и тотчас же потонул в шипении метели. Но через минуту он повторился, опять исчез и потом зазвенел яснее, дольше, с короткими перерывами. Чуткий Гаврилов поднялся за перегородкой, зажег свечу и кинул несколько поленьев в печку.

— Ох-хо-хо! — зевнул он и перекрестил при этом рот.— Господи-владыко, царица моя небесная!.. Кого еще бог дает, уж не почтмейстер ли? Едет что-то шибко... Простого пассажира этак не повезут...

Дверь отворилась. Староста в дохе и теплой шапке появился на пороге с ручным фонарем.

— Проезжающий, Степан Гаврилыч! Слышите, что ль?

— Слышу. Пожалуй, не почтмейстер ли из Киренска. Торопи ямщиков на всякий случай. Чтоб без задержки.

— Выкатили. Лошадей хомутают.

— Чтобы живо!

— Единым духом...— и голова старосты исчезла за дверью.

— А?.. Что тут такое? — встрепенулся вдруг Чепурников и сел на полу, тревожно бегая по комнате глазами.

— Ничего. Проезжающие.

— Черкес?

— Какой тебе черкес... Спи-ложись.

Чепурников упал на подушку. Он спрашивал сквозь сон.

Стук копыт и звон колокольчика стихли у ворот.

Слышно было, как ямщики торопливо выпрягают лошадей, побрякивая снимаемым колокольчиком, и еще по временам доносился со двора чей-то резкий, повелительный голос.

Заслышав этот голос, Гаврилов вдруг насторожился и стоял несколько секунд удивленный и неподвижный, с полуоткрытою станционною книгой в руках. Вдруг на лестнице послышались шаги; Гаврилов вздрогнул.

Дверь отворилась, староста просунул голову и сказал:

— Черкес это приехал.

Писарь побледнел и как-то метнулся к Чепурникову, но тот уже вскочил, как ужаленный, сел на стул и протирал глаза:

— А, что? Где черкес? Да вставайте же вы, лежебоки!..

Хотя он говорил во множественном числе, но восклицание относилось к одному Пушных, лежавшему на полу у его ног. Несмотря на вежливую форму обращения на «вы», он толкнул грузного унтер-офицера так сильно, что тот сразу обнаружил признаки жизни. Он замычал, встал на четвереньки и стал тихо подниматься, точно на спине его лежала громадная тяжесть. Писарь суетился, зажигал зачем-то стеариновую свечку на столике у зер-

кала. Чепурников шарил по стульям, разыскивая под платьем оружие... Вообще, за минуту перед тем спавшая в безмолвии и темноте станционная комната теперь ожила и была полна движения.

А на все это движение смотрел с порога высокий стройный человек, в котором с первого взгляда можно было узнать так страстно ожидаемого и все же так неожиданно нагрянувшего черкеса.

IV

Я видел, как он вошел. Едва только староста успел отойти от двери, как она опять отворилась, и черкес, беспечно держась за ручку, занес ногу на порог. Из темных сеней его фигура выступила с отчетливою резкостью. Это был старик лет пятидесяти пяти, с сухим и жестким лицом, гладко обритым. По лицу он напоминал скорее немца, но рыжая черкеска, подбитая мехом, и затем вся фигура с крутою грудью, тонким станом и упругими движениями, обличали ссыльного горца. Он был перетянут тонким кожаным поясом, на котором спереди, наискось, висел красивый кинжал, сзади револьвер в кожаном чехле и, наконец, толстый шнурок, очевидно тоже от револьвера, терялся в кармане.

Свет ударил ему в глаза; он прижмурился, как кошка, и, увидев форменные шинели, мгновенно отшатнулся. Я заметил, как выражение вражды и частию испуга промелькнуло в его черных глазах, странно загоревшихся под седыми бровями. Мне казалось, что я уловил также оттенок печали, который можно заметить в глазах травленного зверя, внезапно попавшего в засаду. Затем он как-то инстинктивно выпрямился, быстрым и привычным движением тронул ручку кинжала и еще раз оглянул всю комнату, останавливая на каждом из нас мгновенный взгляд, острый, ясный и испытующий. Все это продолжалось две-три секунды. Затем он шагнул в комнату.

— Здравствуйте! — сказал он спокойным тоном, которому отчасти противоречили все еще беспокойно бегавшие взгляды.

— А, что такое?.. Да, здравствуйте, здравствуйте,—

растерянно ответил Чепурников и, наклонившись к равнодушно усевшемуся на стуле Пушных, прошипел:

— Куда вы девали револьверы... скоты вы этакие?..

— Чего лаешься? — громко ответил Пушных.— Что с твоими револьверами сделается?.. В повозке.

Все как-то примолкли после этого ответа. Гаврилов кинул на обоих солдат укоризненный взгляд и покачал головой.

— Пожалуйте вашу подорожную,— обратился он к черкесу, стараясь своею развязностью покрыть неловкость. Глаза у черкеса вспыхнули, как у тигра, заметившего опасность; он вынул из кармана свернутую бумагу и кинул ее на стол.

— Зачем кидать... можно подать, я думаю,— обиженно сказал Гаврилов.

Черкес не обратил внимания на это замечание. Он держался чутко, настороже. Острый взгляд его опять быстро обежал всех находившихся в комнате, и вдруг я почувствовал его на себе. Глаза наши встретились. Он рассмотрел мое лицо, мое платье, мой чемодан, стоявший у дивана, опять взглянул на солдат и составил свое заключение; потом он быстро придвинул стул и сел недалеко от меня, полуобернувшись ко мне спиной, лицом к остальным.

Гаврилов раскрыл книгу, но, видимо, не торопился записывать подорожную. Он опрокидывался на спинку стула, то и дело заглядывая из-за своей перегородки в станционную комнату. Порой он делал Пушных какие-то знаки, от которых на жирном лице грузного унтер-офицера проступали явственные признаки изумления. Черкес холодно смотрел на эти маневры и играл рукояткой кинжала.

Между тем сконфуженность Чепурникова прошла, и юркий унтер-офицер, видимо, подыскивал план. Он сел на край стула, опершись об угол стола, в позе, обличавшей готовность воспользоваться благоприятною минутой. Но черкес сидел против него на расстоянии комнаты, зоркий, чуткий и напряженный. Тогда Чепурников посмотрел на меня умоляющим взглядом. Я понял: если б я быстро вскочил, то, пожалуй, мог бы схватить черкеса сзади. Во всяком случае, я мог бы всяким своим движением произвести опасную для осажденного дивер-

сию, которою Чепурников не преминул бы воспользоваться.

Чтобы выяснить свою роль, я слегка шевельнулся. Черкес вздрогнул, взглянул на меня через плечо, и его внимание, видимо, раздвоилось между мной и Чепурниковым. Но я заложил руки за голову, приняв позу наблюдателя. Чепурников с очевидною горестью убедился, что я бесповоротно занял нейтральное положение.

Черкес поправился на стуле и спросил насмешливо, обращаясь прямо к Чепурникову:

— Далече едешь?

— До Якутска. А вы?

— Мы не далече.

— А откуда, дозвольте, к примеру, узнать?

— Мы? Из Олекмы.

— Та-ак. А как там насчет, например, пути. По Лене на санях ездиют ли?

— А как же... Очень ездиют. Мы и сам до Качуг в своем возке ехал. Мы думал — всюду санной дорога. А здесь нет санной дорога. Знал бы, не ехал бы. Плохо. А ты слушай, друг! — обратился он к писарю.— Ты пиши резво. Лошади готовы, у тебэ не готово...

— Ох-хо-хо-о! — потянулся Чепурников с какою-то неестественною беспечностью.— Пойти и нам собираться. Ну-ко, Пушных, пойдем-ко-те, что я вам скажу.

Пушных посмотрел на товарища с удивлением. Очевидно, его еще не посвятили в дело. Чепурников двинулся было к дверям, но черкес, вдруг выпрямившись, точно стальная пружина, слегка отодвинул его локтем, и от этого движения юркая небольшая фигурка унтер-офицера очутилась в углу у перегородки, а черкес стал рядом. Все это было сделано так легко и незаметно, что когда он сказал Чепурникову: «Погоди, друг, вместе ходим», то эта фраза казалась действительно дружеским приглашением. Глаза Чепурникова забегали по всей фигуре черкеса, однако он остался у перегородки.

— Давай! — сказал черкес писарю, протягивая руку за подорожной.

— Не записано еще.

— Давай, говорю! После кончаешь!

Он быстро взял со стола бумагу. Я невольно залюбовался им: его лицо было теперь повелительно и строго, а движения напоминали красивые и грозные повадки тигра. Теперь все здесь уже понимали друг друга, за исключением, конечно, одного Пушных. Черкес был в комнате один, и, в случае свалки, против него были бы трое: грузный унтер-офицер, без сомнения, принял бы немедленно участие в битве. Успех легко мог склониться на сторону нападающих, но первый шаг был самый страшный...

— Теперь хочешь, так ходим вместе,— сказал черкес Чепурникову.— Погоди! Хочешь у меня возок покупать,— покупай.

Чепурников быстро согласился, видимо обрадованный новою проволочкою.

— Где он у тебя?

— В Качуге, записку тебэ даю. Знакомому человек...

— Дорого продаешь?

— Тридцать рубля. Кожаный верх. Пятьдесят стоит. Бери!

Торгуясь, черкес кидал жадные взгляды на чайник. Он ехал без остановок и здесь, быть может, рассчитывал отдохнуть и напиться чаю. С последними словами он быстро подошел к столу, налил стакан из остывшего чайника и, повернувшись спиной ко мне и Пушных, жадно выпил холодный чай одним глотком, не спуская глаз с жандарма. Глаза Чепурникова сверкали, лицо было красно и потно. Он готов был кинуться на черкеса, но упустил удобное мгновение. Когда он рванулся к столу, черкес уже стоял в небрежной позе, с рукой у пояса.

— Давай, что ли, записку,— сказал Чепурников глухо, чтобы чем-нибудь объяснить свое порывистое движение.

Черкес вынул записную книжечку, набросал в ней несколько слов и вырвал листок: все это он сделал одною рукой, стоя у стола и не теряя из виду покупателя. Его брови были сдвинуты, сухое лицо побледнело. Видно было, что напряжение этих минут не проходит ему даром. Чепурников был взволнован еще сильнее.

— Бери! — кинул черкес записку.— Деньги отдашь в Качуге.

— Хорошо.

— Идем вместе!

Они вышли рядом, плечо к плечу. Черкес шел легко, как кошка, слегка приподымаясь на носках, стройный, гибкий и напряженный. Чепурников рядом с ним казался маленьким и неуклюжим, но во всей фигуре унтер-офицера виднелись упрямство и злая решимость.

Гаврилов, с расширенными зрачками и почти задыхающийся, кинулся к Пушных и начал его тормошить.

— Что же вы сидите? Эх, вы! А еще унтер-офицер. Ступайте живее!

Пушных поднялся и покорно, вяло пошел из комнаты.

Я тоже накинул пальто, надел валенки и выбежал на крыльцо.

Метель стихла, но снег шел густо, и тройка лошадей у крыльца виднелась точно сквозь сетку. Ямщик только что взобрался на козлы. В открытой перекладной сидела какая-то темная фигура. Еще две фигуры подошли к повозке.

— Ну, прощай, друг. Езжай сам здоров! — сказал черкес, и в голосе таежного коршуна послышалась насмешка.

— Прощай,— глухо отвечал Чепурников.

Я видел, как они подали друг другу руки.

— Прощай, но... прощай! — повторил черкес, и, при вторичном прощании, в голосе пробилось уже беспокойство: унтер-офицер не выпускал его руки из своей.

— Играешь, что ли?.. Смотри, не надо! — резко проронил черкес, и затем несколько сухих звуков на непонятном языке полетели в повозку.

В глубине крытого возка послышалось движение.

— Иг-раю,— еще глуше и с усилием ответил Чепурников, точно у него сдавило горло.— Давай, послушай... поборемся... кто сильнее? право, ей-богу...

Я понимал настроение Чепурникова. Он не решался кинуться один на опасного противника, но и не в силах был глядеть равнодушно, как он сядет и уедет, увозя с собой все только что расцветшие надежды...

Началась возня... несколько коротких секунд... Чепурников упал на землю, а черкес вскочил в повозку.

— Пшо-о́-ол! — крикнул он дико и пронзительно. Испуганные лошади взяли с места, телега загрохотала по колеям и исчезла в снежном сумраке; только несколько раз еще донеслись до нас из темноты взвизгивания черкеса: пшо-о-ол, пшо-о-о́л!.. Казалось, это были крики возбужденного, опьяневшего человека.

Мы кинулись к Чепурникову.

— Что с вами? — спросил я у него.

— Ничего, ничего... Ка-а̀к он меня толкнул, дьявол,— сказал он, подымаясь,— и понять не могу!.. Ну и вы все... Не могли его сзади тогда... Эх!

Он говорил трудно, точно что-то сдавливало его горло.

Из ямщицкой выбегали ямщики, которых позвал Гаврилов, но было уже поздно: удаляющийся звон колокольчика слышался как-то тупо, приглушаемый густо падавшим снегом, только дикие взвизгивания черкеса прорезали еще несколько раз ночной воздух, точно резкие крики ночной птицы.

Эти звуки, полные дикого возбуждения, надолго остались у меня в памяти, и впоследствии не раз, когда я с стесненным сердцем смотрел на угрюмые приленские виды, на этот горизонт, охваченный горами, по крутым склонам которых теснятся леса, торчат скалы и туманы выползают из ущелий,— мне всегда казалось, что этот дикий крик хищника носится в воздухе над печальною и мрачною страной.

— Фью-ю-ю! — свистнул Гаврилов и махнул рукой.— Теперь катит-заливается,— до Иркутского никто уж не остановит. А там...

— Да хоть и остановил бы, нам какой барыш!..

— Нет, не остановят. Никто и не знает. Кончен бал! Эх, господа, служба-а! — прибавил он с глубокой укоризной, и его черные глаза долго не могли оторваться от снежной мглы, в которой вместе со звуками колокольчика утопали недавние его мечты о женитьбе и о спокойной жизни.

V

Повозка, проданная нам черкесом, несколько утешила Чепурникова. Это был превосходный возок, крытый кожей, просторный и даже со стеклянными дверцами...

Черкес, продав его за тридцать рублей, заплатил нам дорогую цену за один стакан холодного чаю.

На следующую же ночь, выехав из Качуга, мы могли улечься довольно удобно втроем, а так как по Лене действительно установилась уже санная дорога, то мы не тряслись по ухабам и не особенно страдали от беспечного эгоизма Пушных.

Для одного Чепурникова возок имел особого рода неудобство. Он слишком растравлял его воспоминание о неудаче и не позволял ему думать ни о чем другом.

Следующею же ночью я крепко заснул под скрип полозьев, как вдруг меня разбудила странная возня. С трудом высвободившись из-под барахтавшихся в возке моих провожатых и прижавшись в угол, я зажег спичку. Чепурников пыхтел и отчаянно тормошил Пушных, который, по обыкновению, только мычал, не давая себе отчета в том, что с ним происходит.

— Что вы делаете, Чепурников,— окликнул я, хватая унтер-офицера за руку. Но он уже очнулся.

— С нами крестная сила!..— сказал он, крестясь и с изумлением взглядывая на товарища.

Спичка погасла. Чепурников сел на свое место.

— Фу ты, наваждение! — сказал он сконфуженно.

— Ты это... как могешь драться, а? — спросил Пушных несколько гнусавым и обиженным голосом.

— А, ну вас! Все этот черкес,— даже во сне снится, проклятый...

Но, помолчав с минуту, Чепурников вдруг прибавил со злостью:

— А вы думаете, я вам из экономии-то дам сколько-нибудь? Ничего не дам, вот! Будь у меня настоящий товарищ, мы бы теперь оба людьми стали.

Утром, уже подъезжая к станции, я проснулся опять. Чепурников не спал и глядел в окно возка, которое он опустил до половины. Увидев, что я открыл глаза, он сказал, по-видимому выражая вслух продолжение своих мыслей:

— Нет! Невозможно было. Это надо жизни своей решиться... Бог с ним и с капиталом... Подошел я тогда к повозке, а там у него баба сидит на рундучке. Поверите, и у той револьверы да кинжалы, вся, как пушка,

иззаряжена... Глядит оттуда, точно сова... Ну, и народец!..

Я выглянул наружу. Снег продолжал валить хлопьями, в воздухе белело. За горами занималась уже, вероятно, заря, но сюда, в глубокую теснину, свет чуть-чуть преломился, и темнота становилась молочной. Возок покачивался, ныряя в этом снежном море, и трудно было бы представить себе, что мы действительно подвигаемся вперед, если бы сквозь мглу не проступали призрачные вершины высокого берегового хребта, тихо уплывавшего назад и развертывавшего перед глазами все новые и новые очертания...

А снег все валил, покрывая землю, и на сердце все больше налегала тоска. Ряды невеселых мыслей развертывались в воображении, как ряды этих сумрачных сопок...

1888

Ат-Даван[1]

Из сибирской жизни

I

— Н-ну, уж и дор-ро́га! — сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков.— Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю, ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торо́сья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга, в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз, наконец, победил. Река застыла, и только гигантские «торо́сья», целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остался безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко рас-

[1] Ат-Даван — станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска.

кидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длинною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на «пáди» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгузских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, развертываются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами...

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случалось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крякнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

— Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И, однако, сделав станка два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванович! — пытаюсь я протестовать в таких случаях.— Станок бы еще можно сегодня...

— Куда к шуту торопиться-то? — отвечает Михайло Иванович.— Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать — все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

— Народ здесь,— говорил он таинственно,— на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

— А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно!.. Чудак! — прибавлял он, быстро впадая в «сердце»,— какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Рассея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михаилу Ивановичу «здешняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в

день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к известному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона,— Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры,— теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я вгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора,— но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою по-

ездку. Красный сланец, с причудливыми слоями, напоминавшими какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие лиственницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой,— все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыхало сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамах, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

— Вот, братец ты мой, и чудесно! — радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за переметы со всякою дорожною снедью.— Эка теплота-то благодатная! Тут уж, шабаш, ночуем беспременно! Эй, кто там... писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей...

— Ну, нет, Михайло Иванович,— попытался я возразить,— еще рано. До N доедем, а там и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нет,— послышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой, круглый человечек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю — все это, слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были

тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

— Как же нет лошадей? — возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте.— Две тройки должны быть на станции.

— Так точно,— покорно ответил он,— должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

— Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте,— произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экие вы, право! — с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки.— Почему да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит — значит, причина!

— Так точно-с,— обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака,— так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

— Ну, хорошо,— сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз.— Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

— Почта́ келле́, Василь Спиридоныч...

— А, почта! — успокоился старичок.— Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ямщики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста, в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками, мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убегавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условия-

ми: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца,— превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока, наконец, представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полузастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

— Че! — отряхнулся он.— Тымны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

— Угощайся,— ответил Копыленков благодушно.— Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

— Верно,— сказал он.— Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

— Одежонка у тебя — ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

— Одежа ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных сумах верхами. Целый караван вьючных лошадей жмется тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присут-

ствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают, в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки-почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежонке среди необычайных морозов, то приписывает это, главным и даже исключительным образом, водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество, без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый,— право же, невинный при этих условиях,— доход...

От него же, главным образом, этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу,— произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

— Слышь, почта, давай чайком побалуемся,— предложил Копыленков.

— Невозможно, господа почтенные,— тороплюсь. Слушай, парень,— дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю,— поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

— Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

— Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти,— догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

— Тебе-то что?

— Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

— Ну?

— То-то... Сказывают, осатанел, беда!

— Авось бог милостив. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого? — спросил Копыленков.

— Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

— Так, так, так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг мы бы у тебя лошадей-то последних и взяли...

— Совершенно верно-с... Судите сами: приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

— Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

— Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

— Удостоил?

— Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? — спохватился он вдруг.— Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово,— два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен,— внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо, польщенный.

— С превеликим удовольствием разделю компанию,— сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

— В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

— Значит, служил? — спросил Копыленков.

— Так точно-с, по комиссариатской части, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» — хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта — три тройки — двинулась, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черные пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было

видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты — целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя «Арабы́н-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемой теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании... Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги — и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала кверху, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу,

как будто целая река пламени струилась кверху. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромною пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину объякутившего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные — то протяжные, то истерически-прерывистые — звуки. Это была якутская песня-импровизация,— песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже,— подумал я невольно,— как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, непроизвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван — имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как Эолова арфа, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от ве-

ликого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга... От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал,— песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох, в своих горестных странствиях натыкается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!... Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал — правда, мимолетно — казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый, тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно-самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути,— о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам, он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных

людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления,— от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся, наконец, наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить в сущности некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По на-

ивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.

— Так, говоришь, прогорел? — спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

— До основания-с! — ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем.— Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

— Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

— Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да этакой голове...

— Действительно, шельма естественная. Говоришь, поправился?

— Да еще как поправился!..

— Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

— Первым делом — женится он вторично на вдове с капитальцем. Капитал, положим, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

— Живехонька-с! Это ничего не составляет.

— Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

— Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

— Спир-том?.. Ну, нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

— Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...[1]

[1] Золотой песок. «Торговать пшеничкой» — скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

— Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

— Этот ловок. Шире-дале, шире-дале и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.

— Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! — предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару — значило бы отказаться окончательно).— Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Г-н Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

— Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? — потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович — наверно изволите знать, прииски у него богатейшие были,— говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоем уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» — Так вот нет, сердце не дозволяет... «Иван Александрович»,— говорю ему...

Г-н Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

— «Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу,— понимаешь ты? — с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить,— забвение горести!» — Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд — четыре с полтиной, говядина — восемь рублей! Ни спокою, ни пищи...

— Это верно,— поддержал Михайло Иванович,— корма-то здесь дороги, нечего говорить.

— Эх, нет, не то! — с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, измени-

ла всю несколько комичную его фигуру.— Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

— Задумываешься? — перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

— Бывает,— угрюмо сознался Кругликов.

— Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

— Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга́ воет... к окну, а в окне — слепая льдина... Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— В голову ударит,— ну, и омрачит отчасти... Затуманит, потому — настойка у меня... Водка настоена крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

— Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит, не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:

— За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него

с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

— Да говори ты, братец, толком! — сказал, наконец, Михайло Иванович с досадой.

— Что ж, я правду говорю,— ответил Кругликов,— так как, собственно из любви к одной девице, в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как celebrissime * Ринальдо-Ринальдини.

— Из пистолета? — протянул он растерянно.— Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

— Так точно-с. Пистолет настоящий.

— Палил?

— Два раза.

— Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

— Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

— Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла...— обратился я к г-ну Кругликову.

— Да,— поддержал мою просьбу и Копыленков,— что ж, братец, расскажи, расскажи,— ничего! Что уж тут... Удивительно!

VII

Г-н Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахару и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить

---

* Славнейший *(лат.)*.

сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он запрокинул голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

— Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

— Не случалось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

— Это где?— спросил Копыленков.

— Вблизи Петербурга, часа два пароходной езды-с, портовый город.

— Я бывал,— сорвалось у меня.

— Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

— Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

— Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

— Да, город хороший.

— Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

— Верно.

— Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиц немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в средину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять — лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинулся на Кругликова.

— Ну, так что же,— сказал он нетерпеливо,— родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

— Да-с, родом,— отрезал Кругликов с гордостью.— На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного



«СОКОЛИНЕЦ»



«СОКОЛИНЕЦ»

ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнителен и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

— Не ропщи! — наставительно произнес Копыленков.

— Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще того доходнее...

— А какое? — не вытерпел Михайло Иванович.

— В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень, чтобы сказать, большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно,— просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись...

— То есть это что же, насчет чего?..— недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

— Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, размотает его жена, как катушку какую,—вот и приобрел!

— Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

— Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

— Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры,—живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

— Будьте добры, продолжайте,—в свою очередь перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

— Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было,—это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент—обучением занимался. Сама напросилась,—ну, а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую,—учи!

— Напрасно,— сказал вскользь Копыленков.— Баловство! Женскому полу это ни к чему...

— Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

— Грех вышел?—забежал вперед Михайло Иванович.

— Никакого греха!—отрезал Кругликов холодно.— И в мыслях не было,—оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян,—чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все такое-этакое... Возвышенные персоны-с и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности,

как минута свободная — сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер — я с должности вернусь — гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте, известно, какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, сходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

— Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?

Ну, я, конечно, с своей стороны:

— Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она — дитё...

— Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?

— Вижу, бриг из-за границы идет.

— А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьем грудь пронзит, меня в плен...

Задрожит сама, испугается, жмется ко мне. Ну, я ее опять успокою:

— Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок не долго.

— Да,— говорит и Рая,— наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...— И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить — так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

— И я,— Раин родитель отвечает,— столько же, вместе составится двенадцать — куда им больше?

— Нет,— мой опять говорит,— не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что

стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...

Слово за слово,— заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

— Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!

— Нашла, значит, коса на камень,— засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

— Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

— А что ты думаешь?.. И верно! — опять вставил Копыленков.— До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

— В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе,— никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну, и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более, что я уж считался женихом. Из себя — дело прошлое — был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться.

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новою рюмкой водки. Рука, подносившая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

— А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал,— жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только, гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, сказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Странный, конечно, народ — ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихою улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

— Вот,— сказал он,— посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен,— хотя, быть может, и не из первых рядов,— стояло на обложке книги.

— Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили,— сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

Да, так иду мимо него, слышу, окликает: — Эй, вы, господин Венецыян, подите-ка сюда!

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

— Что вам угодно-с?

— Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается.

Посмотрел на меня этак с головы до ног...— И то, говорит,, как об этаком храбром рыцаре не убиваться...

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

— Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!

— А вы, говорит, не знаете?

— То-то, не знаю.

— Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!

— Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!

— Ну, нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецыяна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та — и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланный, говорит, пришел, говорит, не за...был, не...бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились, и глаза усиленно моргали.

— Что уж это,— произнес он растроганно,— до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

— Простите, господа почтенные,— не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор

уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостоин...

— Ну, ну,— защищался Копыленков от нового припадка чувствительности,— ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

— Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

— Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть.

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, просветлеет,— ну, и я на нее глядя...

— Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намедни купила...

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка,— ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило. Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял, да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

— Что, говорит, надо? — Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю:

— Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого.

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

— Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет

по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как сидорову козу...

— Не может быть, говорю, я чиновник.

— Не веришь? Ладно.

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата — бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

— Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительскою рукой высечь?..

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

— Родительской рукой завсегда можно,— закон дозволяет.

— Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину,— сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

— Вы, говорит, что это... Мечтаете?

— Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..

— Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?

— Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное.

— Так, так... А кого имеете в виду?

Замялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

— Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста,— небось, замялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление,— получше тебя жених найдется. Ступай!

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости,— свет мне не мил: тут — начальник, домой придешь — бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертию письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

— Ну? — прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

— Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак, или маленько поболее, зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

— Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...

— Понятное дело! — одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, и подумать не мог... В Сайдашную улицу, к Раисе Павловне...

— Зачем? — невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

— Сватом-с,— ответил он не без гордости.

— Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

— Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с.. Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

— Ну, и девка же.. Ах, бедовая! — не выдержал опять Копыленков.

— И вы пошли? — спросил я с невольной укоризной.

— Да ведь повез...— застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапною резкостью повернулся к Копыленкову: — А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

— Очень нужно еще и понимать-то тебя,— отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

— Ну, и м-м-мальчи-те-с.— отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

— Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал.. По-е-хал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорош, нечего сказать, принц венецианский... И свирепый сераскир тут же»,— это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

— Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий

Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, никогда-с...» Вот, милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако, между тем, прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королевна моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

«Васенька...» — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

— А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить? — Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королевна, пожелаете...»

— Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

— Вот тут-то,— сказал он с расстановкой,— вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раичкой вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый. И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пи-

столетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся...

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымает. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

— Убил? — в ужасе приподнялся Копыленков.

— Нет, не убил,— с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов.— По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» — потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

— Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...— И все пуще да пуще и плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

— Ну, выпьем! — сказал Копыленков.— Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

— Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Г-н Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно-нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

— Неужели это?..

— Они-с,— сказал Кругликов почтительно.— Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцывенах и Францылях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

— Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Г-н Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

— Для Арабина? — спросил я.

— Да,— как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробегали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

. . . .

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов, не торопясь, зажигал свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Г-н Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черные глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть, от дороги, а, может быть, также — от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачно-

го и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна,— все это не прошло для г-на Кругликова даром.

— Черт возьми! — произнес Арабин нетерпеливо.— Шевелись там!

— Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие,— спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

— Самовар! — буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

— Готов.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоны пожалуйте,— с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

— Н-ну, что-то будет,— наклонясь вдруг ко мне, прошептал он,— беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали,— в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на Арабина, известного и

грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей,— это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона, в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более, что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване — и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахáн Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

— Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало зловещее выражение.

— Молчать! — крикнул он.— Это что... бунт?

— Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появле-

нием. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его исступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери от ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича.

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце,— так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искоса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

— Я вам пок-кажу бунтовать! — ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице

приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приязненные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдце с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

— Вам что надо? — вдруг отчеканил он резко, ставя блюдце на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

— Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

— А-а!.. Ну, так,— произнес Арабин, опять принимаясь за чай.— Теперь помню.

— Именно-с,— обрадовался Копыленков.— А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

— Не ваше дело!

— Это справедливо,— смиренно согласился Михайло Иванович.— Может, касающее секрету...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

— Справедливо-с,— в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: — Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел — и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким дви-

жением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилось на пол. Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением.— Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

X

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задергивал пологом.

— Михаил Иванович,— произнес он с робкою мольбой,— будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

— Хорошо, хорошо, братец! — как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, расскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убегал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера,— таинственные и фантастические под сиянием луны,— надвигались на нас теперь — хмурые и холодные.

— Ну, что ж, Михаил Иваныч,— спросил я, когда тройка побежала ровнее,— доставите вы ему место?

— Нет,— ответил Копыленков равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился,— взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

— Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

— Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

— Я слышал: требовал прогоны,— это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

— Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

— Обязан платить.

— Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

— Закон, Михайло Иванович.

— За-а-кòн... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще какое это слово: «закон»?

— Какое?

— А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя подержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

— Однако, вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

— Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

— Подымай! — крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользнув с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

1892

Марусина заимка

Очерки из жизни в далекой стороне

I. УГОЛОК

Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою «хлынью» по колеям якутской дороги.

Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие «скатертью» между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльного дна. Если едут двое — они плетутся рядом под ленивые разговоры о наслежных происшествиях, о покосах или приезде начальства. Трое в ряд ездят уже гораздо реже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва заметными линиями в буйной траве.

Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря...

Солнце висело над дальней грядой гор. И летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косы-

ми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, не успевает значительно охладиться в короткую ночь, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальние горы, обвеянные синеватою мглою, реяли и, казалось, расплавлялись в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть голову, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника,— и они бежали дальше, помахивая зажатыми в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень... И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном, в задумчивой истоме своего короткого лета.

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали оскалинами каменистых оврагов, нащетинившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по которым струились тихие речки амгинского бассейна. По этим речкам ходили «вольно, нехранимо» табуны кобылиц, принадлежащие якутским «богатырям» родовичам, успевшим и здесь, на лоне почти девственной природы, захватить лучшие уголки божией земли.

По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по траве роскошную гриву,— делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоняя их обратно. Когда кобылы, не смея ослушаться и делая

вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой, в глубине ущелья,— сторожевой жеребец выбегал оттуда обратно и, все тряся головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к нагайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвращался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивою хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее, тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше, молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. Но навстречу попадался только ленивый дымок юрты над озером или якутская могила — небольшой сруб вроде избушки с высоким крестом — загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев...

— Посмотрите-ка,— сказал вдруг мой товарищ, задергивая повод разбежавшейся лошади.

Мы давно ехали узкой дорожкой, две-три колеи которой чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу нам вырастал молодой ярко-зеленый лесок, над вершинами которого уже исчезали меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, не часто употребляемыми в этих местах, и вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса.

Мы оглядывались с удивлением: пашни, хотя и не частые, составляют, однако, обычное явление в этих недальних улусах, но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким палисадом или тыном и напоминавшие вдали от жилья кладбища или старые языческие мольбища, огражденные от

взоров посторонних. Но это были только наслежные огороды. Один из губернаторов, прекраснодушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства,— отвели по клочку земли и обнесли крепчайшими частоколами, оставив лишь один вход, запиравшийся на замок, ключ от которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белены и чертополоха защищенных от лугового ветра...

Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая капустная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям завивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо тщательно оберегаемых от утренних коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего более удивило нас,— это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами и не сибирский «амбар» с прямым срубом и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка, с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна частью из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилье от какой-нибудь черниговской или полтавской «хатынки». Изумленный неожиданностью, взгляд невольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого «журавля» криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы, с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кринице, видимо, не было надобности: в нескольких десятках саженей за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крылья...

Утки были дикие, лес был лиственничный, сибирский, чуждый и этой хатке, с ее соломенной крышей, и этим грядкам...

Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил соломою крыши, чуть-чуть шелестела тайга, и жалобный переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то, и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере расплывется, как дымное марево...

— Эй, а хто тут в бога вируе? — крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу.

Что-то зашуршало под тыном, вплоть около нас.

— Ой, лйшенько! — сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски «кичкою», глаза, быстрые, живые и несколько дикие, смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошеных гостей.

— Здоровеньки були,— весело сказал мой товарищ.

Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом, от голов до копыт наших лошадей... По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей ничего: ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу, и отправимся своим путем далее.

Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы.

— Чья это хатка? — спросил мой товарищ.

— А вам на що? — ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила: — Ну, Степанова та моя.

«Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» — как будто говорил ее неприветливый взгляд.

Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом поселенце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распущенный. Он считался, между прочим, большим донжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой.

— Ну, нет, батюшка, ошиблись,— сказал он серьезно.— У них там, на озере, настоящая... настоящая... как это, господа, говорится по-книжному?..

— Идиллия? — подсказал кто-то из нас.

— Ну, вот-вот! Да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего — головы подлец не пожалеет... И притом считает себя как бы в законе...

— Медведь их, что ли, в тайге обвенчал,— не унимался смотритель.

— Черт их знает... По бродяжеству, говорит, венчаны... Обряд, будто бы, тоже какой-то...

— Уж будто вы так и отступились? — сказал смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами.

В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека, хоть чем-нибудь выделяющегося — вообще, больше, и имя Степана «с озера» или «с Дальней заимки» произносилось в слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы»,— хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: «Истебан биллем» (Степана знаем)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином.

— А где же сам Степан? — спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться.

— Нема́ Степана. У слободу поехал,— ответила молодая женщина как-то торопливо.— Не скоро и воротится...

И ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан, с разводами на полах, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность.

— Ну, езжайте с богом,— закончила она бесцеремонно.— Нема́ и нема́ Степана. Где ж мне его взять... А вам здесь оставаться не можна.

Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг, на озере, на другом берегу грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злорадно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суета наполнила весь этот тихий угол.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса... Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою и глядя из-под ладони по направлению к нам.

— Эге!.. Скоро же Степан вернулся из слободы,— засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно неприязненным взглядом.

Между тем, стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток.

— Милости просим, господа,— сказал он, вежливо снимая шапку.— Слезайте с коней.

— Да нам тут объявили, что вас нет дома,— сказал мой спутник улыбаясь. Степан посмотрел на женщину быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе.

— Опять ты, Маруся, за старое... Дура,— грубо сказал Степан.— Ну, ставь чайник, живее... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошим людям рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. Повидимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал ей сомнение. В конце этого вторичного осмотра она все-таки улыбнулась, вскинула на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам.

— Извините, господа! Дикая она у меня,— сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любуемся его Марусей.— Она, видите, думала, что вы — приискатели.

— А если бы приискатели? Так что же?

— Звали тут меня... в приисковую партию,— ответил он, глядя как-то в сторону...— Дайте-ка, я ваших лошадей привяжу. Пожалуйте вот сюда.

И он пошел впереди, ведя в поводу лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом. У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявшиеся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странною складкой,— грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона.

II. «БРОДЯЖИЙ БРАК»

Через полчаса мы лежали на сочной траве, невдалеке от избушки. На земле потрескивал костер, и в железном котле закипала вода.

Кругом опять вошла в колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своим свистом и ржанием, переливчатым и неприятным, по ветвям лиственниц ходил ленивый шорох, и утки, забыв или даже не зная о недав-

ней тревоге, опять лежали черными комьями на гладкой воде озера.

Маруся, казалось, готова была примириться с нами. Она вступила в роль хозяйки, поставила чайник и уселась было около Степана, ожидая, пока вода закипит у огня. При этом исподлобья она взглядывала на нас с выражением застенчивого любопытства. Но мой товарищ, в свою очередь окинув ее пристальным взглядом, сказал:

— А вы, землячка, кажется, из-под Чернигова? Или с Полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, как от внезапного удара. По лицу ее пробежала резкая судорога, она с ненавистью взглянула на неосторожного допросчика и быстро поднялась на ноги. При этом она нечаянно толкнула чайник и, не обращая внимания на то, что вода лилась на угли, скрылась в дверях избы.

Степан слегка нахмурился и, поправив чайник, сказал:

— Теперь уж не подойдет... И чай пить не станет... Напрасно спросили.

И, поправив несколько заглохший огонь, он прибавил задумчиво:

— Всегда вот этак. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачет... Или ударится о землю... Пена изо рта, как есть порченая! Так и сам не знаю,— откуда она родом...

Он замолчал. Фигура молодой женщины мелькнула около избушки и скрылась в другом конце огорода. Через некоторое время оттуда донесся мотив какой-то песни. Маруся пела про себя, как будто забыв о нашем присутствии. Песня то жужжала, как веретено в тихий вечер, то вдруг плакала отголосками какой-то рвущей боли... Так мне, по крайней мере, казалось в ту минуту.

— Марья! — крикнул было Степан.— Ну, иди, что ли! Что в самом деле: не съели тебя...

Женщина не ответила, но песня смолкла. Всем нам стало томительно и неловко.

— Эх... некстати маленько спросили,— сказал опять Степан.— Может, обошлось бы. Она ведь у меня занятная... Иной раз разойдется, песни заиграет...

— А когда вы с нею встретились? — спросил я, чтобы поддержать разговор.— И если вам не неприятно, расскажите, как это вы венчались бродяжьим браком?

— Слышали, значит? — спросил Степан, встрепенувшись.— Нет, что же... У меня этого нет... Да что! Здесь такая сторона: никому нет дела! Я даже письма из дому получал...

В его лице появились признаки оживления. Видимо, воспоминания, на которые навел его мой вопрос, не были ему неприятны. Он только оглянулся в сторону Маруси и сказал, немного понижая голос:

— Если вам рассказать, например, всю историю, как мы с нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дело-то, если говорить по порядку, начинается с каторги. Значит, ранней весной выбежали мы с товарищем с N-ских рудников. Только снег прошел... Речки еще играли. Ну, сначала скрывались поблизости, в тайге, подобно как звери. Бедствовали сильно. Потом выбились-таки на дорогу, к Чите подходить стали, месяца уже через полтора. Дождь, помню, шел с ночи... А дождь перестанет — туман... Так на горах и висит. Ну, дело по бродяжеству привычное. Идем, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочит, ветер высушит. Наплевать! Третий тут еще к нам прикомандировался, бродяжка тоже... Иваном назвался. Только верст этак, может, на десять от городу, вдруг из тумана двое на нас: «Стой, что за люди?» Потом посмотрели и говорят: «Нет, не те. Тоже варначье, да нам на этот раз не надобны. Черт с вами». И побежали дальше. Опомнились мы, перекрестились... «А ведь это, братцы,— говорит нам товарищ,— тревога! Непременно из замка кто-нибудь убежал. Надо нам с дороги-то податься в сторону».— «Давайте,— я говорю,— пойдем лучше за ними. Эти не тронули, а на других наткнемся, еще бог знает...» Ну, и пошли мы в ту самую сторону, куда эти двое побежали...

А в эту ночь, действительно, Маруся еще с подругой одной—из острога выбежали. Редкость это, конечно, что женщины бегут, ну, тут, правда, помощь им была... В Читу пришли они в партии. Сами знаете, каково женщине в нашем быту...

— Да, подлость большая! — угрюмо сказал мой товарищ.

— Каторга верховодит,— пояснил Степан.— Продают баб, как скотину, в карты на майдане проигрывают, из полы в полу сдают. Ну, а она вдобавок — бедовая, непокорлива. И теперь знак есть: ножиком один пырнул. Как уж там было, бог ее знает, только слюбилась с одним... Тот ухарь был тоже, в обиду уже не давал. Вместе и в Забайкалье пришли. Ему на поселение, ей — в каторгу, только он так порешил, что им не расставаться. Ну, они две — с подругой — в лазарет слегли, под видом болезни, а он билет взял и уже около тюрьмы рыщет... Сговорились. Лазарет, к тому же, по случаю перестройки был за оградой... У Даши тоже друг был, высидочный, и тоже с нею бежать надумал. Вот раз эта Даша и говорит надзирателю: «Принеси четверть вина».— «Рад бы, говорит, принести, да без старшого нельзя». А старшой... сказать вам...

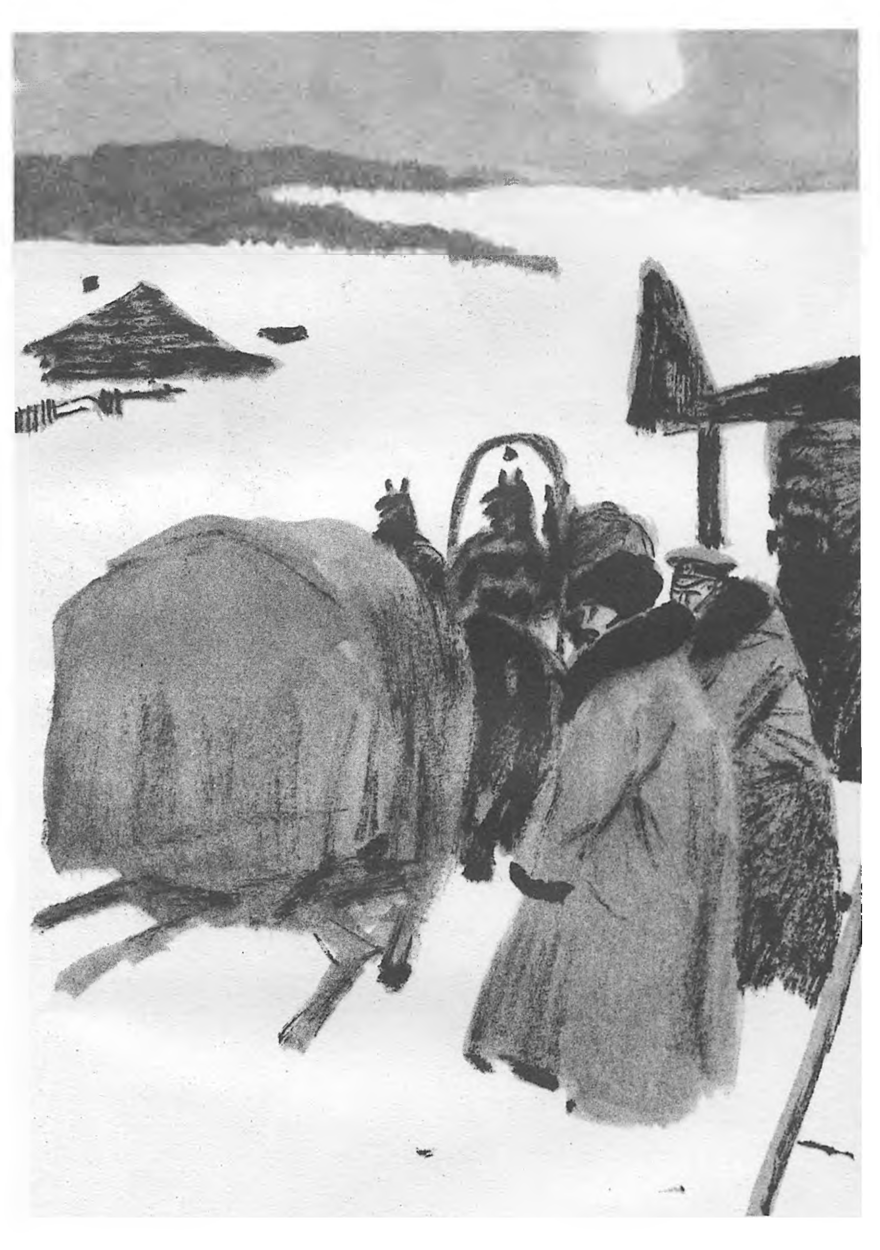
Он запнулся, слегка покраснел, кинул быстрый взгляд в ту сторону, где мелькала над грядками фигура Маруси... Она полола, и до нас опять долетало жужжание ее тихой песни. Степан некоторое время молчал, наткнувшись в рассказе на неожиданное препятствие. Мы не решались торопить его.

— Ну! — сказал он, наконец, тряхнув головой.— Что уж тут, сами понимаете: каторга не свой брат. Так уж... что было, чего не было... только в этот вечер пошел у них в камере дым коромыслом: обошли, околдовали, в лоск уложили и старшого, и надзирателя, и фершала. Старшой так, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба с нашим братом что может сделать... А тут о головах дело пошло... Притом же — сонного в хмельное подсыпали...

Он остановился и затем продолжал уже свободнее.

— А на дворе дождь... Так и хлещет, пылит, ручьи пошли. Мы эту погоду клянем в поле, а им самое подходящее дело. Темно. Дождь по крыше гремит, часовой в будку убрался да, видно, задремал. Окна без решеток. Выкинули они во двор свои узелки, посмотрели: никто не увидал. Полезли и сами... Шли всю ночь. На заре вышли к реке, куда им было сказано, смотрят, а там — никого!

Друзья-то, значит, сплоховали! Сошлись к вечеру у притонщика да, может, вспомнили, что теперь в лазарете делается. Ну, с горя хватили. Известно, слабость. Там



«АТ-ДАВАН»



«МАРУСИНА ЗАИМКА»

еще бутылочку... Захмелели, да так, подумайте, и проспали ночь!.. На заре прокинулись: в городе уже тревога, выйти нельзя!

Так они от них и потерялись. Этим ждать нельзя, тем нельзя выйти. Перешли они реку, пошли тайгой на милость божию. А мы на тот случай тоже от греха сошли с дороги, идем лесными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третий товарищ отстал: прошлогоднюю ягоду все искал под кустами. Догоняет он нас и говорит: «Послушайте, братцы, что я скажу вам: тут вот две женщины в тайге сидят и плачут».— «Что ты, бог с тобой, каким тут женщинам быть».— «Не знаю,— говорит,— только юбки на них серые, арестантские». Удивились мы, а тут смотрим: вышли и они на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только все-таки мы пошли, они за нами. И подойти боятся, и отстать страшно...

Мы идем, смеемся себе. Выбились на проселок. Дождь кончился, от нас на солнышке пар валит. Встретили сибиряка, трубочки закурили, потом сошли в овражек и сели. Они подошли, остановиться-то уж им неловко, идут мимо, потупились.

— Здравствуйте,— говорим,— красавицы.

— Здравствуйте.

— Кто вы такие будете?

— Поселки... Идем в такую-то волость.

И называют, действительно, волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: «Где же вы судились?» — «В Ирбите».— «А за что?» — «За бродяжество. От мужей».— «Ну, уж это, говорю, извините, неправильно. Ежели бы вы в Ирбите судились за бродяжество, то надо вам не на поселение, а в каторгу. В Камышлове—дело другое». Слово за слово, спутались они, заплакали. «Не обижайте, говорят, нас, господа!» — «Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаем мы так, что из-за вас была тревога. Как же теперь: хотите с нами дальше идти?» — «Нам, говорят, с вами вместе никак нельзя... Идите вы вперед, мы уж как-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какие-нибудь и могут нас наши друзья догнать...»

Пошли мы этак. Идем впереди трое, я и говорю: «Вот что, господа. Ежели придется так, что нам этих жен-

щин взять себе — как быть: их две, нас трое». Вот Иван, который после пристал, и говорит: «Берите себе, ребята, мне не надо. Мне и одному трудно, и годы не те. Не интересуюсь я. Они вместе шли, вы тоже вместе, вам и кстати. А я, может, отстану скоро». Справедливый был бродяга, нечего сказать.— Ну, это, говорим, хорошо. Без спору. Теперь нам двоим разбираться.— «Ты, говорю, товарищ, как хочешь?» — «Насчет чего?» — «Которую взял бы?» — «А ты?» — «Обо мне речь впереди. Говори сам».— «Ну, я, говорит, ту, которая повыше». Вот дело. Мне-то, признаться, Марья сразу в глаз пала...

Пошли. Они за нами идут. Конечно, дело женское. Нам и для них стараться надо. Запас вышел. В деревни, на заимки заходим, под окнами милостыню просим, кондаки эти тянем. Добываем и на себя, и на них. Чай станем варить — вместе сойдемся. Ночевать — уж они где-нибудь захоронятся... Шли этаким родом с неделю. Стали к Селенге подходить. Перевалили в одном месте через гору. Смотрим: на бережку люди сидят, дымок у них; видно, что бродяги, плот готовят, человек шесть. Вот Иван подозвал женщин и говорит: «Глупо вы это делаете: друзья ваши, может, попались, может, запили, след потеряли. Теперь, ежели в артель ничьи войдете, ведь это грех выйдет из-за вас. Хотите с этими людьми дальше идти — говорите». Ну, они, конечно, видят, что это правда. Со старыми друзьями дело рассохлось... Притом же, обзнакомились мы. Когда пошутим, когда посмеемся. Видят, что мы с ними по-благородному, не пьяницы, не буяны. Говорят: согласны.

Так мы и к артели этой пристали. Те нам рады: река быстрая, плыть трудно.

— А насчет женщин как же? — спросил мой товарищ.

— Что ж насчет женщин? — ответил Степан.— Пришли мы к ним уже не чужие... Притом же артель.

— Ну, в тюрьмах тоже артели,— сказал тот скептически.— Знаем мы артели ваши!

— Знаете, да видно, не всё,— несколько обиженно ответил Степан.— Конечно, в тайге, с глазу на глаз... Тут иной подлец из-за бродней товарища не пожалеет. Ну, что касается в артели, да если есть старики... Вы вот послушайте дальше. Тут, можно сказать, дело у нас по-

мудренее вышло, нивесть как и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

— Сгоношили мы немаленький плот,— рассказчик опять повернулся ко мне,— поплыли вниз по реке. А река дикая, быстрая. Берега — камень, да лес, да пороги. Плывем на волю божию день и другой, и третий. Вот, на третий день к вечеру, причалили к берегу, сами в лощине огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плывет что-то. Сначала будто бревнушко оказывает, потом ближе да ближе,— плотишко. На плоту двое, веслами машут, летит плотик, как птица, и прямо к нам.

— Здравствуйте, говорят.

— Здравствуйте.

— Можно к вашему огню присесть?

— Садитесь, если вы добрые люди.

— Мы, говорят, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали.

— Что же вам за надобность? Мы вас не знаем.

— Может, кто и признает... Все ли вы тут в сборе?

— Не все в сборе: две женщины, вот, по ягоды пошли.

— Ну, подождем. Придут они — мы свое дело скажем.

Посидели, поговорили о разном. О деле ни слова. Как тут глядим: идут и наши женщины из лесу. Только стали к берегу подходить, гляжу я: стала моя Марья как вкопанная. Лицо белее рубашки. Дарья посмотрела, только руками всплеснула.

— Ну, вот,— говорят гости,— спросите теперь у этих женщин,— знают ли они нас? Может, отрекутся.

Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мне ее другому, лучше не жить...

Дарья, посмелее,— вышла вперед и говорит:

— Не отрекаюсь. Вы с нами в партии шли, из тюрьмы вызволяли. Зачем потеряли?

— Мы потеряли, другие нашли. Чья находка? — говорит один, повыше.— Вас тут семеро, нас двое... Какая будет ваша правда? Посмотрим мы, а отступиться не согласны.

Я говорю: «Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь что будет». Ну, старики нас развели и говорят: «Вот что.

Вы, ребята, к нам недавно пристали, а тех и вовсе не знаем. Но как у нас артель, то надо рассудить по совести. Согласны ли? А не согласны,— артель отступится. Ведайтесь, как знаете...

Мы, делать нечего, согласились, те тоже. Стали старики судить, Иван с ними. Те говорят: «Мы с ними в партии шли. На майдане купили, деньги отдали, из тюрьмы вызволяли». Мы опять свое: «Верно, господа, так. А зачем вы их потеряли? Мы с ними, может, тысячу верст прошли не на казенных хлебах, как вы. По полсутки под окнами клянчили. Себя не жалели. Два раза чуть в острог не попали, а уж им-то без нас верно, что не миновать бы каторги».

Старики послушали наши споры, потом потолковали между собой и говорят нам:

— Все ли вы, ребята, с этими женщинами на поселении жить соглашаетесь, или дорогой идти, потом бросить?

Мы, конечно, говорим: согласны жить.

— Ну, так мы, дескать, вот как обсудили. Майдан теперь вспоминать не к чему. Это дело тюремное, на воле этот закон не действует. Из тюрьмы вы их вызволяли, так опять след потеряли от своей слабости. Опять это ни к чему. Ни на которую сторону не тянет. Спросим теперь самих женщин.

— Догадались все-таки! — усмехнулся мой товарищ.

— Это, конечно... правильно,— сказал Степан.— Ну, призвали женщин. Даша заплакала: «Ежели бы вы, говорит, след не потеряли. Мы сколько время шли с ними, они нас не обижали...» А Марья вышла вперед и поклонилась в пояс.

— Ты мне, говорит, в тюрьме за мужа был. Купил ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значит, охотой к тебе пошла... За любовь твою, за береженье, в ноги тебе кланяюсь... Ну, а теперь, говорит, послушай, что я тебе скажу: когда я уже из тюрьмы вышла, то больше по рукам ходить не стану... Пропил ты меня в ту ночь, как мы в кустах вас дожидались, и другой раз пропьешь. Ежели б старики рассудили тебе отдать, только б меня и видели...

Тот только потупился, слова не сказал. Видят, что дело их не выгорело. Один и говорит: «Я теперь в свою

волость пойду», а другой: «Мне идти некуда. Одна дорога — бродяжья. Ну, только нам теперь вместе идти нехорошо. Прощайте, господа». Взяли котелки, всю свою амуницию, пошли назад. Отошли вверх по реке верст пяток, свой огонек развели.

Долго я ночью не спал, на их огонек глядел. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердце у него нехорошо теперь. Если человек отчаянный, то, может, огонь у него горит, а он берегом крадется... Ну, однако, ничего. Наутро,— еще гор из-за тумана не видно,— мы уж плот свой спустили...

Он замолчал.

— Ну, а как же вы сюда-то вместе попали?

— Это уже дело проще. Зимовали у сибиряка в работниках. На другую весну опять пошли. Довел я ее до Пермской губернии. В Камышлове арестовались, показались на одно имя... Судят за бродяжество в каторгу, а за переполнением мест — в Якутскую область. В партии уже вместе шли, все равно муж и жена...

III. ПАХАРЬ-ТИМОХА

Долгий летний день все еще горел своим спокойным светом, только в воздухе чуялось постепенное охлаждение. Зной удалялся незаметно вместе с блеском и яркостью красок.

Степан предложил поохотиться на гусей. Мой товарищ согласился. Я отказался и пошел от скуки пройтись по лесу. В лесу было тихо и спокойно, стоял серый полумрак стволов, и только вверху играли еще лучи, светилось небо, и ходил легкий шорох. Я присел под лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня совершенно незаметно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бывает результатом усталости на свежем воздухе.

Меня разбудили чьи-то мелкие шаги. Между стволов мелькала фигура Марьи; в руках у нее был платок с завязанным в нем горшком и хлебом. Очевидно, она несла кому-то ужин.

Кому же? Значит, население этого уголка не ограничивается Степаном и Марусей... Есть кто-то третий.

И в самом деле, трудно было представить, что весь этот уголок разделан руками только двух человек. Для этого нужно было много упорного труда и своего рода творчества. Я вспомнил, каким тусклым и безучастным взглядом Степан смотрел на свои владения... Едва ли он играл в этом творчестве особенно видную роль. На всем здесь лежала печать Маруси, ее личности и ее родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крепкие мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурил еще папиросу и пошел в том же направлении, интересуясь этим неведомым третьим обитателем хутора.

Вскоре передо мной мелькнула лесная вырубка. Распаханная земля густо чернела жирными бороздами, и только островками зелень держалась около больших, еще не выкорчеванных пней. За большим кустом, невдалеке от меня, чуть тлелись угли костра, на которых стоял чайник. Маруся сидела вполоборота ко мне. В эту минуту она распустила на голове платок и поправляла под ним волосы. Покончив с этим, она принялась есть. С ней был еще кто-то, но за кустом мне его не было видно.

Один мой знакомый, считавший себя знатоком женщин, сделал шутливое замечание, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, с кем она охотнее ест. Это замечание внезапно мелькнуло у меня в голове при взгляде на спокойное лицо Маруси. С нами она была дика и неприступна; теперь в ее позе, во всех ее движениях сквозила интимность и полная свобода.

Мое положение невольного соглядатая показалось мне не совсем удобным, и потому, отступя несколько шагов по мягкому мху, я вышел на полянку в таком месте, где меня сразу могли заметить.

Мои подозрения рассеялись тотчас же, как только, приблизясь, я разглядел собеседника Маруси.

Это был человек, которому, даже при пылком воображении, трудно было навязать роль соперника удалого Степана. В то время как на последнем все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато,— работник весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений треух беззаботно покрывал его голову с запы-

ленными волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян. Возраст его определить было бы трудно: сорок, сорок пять, пятьдесят, а может быть, и значительно менее: это была одна из тех кряжистых фигур, покрытых как будто корою, сквозь которую не проступит ни игра и сверкание молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцветшие, полинялые от солнца и непогоды, едва выделялись на сером лице, и, только приглядевшись, можно было заметить в них искру добродушного лукавства.

Плохие якутские торбасишки он снял на время отдыха, и огромные ступни его торчали как-то нелепо из-под синих дабовых штанов.

— Хлеб-соль! — сказал я, кланяясь.

Он смотрел на меня несколько секунд, не отвечая, и потом сказал:

— Милости просим, хлеба кушать...

— Можно присесть?

— Садись, не просидишь места.

Маруся не обратила на меня никакого внимания. Незнакомец зачерпнул несколько раз ложкой из горшка и, еще рассмотрев меня с деловитым любопытством, спросил:

— Из каких местов будете? Рассейские?

Я назвал свою губернию.

— Это что же,— под Кеивом?

— Да.

— Далече же,— произнес он и, отложив ложку, перекрестился.— Спасибо, хозяйка.

— А вы откуда родом?

— Мы-то? Мы калуцкие.

— А здесь давно?

— Здесь-то... Да уж, как тебе сказать, годов десятка полтора будет.

— Давно! — вырвалось у меня невольно.

— А мне, так будто и недавно. Поживешь сам годов с пяток, а там и не заметишь... Объявляли, скажем, манифесты. Мне хоть сейчас, ступай куда хошь, хоть в Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мне опять вспомнился Степан, выбежавший из каторги, прошедший с Марусей всю Сибирь, и я с неволь-

ным жутким чувством посмотрел на этого человека, напоминавшего обомшелый пень, выкинутый волной на неприветливую отмель.

Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из пепелища горячий уголь, который, казалось, нисколько не жег его руку...

— Куда пойдешь? — сказал он, выпуская дым изо рта, и мне стало еще более жутко от этой безнадежности, потерявшей даже свою горечь...— Нет, брат, попал сюда, тут и косточки сложишь...

Он посмотрел на меня из-за клубов дыма, и какая-то мысль залегла где-то в неясной глубине его серых глаз.

— Этакой же вот Ермолаев был, когда мы с ним в дальном улусе встретились. Молодой... Я, говорит, здесь не заживусь... Не зажился: теперь уж борода седая...

И он опять посмотрел на меня.

— Вы это о каком Ермолаеве говорите? О Петре Ивановиче? — спросил я.

— Ну, ну, знакомцы, видно?

— Встречались.

Он откинулся спиной на пень и принял позу человека, наслаждающегося отдыхом.

— Да... жили мы с ним,— сказал он, вспоминая что-то.— Душевный человек. Ну! чудак... А не говорил он тебе про меня?

— Нет, не говорил...

— Про Тимоху-то?.. Как мы с ним в улусе землю зачали пахать?

— Нет, не говорил. А вы расскажите сами.

— Рассказать тебе?.. Пожалуй, еще не поверишь...

— Расскажи,— вдруг тихо и застенчиво вмешалась Маруся...

— Любит,— сказал Тимофей, усмехнувшись в сторону Маруси.— Все одно — сказку ей рассказывай...

Он затянулся махоркой, посмотрев кверху, где тихо качались верхушки лиственниц и плыли белые облака, и сказал:

— Да... и верно, что сказка. Поди, в нашей деревне тоже не поверят, какие народы есть у белого царя. Значит... пригнали меня в наслег, в самый дальной по округе. А Пётра-то Иваныч там уже. Сидит... в юртешке в махонькой, да книжку читает...

В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек.

— Ну, я, конечно, русскому человеку рад: «Здравствуйте, говорю, ваше благородие». Потому вижу: обличье барское. «Какое, говорит, я благородие. Такой же, говорит, жиган, как и вы».— Ну, это, говорю, спасибо на добром слове. А как вас величать? — «Пётра, говорит, Иваныч. А вас?» — А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дело мое мужицкое.— «Нет, говорит, не идет это...» Чудак!.. Так и пошло у нас: я ему — Пётра Иванович... А он мне: Тимофей Аверьянович!.. А генеральской сын... Ну, хорошо. Напоил меня чаем, потом сел на ороне, смотрит на меня. Я на него смотрю... «Что же, говорит, теперь мы с тобой, Тимофей Аверьяныч, делать будем?» — Не знаю, говорю, Пётра Иванович. Кабы так что лошадь, да соха, да семены,— землю бы пахать, чего боле! Да, вишь, нет ничего. Палкой ее не сковыряешь, песком не засеешь.— «Это бы, говорит, ничего. Об лошади дело малое, соху, пожалуй, тоже — хоть далеко,— достанем. Да я сроду не пахивал».— Это, говорю, ничего. Ты не умеешь, я умею. Уродит бог, оба сыты будем. Земли, слышь, много, земля, я поглядел, хороша.

В это время издалека донесся звук выстрела.

— Постреливает твой-то... хозяин,— сказал Тимоха с юмором, обратясь к Марусе. Мне показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тень.

— Ну,— продолжал Тимофей,— купил он лошадь, за сошником да лемехом за двести верст смахал. Сладил я соху, выбрали местечко под лесом. Здесь лес хороший, сладкий. У сосны, брат, прямо тебе скажу, никогда не паши, потому — сосновая игла едучая. А листвень много слаще... Поехал мой Пётра Иваныч за семенами к скопцам, а тут как раз и ударь дожжиком, да те-еплым. Снег-от мигом съело, пошла из земли трава. Так тебе и лезет, все одно на опаре. Ну, думаю: когда так, то, видно, зевать нечего. Помолился, да на зорьке выехал с сошкой... Налей-ка ты мне, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила в чашку густого кирпичного чаю, подала Тимофею и тотчас же уставилась в него своими странными черными глазами. Тимофей налил чай на блюдце и поставил на траву, рядом с собой.

— Побился я этот день порядочно,— продолжал он,— земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой: не то что на него надеяться: чуть зазевался, уж он норовит порскнуть в лес, да и с сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломал я его: руки вожжами мало из плеч не вытянул, а все-таки к вечеру с четверть десятины места отпластал Посмотрел на пашенку,— сердце в груди взыграло: значит, сподобил господь в пустыне пашенку поднять. Лежит моя полоска на взлобочке — бархат... Однако пора пришла и шабашить. Дело субботнее: в нашей, мол, деревне, пожалуй, уже и к вечерням ударили. И ведь вот, братец мой, чудесное дело: только я это подумал,— слышу,— и верно ударило. Раз, другой, третий... этак вот из-за лесу наносит,— звон, да и только. Снял я шапку лоб перекрестить, да вдруг и вспомнил: с нами сила крестная. Да ведь здесь и церквы-то верст, почитай, на пятьсот нету!..

Из груди Маруси вылетел долгий вздох.

— Ну, пошабашил все-таки, приехал домой. А изба наша, тебе сказать — юртенка, недалече была за перелеском, с версту не более от пашни. Подъезжаю,— а у моей юрты два вершные якута сидят. Лошадей к лесине подвязали, сами на бревне беседуют, дожидаются. Раньше тоже тут все вертелись. Я, значится, пашу, а они, ухастые, кругом рыщут да смотрят. Ну, мне будто ни к чему: не на разбой выехал, на пашню. Смотри, кому охота. Подъехал, честь честью, здороваются, я тоже. Зовут на муняк (сходка) к тойонше. Сказать вам по порядку, так была в нашем улусе за начальника баба, поихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну, язва! Все, значит, что мы ни делаем, ей известно. Я борозду кончил, другую веду, уж ей обсказали. И, значит, зовет меня к себе. Ладно, мне что: зовет, надо идти. Наутро, праздничное дело, рубаху чистую надел, иду к ней, потому все-таки, как бы там ни было, начальница считается. Прихожу. Кругом юрты лошадей навязано много. Сама на дворе сидит... Поклонился я, стал в стороне: что, мол, будет. Забалакали они по-своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потом зовет меня ближе.

— Ты, говорит, нюча (русский), чего это делать задумал?

— Ну, мол, известно чего: землю пашу. Значит, я ей говорю, по-своему, по-руськи, а старик якут переводит.

— Не моги, говорит, ты этого делать. Мы, говорит, хоть об этом заведении слыхивали, но, однако, в наших местах не дозволим.

— Как же я, говорю, не дозволите? Ежели нам земля отведена, то, стало быть, я ей хозяин, глядеть мне на нее, что ли?

— Землю, говорит, мы тебе отвели для божьего дела: коси, что бог сам на ней уродит, а портить не моги.

Вот и подумайте, какое ихнее понятие! Ну, однако, вижу, стоят кругом родовичи, ждут, что ихней бабе руський человек может от себя соответствовать.— Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому как бог велел трудиться.

— Трудись, говорит. Мы тоже, говорит, без труда не живем. Когда уже так, то согласнее мы тебе дать корову и другую с бычком, значит, для разводу. Коси сено, корми скотину, пользовайся молоком и говядиной. Только греха, говорит, у нас этого не заводи.

— Какой грех? — говорю.

— Как же, говорит, не грех? Бог, говорит, положил так, что на тебе, например, сверху кожа, а под ней кровь. Так ли?

— Так, мол, это правильно.

— Ежели тебе кожу снять да в нутро положить, а внутренность, например, обернуть наружу, ты что скажешь?

— Это, говорю, вы надо мной, руським человеком, не можете никак...

— А ты, говорит, что над землей-то делаешь? Вы, говорит, руськие люди, больно хитры,— бога не боитесь... бог, значит, положил так, что трава растет кверху, черная земля внизу и коренье в земле. А вы, говорит, божье дело навыворот произвели: коренье кверху, траву закапываете. Земля-те изболит, травы родить нам не станет, как будем жить? — Вот видишь ты, куда повернула! Говори ты с ними, с поганью. Если бы я грамотный был... После-то уж мне сказал священник: «Ты

бы, говорит, им от писания: в поте лица твоего снеси хлеб. А откуда хлебу быть, ежели землю не пахать». Видишь ты вот: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Так вот и я, на тот случай ничего не мог насупротив сказать, сбила меня колдунья словами. «Мне, говорю, с вами и говорить не надобно: потому вы не те слова выражаете... У вас свой климáт, значит, якутской, у меня климáт руськой Я от своего климáту не отстану, и Пётра Иваныч тоже». Признаться, вступило в меня в ту пору маленько, потому досада. Сердце загорелось, главное дело, что ответить не могу. Потолкал кое-кого порядочно, даром, что много их было. «Вот, говорю, подлецы вы, нечисть лесная! Сколько вас ни есть, выходи!» Известно, народ не хлебный: молоко да мясо, да рыба тухлая. А у нас с Пётром-то Иванычем хлеб все-таки не переводился. Хлебному человеку — десятерых на одну руку...

— Ну, и что же?

— Ну, порастолкал, ушел. Думаю так,— что жизни решусь, а от своего, значит, климáту не отступлюсь. Только бы Пётра Иваныч скорее вернулся. Пришел домой, лошадь напоил-накормил, богу на солнушко помолился, спать лег пораньше, топор около себя на случай положил... Ну, правду скажу: ночь без малого всю не спал: только задремишь,— почудится что-нибудь... будто крадется кто... Один ведь,— кругом лесище... притом еще, как все-таки окровянил я одного, другого, так как бы, думаю, по этому случаю греха не сделали... Концы тоже спрятать недолго. Приедет мой Пётра Иваныч, где, мол, Тимофей-то свет Аверьяныч мой... А Тимохи, ау! — и след простыл.

Он остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказ расшевелил Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнее... У каждого из нас есть свой выдающийся период в жизни, и теперь Тимофей развертывал перед нами свою героическую поэму.

Мой взгляд случайно упал на Марусю. Она как будто застыла вся в волнении и ожидании.

— В силу солнушка дождался,— продолжал Тимофей.— Ну, ободняло, выкатилось солнушко, встал я, помолился, лошадь напоил в озере, запрег. Выезжаю из-

за лесу, к пашенке... Что, мол, за притча: пашни-то, братцы, моей как не бывало.

Из груди Маруси вырвался долгий вздох, почти стон... Ее лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участие, и мне невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло об его похождениях среди варваров. Тимофей, с неожиданным для меня инстинктом рассказчика, остановился, поковырял в трубке и продолжал, затянувшись:

— С нами, мол, крестная сила! Где же пашня моя? Заблудился, что ли? Так нет: место знакомое и прикол стоит... А пашни моей нет, и на взлобочке трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому — шаманы у них, сам знаешь, язвительные живут, сила у дьяволов большая. Навешает сбрую свою, огонь в юрте погасит, как вдарит в бубен, пойдет бесноваться да кликать, тут к нему нечисть эта из-за лесу и слетается.

— Маты божая! — простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрел на нее, и его серые глаза еще больше заискрились...

— Сотворил я крестное знамение, подъезжаю все-таки поближе... Что ж ты думаешь: она, значит, бабища эта, ночью с воскресенья на понедельник народ со всего наслега сбила... Я сплю, ничего не чаю, а они, погань, до зари над моей полоской хлопочут: все борозды как есть дочиста руками назад повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а кореньем книзу. Издали-то как быть луговина. Примята только.

Маруся засмеялась. Смех ее был резкий, звонкий, прерывистый и неприятно болезненный. Несколько раз она как-то странно всхлипнула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ее лица, я понял, что все пережитое нелегко далось этой моложавой красавице. Тимофей посмотрел на нее с каким-то снисходительным вниманием. Она вся покраснела, вскочила и, собрав посуду, быстро ушла в лес. Ее стройная фигура торопливо, будто убегая, мелькала между стволами. Тимофей проводил ее внимательным взглядом и сказал:

— Э-эх, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда-ни-то, в самую глушь.

— Отчего? — спросил я.

— Поди ты! Нельзя смеяться-то ей. Как засмеется, то потом плакать. Об землю иной раз колотится... Порченая, что ли, шут ее разберет.

Я не мог разобрать, сочувствие слышалось в его тоне, сожаление или равнодушное презрение к порченой бабе. И сам он казался мне неопределенным и странным, хотя от его бесхитростного рассказа о полоске, распаханной днем, над которой всю ночь хлопочут темные фигуры дикарей, на меня повеяло чем-то былинным... Что это за человек,— думал я невольно: — герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?

Несколько минут я ворочал в голове этот вопрос, но ответа как-то ниоткуда не получалось. Только легкий протяжный и как будто мечтательный шорох тайги говорил о чем-то, обещал что-то, но вместо ответа веял лишь забвением и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядела на меня без всякого определения...

— Тимофей,— обратился я к нему после некоторого молчания.— Что же, после этого вы бросили хозяйничать?

— Где бросить. Нешто можно это, чтобы бросить... Спахали опять, заборонили, я ружьем пригрозил. Ну, все-таки одолели, проклятая сила. Главное дело,— заседателя купили. Перевели нас с Пётром Иванычем в другой улус, поближе к городу. Тут ничего, жили года два...

В глазах его опять засветился насмешливый огонек, и он сказал после короткого молчания:

— Потом разошлись. Не вышло, видишь ты, у нас дело-то. Я ему, значит, говорю: — Ты, выходит, Пётра Иванович, хозяин, я работник. Положь жалованье.— А он говорит: «Я на это не согласен. Мы, говорит, будем товарищи, все пополам».

— Ну, и что же? — спросил я с интересом.

— Да что: говорю,— не вышло.

Он поглядел перед собой и заговорил отрывисто, как будто история его отношений к Ермолаеву не оставила в нем цельного и осмысленного впечатления...

— Отдал Ивану телку... шести месяцев. Я говорю: — Ты это, Пётра Иванович, зачем телку отдал? — «Да ведь у него, говорит, нет, а у нас три».— Хорошо, я гово-

рю. Пущай же у нас три. Мы наживали... Он себе наживи! — Сердится! «Ты... говорит... мужик, значит, хресьянин. Должон, говорит, понимать». — Ну, я говорю, ты, Пётра Иванович, ученый человек, а я телку отдавать не согласен... — Ушел от него... К князю в работники нанялся...

— А за что вы сюда попали? — спросил я, видя, что этот предмет, очевидно, исчерпан.

— Мы-то? — Он взглянул на меня с оттенком недоумения, как человек, которому трудно перевести внимание на новый предмет разговора.

— Мы, значит, по своему делу, по хресьянскому. Главная причина из-за земли. Ну, и опять, видишь ты, склёка. Они, значит, так; мир, значит, этак. Губернатор выезжал. — Вы, говорит, сроки пропустили... — Мы говорим: «Земля эта наша, деды пахали, кого хошь спроси... Зачем нам сроки?» Ничего не примает, никаких то есть резонов...

— Жена, дети остались у вас на родине?

— То-то, вот видишь ты. Жена, значит, померла у меня первым ребенком. Дочку-то бабушка взяла. Мир, значится, и говорит: «Ты, Тимоха, человек, выходит, слободнай». Ну, оно и того... и сошлось этак-то вот.

Он, очевидно, не хотел вдаваться в дальнейшие подробности, да, впрочем, и без рассказа дело было ясно. Мир, бессильный перед формальным правом, решил прибегнуть к «своим средствам». Тимофей явился исполнителем... Красный петух, посягательство на казенные межевые знаки, может быть, удар слегой «при исполнении обязанностей», может быть, выстрел в освещенное окно из темного сада...

— Вы, значит, попали сюда за мир, — сказал я.

— То-то... выходит так, что за мир... Видишь ты вот.

— А мир вам не помогает в ссылке?

Он посмотрел на меня с недоумением.

— Мир-от? Да, я чаю, наши и не знают, где моя головушка.

— Да вы разве писем не писали?

— Я, брат, неграмотный. В Рассее писал мне один человек, да, видно, не так что-нибудь. Не потрафил... А отсель и письмо-то не дойдет. Где поди! Далеко, братец мой! Гнали, гнали — н-и, боже ты мой!.. Каки пись-

мы! Этто годов с пять, человек тут попадал, от нашей деревни недальной. «Скажите, говорит, Тимофею, дочку его замуж выдали...» Правда ли, нет ли... Я, брат, и не знаю. Может, зря.

Он сидел рядом со мной, завязывая обувь, и говорил удивительно равнодушно... Я глядел на него искоса, и мне казалось только, что его выцветшие от зноя и непогод серые глаза слегка потускнели. Некоторое время мы оба помолчали. Думал ли он о далекой родине, о дочке, вышедшей неведомо за кого замуж, о мире, который не знает, где теперь «слободный человек», Тимоха, пострадавший за общее дело. Может быть, теперь никто, даже родная дочь, не вспоминает о нем в родной деревне, где такие же Тимохи в эту самую минуту тоже ходят за своими сохами на своих пашнях. И кто-нибудь пашет полоску Тимохи, давно поступившую в мирское равнение, как выравнивается круг на воде от брошенного камня... Был Тимоха, и нет Тимохи... Только разве у старухи матери порой защемит сердце и слеза покатится из глаз. И то едва ли: старуха, пожалуй, на погосте...

— То-то,— сказал он, помолчав.— Грешим, грешим... А много ли и всего-то земли надо? Всего, братец, три аршина.

Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, земля землей, грех грехом, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не состояла...

И опять смутный звон леса затянул для меня все более определенные впечатления.

— Так и живете все? — спросил я через несколько минут.

— Так вот и живу в работниках на чужедальной стороне.

— Неужто нельзя было во столько времени устроить своего хозяйства?

Он почесал в голове.

— Оно, скажем, того... Просто сказать тебе... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имею. Денег нет, оно и ничего. А с деньгами-то горе...

Он виновато улыбнулся.

— Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего надо купит... Не обидит... Не баба — золото! — прибавил он,

внезапно оживляясь.— Даром, что порченая... Кабы эта баба да в другие руки...

— А Степан?

— Что Степан! Вон, слышь, постреливает. На это его взять. Птицу тебе влёт сшибет, на озере выждет, пока две-три в ряд выплывут,— одной пулькой и снижет... Верно!

Он засмеялся, как взрослый человек, рассказывающий о шалостях ребенка.

— Ухорез, что и говорить. За удальство и сюда-те попал. С каторги выбежал, шестеро бурят напали,— сам-друг от них отбился, вот он какой. Воин. Пашня ли ему, братец, на уме? Ему бы с Абрашкой с Ахметзяновым стакаться — они бы делов наделали, нашумели бы до моря, до кияну... Или бы на прииска... На приисках, говорит, я в один день человеком стану, все ваше добро продам и выкуплю... И верно,— давно бы ему на приисках либо в остроге быть, как бы не Марья.

Он помолчал и через некоторое время прибавил тише:

— Венчаться хочут... Все она, Марья, затевает. Они, положим, по бродяжеству вроде как венчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лице, и он продолжал:

— Круг ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты, недостаточно, желает у попа.

— Да ведь он бродяга!

— То-то и оно: непомнящий, имени-звания не объясняет. Она то же самое. Ну, да ведь... не Рассея. Знаешь сам, какая здесь сторона. Гляди, за бычка и перевенчает какой-нибудь.

Он неодобрительно вздохнул и покачал головой.

— А все Марья... Не хочется как-нибудь, хочется по-хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у вас не выдет... Хошь венчайся, хошь не венчайся, толку все одно ничего!.. Слышь, опять выпалил...

— А вы, Тимофей, не любите Степана,— сказал я.

Он как будто не понял.

— Что мне его любить? Не красная девушка... По мне, что хошь... Хошь запали с четырех концов заимку...

И, окончив обувание, он встал на ноги.

— Нутра настоящего нет... человек не натураль-

ный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортит. Дюжой, дьявол! Ломит, как медведь. Потом бросит, умается... Ра-бот-ник!

Он понизил голос и сказал:

— Этто Абрашка-татарин приезжал. Она его ухватом из избы... А потом поехал я на болото мох брать, гляжу: уж они вдвоем, Степашка с татарином, по степе-то вьются, играют... Коней менять хочут. А у Абрашки и конек-то, я чаю, краденой.

Через несколько минут он уже ходил за сохой, внимательно налегая на ручку.

— Ну, ну, не робь,— поощрял он лошадь,— вылазий, милая, копайся... Н-нет, вр-решь,— возражал он кому-то, с усилием налегая на соху, когда какой-либо крепкий, не перегнивший корень стремился выкинуть железо из борозды. Дойдя опять до меня, он вдруг весь осклабился радостной улыбкой.

— Пашаничку на тот год посеем. Гляди, кака пашаничка вымахнет... Земля-то — сахар!

Он весь преобразился. Очевидно, в этой идее потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами... И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи.

У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая лиственница. Несколько лет назад деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападению: вероятно, какой-нибудь враг положил свои личинки в сердцевину,— и рост дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затем, после нескольких лет борьбы, тонкий ствол опять выпрямился, и дальнейший рост шел уже безукоризненно в прежнем направлении: внизу опадали усохшие ветки и сучья, а вверху, над изгибом буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мне показалось, что я понял тихую драму этого уголка. Таким же стремлением изломанной женской души держится весь этот маленький мирок: оно веет над этой полу-малорусской избушкой, над этими прозябаю-

щими грядками, над молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей (березы здесь редки — и ее, вероятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигает вечного работника Тимоху и сдерживает буйную удаль Степана.

IV. БЕЛАЯ НОЧЬ

Матово-белая, свежая ночь лежала над лугами, озером и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытом сеновале.

— Вы не спите? — спросил меня товарищ.

— Недавно проснулся.

— Ничего не слыхали?

— Нет, а что?

— Мне показалось, будто кто плакал. Вероятно, хозяйка.

— Может быть, вам почудилось?

— Едва ли. Этот Степан, должно быть, жох. Как по-вашему?

— Вы с ним были дольше, чем я. Я только и слышал его рассказ.

— Бродяжья идиллия,— сказал он саркастически.— Вы уже, конечно, записали... Хотел бы я знать, есть ли тут хоть слово правды!

— Отчего же?

— Ну, да я знаю: у вас они все «искру проявляют». Вот и этот еще тоже с искрой, должно быть.

Он приподнялся и посмотрел на лежавшего рядом Тимоху, который, забившись лицом в сено, храпел и вздрагивал, точно в агонии. Очевидно, этот храп не давал спать моему товарищу и, кажется, разбудил и меня. Должен сознаться, что и в позе Тимохи и в его богатырском храпе мне тоже чудилось в эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, как будто насмешка над нашей нервной деликатностью.

В тоне моего товарища я уловил знакомую ноту. Пустынные места и постоянное ограниченное общество, вне родственных и живых интересов развивают особое, болезненное настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только навстречу разнообразию среды: без этого она застаивается и тускнеет. В таком

настроении бородавка на щеке постоянного товарища, знакомый тон его голоса, слишком хорошо известные мнения вызывают глухое нерасположение, даже злобу. Припадки глубокой ипохондрии — специфическая болезнь пустынных мест,— и мы, по взаимному договору, старались не тревожить друг друга в такие минуты.

Поэтому, не отвечая ни слова на саркастические замечания товарища, в другое время относившегося к людям с большим добродушием и снисходительностью, я сошел с сеновала и направился к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело поворачивались к воде, над которой, выжатая утренним холодком, висела тонкая пленка тумана. Утки опять сидели кучками на середине озера. По временам они прилетали парами с дальней реки и, шлепнувшись у противоположного берега, продолжали здесь свои ночные мистерии...

Я пустил лошадей к воде. Обе они вошли в озеро по грудь и пили с жадностью, порой разбрызгивая воду, как бы сознательно наслаждаясь ее изобилием. По временам они подымали морды и начинали прислушиваться к чему-то в тишине белой ночи. Я тоже невольно вслушался. Из-под тихого шелеста тайги чуть внятно проступал какой-то протяжный далекий звон... По мере того, как чуткое ухо ловило его яснее, он принимал все более определенные, хотя и призрачные формы: то будто мерно звенел знакомый с детства колокол в родном городе, то гудел фабричный свисток, который я слышал из своей студенческой квартиры в Петербурге... А за ними вставал целый ряд таких же призраков-звуков, странно тревоживших душу каким-то щемящим очарованием.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и вздыхала. И вдруг какое-то жуткое по своей определенности ощущение — бессознательный вывод из накопившихся впечатлений — встало в моем воображении... Что слышится обитателям этого угла в голосах пустынной ночи или когда кругом завоет зимняя метель? Какие призраки шлет им эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зовет их, к чему она их манит, что обещает? Удастся ли Марусе удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или прав лаконический Тимоха со своими пессимистическими предсказаниями: все

это не настоящее, раз сломанной душе уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолеет ее усилия?..

В избушке скрипнула дверь. На пороге показался Степан. Он постоял несколько секунд, посмотрел на небо, потом лениво пошел в лес, захватив предварительно узду. Через несколько минут послышался резкий топот, и Степан выехал из лесу на буланом жеребчике. Лошадь бежала как-то капризно и резво; подъехав к берегу озера, Степан спрыгнул на бегу и, напоив коня, привязал его к городьбе. Когда затем он опять подошел к берегу, глаза его были тусклы, точно чем-то завешены. Он остановился и стоял над водой молча и неподвижно. Вероятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Через минуту он вздрогнул, как будто от холода...

— Свежо! — сказал я, чтобы привлечь его внимание.

Он оглянулся, но как будто даже не сразу заметил меня. Потом так же машинально подошел и сел рядом со мной на бревне. Мне показался он странным, как будто даже больным. Вчера в нем было заметно оживление человека, потянувшегося навстречу новому знакомству. Теперь он покорно, без мысли отдавался какому-то внутреннему настроению...

По верхушкам леса потянулся гул от предутреннего ветра... Деревья сначала заговорили глубоким хором, потом гул рассыпался на отдельные голоса, пошептался и начал стихать.

Степан повернулся в сторону леса, как только что на мой оклик.

— Ветер,— сказал он с тем же малоосмысленным выражением и вдруг посмотрел на меня взглядом, полным глубокой тоски.

— Мочи нет,— сказал он с приливом внезапной откровенности.— Поверите, никакой возможности моей...

— Что же такое, Степан? — спросил я с невольным участием.

— Выйдешь на озеро... все эта тайга шумит... Кругом пусто... Да еще вот эти проклятые.

С неожиданной яростью он схватил ком сухой грязи и кинул в туман, лежавший над озером. Там, точно сквозь матовое стекло, виднелись неясные, увеличенные

контуры птиц. Когда комок шлепнулся среди них, в туманной дымке слегка зашевелились грузные очертания...

Однако резкое движение и плеск на озере, по-видимому, несколько привели его в себя. Он сел опять и опустил голову на руки.

— Трудно здесь жить, господин...

— Ну, что ж, Степан. Вам бы и в самом деле на прииски.

— Маруся не идет.

— Ну, вы бы на зиму уходили, а летом опять сюда... Зарабатывали бы там, и в хозяйстве подспорье. А здесь Маруся с Тимофеем справятся.

Он повернулся ко мне и долго глядел в глаза, как будто что-то выпытывая.

— Нет, господин.. Это нельзя... Это уже значит... кончено...

Потом, помолчав, он спросил:

— А вы Тимофея откуда знаете?

— Вчера был у него на расчистке.

— И Марья там была?

— Была.

— Ну-ну! Вы не глядите на него, на Тимофея. Парень не простяк...

И опять ко мне повернулись светлые глаза на еще более потемневшем лице. В них теперь ясно проступило выражеиие ненависти. Я подумал, что это та же знакомая нам болезнь пустынных мест и ограниченного общества... Только враждебные чары пустыни произвели уже более глубокие опустошения в буйной и требующей сильных движений душе. В эту минуту из троих обитателей заимки к настроению Степана я почувствовал наиболее близости и симпатии.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потом неуклюжая фигура Тимохи сползла по лестнице с сеновала. Маруся принялась доить коров, Тимоха запряг лошадь и привез к огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимке начинался день... Небо над верхушками гор слабо окрашивалось, но мы находились еще в длинной тени, покрывшей всю равнину... Кроме того, по небу развесилась тонкая подвижная пелена тумана...

Часа через полтора мы выехали с заимки втроем.

Степан ехал с нами. У его седла висели большие кожаные переметы,— очевидно, его путь был не близок. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доехав до проезжей дороги, он указал нам наше направление, а сам повернул к реке. Через некоторое время мы увидели на другой стороне ее небольшую темную точку, подымавшуюся по меловым уступам крутого берега.

— Зачем это его понесло за Нелькан? — задумчиво спросил мой товарищ.

— А вы знаете, что он поехал туда?

— Да. Говорит — к попу. Врет, должно быть! Какие у него дела с попами? Правду сказать, подозрительна мне вся эта идиллия.

— Думаю, что вы ошибаетесь,— сказал я, не вступая, однако, в спор. Мне вспомнились слова Тимофея о желании Маруси. В той стороне, куда ехал теперь Степан, лежали дальние якутские улусы, а затем — тунгусская пустыня, в которой нет ни церквей, ни приходов в нашем смысле. Кое-где только, в тайге, стоят наглухо заколоченные часовенки, открывающиеся к редким приездам священников. Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых давно истлели в земле. Удаленность от епархии и постоянные узаконенные обычаем отступления от канонических правил делают их особенно снисходительными к разного рода формальным препятствиям, и я догадался, что, вероятно, Степан направляется к такому попу, прикочевавшему, быть может, к границе своего огромного прихода, чтобы удовлетворить заветному желанию Маруси.

Скоро темная точка на горной тропе исчезла... Наши лошади бежали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву с луговыми цветами...

V. ВОЙНА

Я ничего не узнал о результате переговоров Степана с попом.

Степан и Марья были два раза в слободе и останавливались у нас, как уже знакомые. Степан оживлялся на

людях, Маруся была по-прежнему молчалива и необщительна. Год выдался плохой, хлеб во многих местах побило ранними заморозками, но у Маруси все уродилось хорошо. Ее огурцы, которые она солила каким-то особенным способом, пользовались известностью даже в городе, и случалось — за ними приезжали нарочные казаки за полтораста верст. Этому не следует удивляться: расстояния совсем не пугают в этих дальних, редко населенных местах. Один американский путешественник по Сибири с удивлением рассказывал в своей книге, как однажды около Колымска его нагнал посланный губернатором казак, чтобы почтительно вручить ему портсигар и круг мороженого масла, забытые им на станции в Якутске. А от Якутска до Колымска более полуторы тысяч верст!

Впрочем, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить их приискателям. Дела свои она вела спокойно, деловито и твердо.

— Кремень баба! — говорил о ней торговец, причем в тоне его слышалось благоволение к красивой смуглянке и уважение к хорошей хозяйке.

Степан без особого дела бродил по слободе, заходил к татарам и прицценивался к лошадям, делая вид, что хочет выменять своего буланка. Иной раз он возвращался к ночи чуть-чуть навеселе, но не пьяный. Вообще я присматривался к своим гостям и спрашивал себя с удивлением: неужели то, что мелькнуло передо мной в белую ночь на дальнем озере, — только моя фантазия?..

Между тем, незаметно подходила осень. Уже с августа утренники крепко стискивали землю. К середине дня она едва успевала оттаять под косыми лучами солнца, как уж с ранних сумерек ее опять начинало приморaживать. Воздух был чист и прозрачен, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной земле...

В один из таких дней телега Маруси и Степана опять остановилась у наших ворот. День был холодный и ясный, кроме того, была суббота, и на улице виднелись кучки татар. Прямо против нашего двора, на завалинке, сидел мой сосед, татарин Абрашка, тот самый, которо-

го Маруся выпроводила от себя ухватом. Он был навеселе и как-то иронически окликнул Степана, когда тот стал снимать жерди наших ворот. В татарской фразе мне послышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчание. По ее лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, белокурые усы и брови выступили резко и неприятно. Он ничего не ответил и стал вводить лошадь в открытую городьбу.

Абрашка громко засмеялся. Его поддержали сидевшие рядом соседи.

Абрам Ахметзянов был человек в своем роде замечательный. Как сам он, так и его жена Гарифа, которую, впрочем, в слободе называли Марьей, совсем не были похожи на монголов. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но с мягкими правильными чертами, и большие, ласкающие, добрые глаза... Она же представляла из себя типическую русскую красавицу, несколько располневшую, с бойким и, что называется, «бедовым» взглядом. Абрашка любил ее до безумия, но про нее говорили, что она нередко ему изменяла. Однажды ночью, вернувшись неожиданно домой, он зачем-то стрелял около своей юрты. Говорили на другой день, что меховая шапка некоего Абдула Сабитуллина оказалась простреленною дробинами и что только густо вышитая тюбетейка спасла его лысую голову. Сабитуллин был богатый старик... Некоторое время он опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды последний, неожиданно встретясь с ним на улице, кинулся на него, как кошка. Старого Абдула едва вырвали из рук исступленного Абрашки. Но я видел Абрама и Марью на третий день после выстрела: она держала себя с таким же сознанием своей опьяняющей, чувственной красоты, а он смотрел на нее таким же покорно влюбленным взглядом.

Он пользовался репутацией самого отчаянного головореза и ловчайшего вора. Я долго не хотел верить этому. Он был нашим ближайшим соседом и нередко оказывал мне и моим товарищам соседские услуги. При этом в глазах его светилось такое простодушное расположение, что я не мог примирить с этим молву об его подвигах. Только однажды, после какого-то нового двусмыс-

ленного происшествия с Марьей, он сильно пил несколько дней и пришел ко мне под вечер возбужденный и несколько дикий.

Некоторое время он сидел на лавке, глухо стонал, покачивался и глядел перед собой мутным взглядом. Потом вгляделся в меня и, как будто узнавая, где находится, сказал:

— А! вот это я у кого. Так! Слушай, русский, что я тебе буду говорить.

— Говори, Абрам, что тебе нужно?

— Уезжаете вечером... приезжаете ночью... Дом бросаете пусто...

— Так что же?

— Тронули у вас что-нибудь татаре?

— Нет, не тронули.

— Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, брат, с Абрашкой!..

— Нет, Абрам,— ответил я по возможности спокойно.— Водки я не поставлю.

— Почему не поставишь?

— Ты сам знаешь: мы к вам водку пить не ходим. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться от вас мы не станем.

В глазах Абрама промелькнуло сознание.

— Что ты! Брат! — сказал он как-то страстно.— Неужто, сохрани бог, я за этим. Абрам Ахметзянов не каплюжник... Пьян только Абрашка. Сердце загорелось... водки надо... много водки надо... А Марья, брат, не дает...

Последнюю фразу он произнес каким-то жалким шепотом. Потом, внезапно поднявшись, он подошел ко мне, положил руку мне на плечо и, крепко сжав его, наклонил ко мне свое пылающее лицо. Глаза его были такие же добрые, только стали как будто больше и искрились почти восторженно...

— Что вы за люди? — сказал он.— Я не знаю, что вы за люди... А я вот какой человек... Ах, бр-рат!.. Ежели бы мне не Марья... давно бы я себе каторгу заработал!

Я был поражен глубиной и непосредственностью этого восклицания. Тут была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая уверенность, что каковы бы там ни были еще люди и взгляды, все-таки наиболее

стоящий человек тот, кто смело носится по самым крутым стремнинам жизни... Только оступись... попадешь прямо на каторгу.

Только в эту минуту я понял настоящим образом Ахметзянова со всей его «невинной» преступностью,— право, я не подыщу тут другого слова... С этими взглядами Абрам вырос и сжился. Он чувствует в себе силы для крупной роли в родной сфере, а между тем, приходится тратить их на мелкие подвиги баранты и воровства в то время, как его имя могло греметь наравне с именами Никифорова и Черкеса — весьма известных в те годы на Лене спиртоносов и хищников золота... Я понял также, почему Тимоха ставил имя Степана рядом с Абрашкой... В жизни обоих «бабы» играли почти одинаковую роль, и, как это часто бывает, Абрам Ахметзянов презирал Степана за то самое, за что, вероятно, презирал и себя...

В этот самый день Степан все-таки зашел к Ахметзянову, который занимался корчемством. Ушел он туда в отсутствие Марьи. но она вернулась от торговца раньше. В лице ее я заметил какое-то нервное беспокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся к нам глухой смешанный шум.

Я вышел на двор и увидел Степана. Необыкновенно возбужденный, он быстро шел от избы Абрама. Видимо, он сейчас выдержал свалку с кучкой татар, которые скалили зубы и смеялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, он обернулся и погрозил кулаком.

— Посмеетесь вы у меня, погодите! — бормотал он, уже войдя в наш двор и не обращая внимания на меня.

Не заходя в избу, он вывел плохо отдохнувшую лошадь и стал запрягать ее в телегу.

— Куда вы так торопитесь, Степан? — спросил я.

— Надо домой... Только вот как бы снег не застиг.— Он глазами указал на небо.

Я тоже взглянул кверху. Едва перевалив через цепь отлогих холмов на северо-западе,— к нам ползло тяжелое свинцовое облако. Оно было громадно и странно своим одиночеством на холодном и ясном небе. Вверху резко отграниченное, точно спина огромного животно-

го, внизу оно спустило несколько темных отростков, которые тихо, зловеще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннее,— облако ползло совсем низко над землей, вздрагивая, как будто теряя силы в своем полете и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него внимание. В юртах хлопали двери, люди выбегали с любопытством или тревогой. Впрочем, аборигены смотрели на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и переговаривались громко и тревожно. Полусумасшедший киргиз, живший невдалеке, прицелился из ружья и выстрелил...

Облако, все так же вздрагивая, как будто с напряжением, раскинулось уже над крайними юртами слободки. Все кругом потемнело и потускло. Все притихли, когда над нашими головами, тихо волнуясь и шевеля мглистыми отростками, темно-свинцовое, с опаловыми просветами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задеть за крыши притихшей слободки... Через несколько минут оно пронеслось над рекой. Плотные очертания тучи закрыли оскалины и леса́ горного берега... Когда туча исчезла за гребнем,— на уступах, точно нарисованные гигантскою кистью, белели густые полосы снега...

Я очнулся точно после странного сна... Над слободкой опять играли последние лучи скупого осеннего солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значение странного явления. В дверях нашей избы стояла Маруся с омертвевшим, испуганным лицом... Она опять показалась мне постаревшей и изменившейся... Увидев, что Степан запряг лошадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, как будто болезненно стыдясь показать свое лицо, вышла из избы и села в телегу.

Я попробовал было остановить их. Мой товарищ на время уехал, в юрте было довольно свободно, а я чувствовал себя одиноким, но Степан отказался наотрез.

— Нет, господин! — сказал он, выводя лошадь.— Теперь начнутся метели, пора пойдет темная... А я, кстати, с татарами тут расплевался...

Он ударил лошадь и, проехав по широкой улице, спустился с луга. Там мне еще некоторое время виднелась телега с двумя темными фигурами, постепенно утопавшими в сумерках...

А пора, действительно, начиналась темная. Осень круто поворачивала к зиме; каждый год в этот промежуток между зимой и осенью в тех местах дуют жестокие ветры. Бурные ночи полны холода и мрака. Тайга кричит не переставая; в лугах бешено носятся столбы снежной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вместе с темнотой, с бурями и метелью в слободе и окрестностях водворилась тревога.

Почти половину населения слободки составляли татары, которые смотрели на этот сезон с своей особой точки зрения. Мерзлая земля не принимает следов, а сыпучий снег, переносимый ветром с места на место,— тем более... Поэтому, то и дело, выходя ночью из своей юрты, я слышал на татарских дворах подозрительное движение и тихие сборы... Фыркали лошади, скрипели полозья, мелькали в темноте верховые.. А наутро становилось известно о взломанном амбаре «в якутах» или ограблении какого-нибудь якутского богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Один мой приятель, полуякут Сергей, знакомивший меня на первых порах с особенностями местной жизни, так характеризовал взаимные отношения слободы и ее окрестностей в это темное время:

— Война! Татар у джякут воровай, джякут у татар воровай... взад вперед.

Но в сущности полной взаимности в этих отношениях не было. Якуты — народ мирный и робкий: они старались только защищаться. Правда,— стоило татарской лошади забежать в улус, подальше от слободы, и она тотчас же попадала в якутский котел на общую пирушку. Но в остальном якуты ограничивались защитой, почти всегда неумелой и трусливо-наивной. Их одинокие, разбросанные юрты переживали весь ужас беззащитного ожидания. Проезжая иной раз ночью по наслежным дорогам, можно было услышать вдруг отчаянные вопли, точно где-то режут сразу несколько человек. Это население юрты, в которой две или три семьи сошлись на дол-

гую холодную зиму, предупреждало неведомого путника, едущего мимо по темной дороге, о том, что они не спят и готовы к защите. Только эти угрозы производили скорее впечатление испуга, почти мольбы. Порой за ними следовали беспорядочные, такие же испуганные выстрелы в воздух. Все это, разумеется, было только на руку предприимчивым и смелым татарам, выжидавшим, пока якуты настреляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу...

А осень все злилась, снег все носился во тьме, гонимый ветром, стучал в наши маленькие окна, и кругом нашей юрты по ночам все слышалось тихое движение то в одном, то в другом татарском дворе. Мой верный Цербер, которого я брал к себе в юрту из чувства одиночества, то и дело настораживал уши и ворчал особенным образом,— как природные якутские собаки ворчат только на татар или поселенцев...

Я чувствовал себя, в своей юрте на отшибе, в своеобразном положении, точно на островке, кругом которого в мглистом туманном море кипела своеобразная деятельность пиратов. Порой я догадывался, кто именно из моих добрых соседей выезжает «в якуты» на промысел или в лес с добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мне закипало глухое негодование...

Однажды в слободу, занесенные снегом, постукивая перед собой палками, вошли слепые старик со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившие по богатым якутам и зарабатывавшие пропитание помолом зерна на ручных мельницах, на каких, вероятно, мололи еще рабыни Одиссея. Такая мельница есть в каждой якутской юрте. На стойке, в половину человеческого роста, укреплен неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходит над ним на железном стержне и цевке. Длинная палка, одним концом укрепленная у потолка, другим может вращать верхний камень. Человек вертит ею жернов, засыпая горстью зерна в отверстие. Камни тихо и скучно жужжат, мука медленно, почти незаметно струится на стол кругом жернова. За помол пуда платят от пятнадцати до двадцати копеек.

Этой работой старики долго копили деньги и, наконец, купили себе теплые шубы и одеяла в виде мешков

на зиму и на старость. Это была для них настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видел, как летом они выносили свои сокровища и вытряхивали из них пыль. Разложив их на земле, старик нащупывал левой рукой место, а правой ударял гибким прутом. По инстинкту слепого, он редко ошибался, но все-таки порой удар попадал по кисти... Потом он передвигал руку и ударял рядом... Эту же работу старики исполняли у других, когда не было помола.

Теперь они шли по улице, озябшие и несчастные. Слезы текли из слепых глаз старухи и замерзали на лице. Старик шел с какой-то горестной торжественностью и, постукивая палкой по мерзлой земле, поднимал лицо высоко, как будто глядя в небо слепыми глазами. Оказалось, что они шли «делать бумагу» в управе. В эту ночь из амбара якута, у которого они зимовали, украли их сокровища, стоившие нескольких лет тяжкого труда...

Выходили слобожане, выходили татары и смотрели на эту чету и слушали переходивший из уст в уста рассказ. Абрам тоже стоял у своих ворот и смотрел на стариков своими добрыми ласкающими глазами.

— Здравствуй,— окликнул он меня,— что идешь мимо, не говоришь?

Я как-то невольно повернулся и подошел к нему вплоть.

— Слушай, Абрам,— сказал я.— Хорошо это?

Он посмотрел немного вкось и ответил обычным ласковым голосом:

— Брат! Не я ведь это сделал.

И потом, поглядев вслед старикам, он прибавил задумчиво:

— Видно, положили свое добро с хозяйским вместе...

— Не отдадите ли теперь? — усмехнулся я желчно...

Абрам не сказал ничего. Но через несколько дней он как-то встретился мне на улице. С ним рядом шел незнакомый татарин, длинный, как жердь, и тощий, как скелет. Поравнявшись со мной, Абрам, под влиянием какой-то внезапной мысли, вдруг шагнул в сторону и очутился передо мной.

— Слушай, теперь я тебе буду говорить,— сказал он.— Вот этого татарина пригнали в наслег. Жена по-

мерла дорогой... четверо детей... ничто нет... голодом сидели, топиться нечем...

— Правда! — глухо сказал высокий татарин и мотнул головой. Но мне не нужно было его подтверждения: голод и застывшее отчаяние глядели у него из глубины впалых глаз, а от темного лица веяло каким-то смертельным равнодушием.

— Просил, кланялся на собрании... Наконец принес детей в управу и кинул, как щенят: делайте, что хотите. Хошь, говорит, бросьте в воду...

— Сама сюда гулял,— пояснил татарин.

— Понял ты мое слово? — спросил Абрам, глядя на меня загоревшимся, пылающим взглядом. Я понял, что это ответ на мой упрек по поводу стариков и что в слободе прибавился еще один предприимчивый человек.

Но это было, как я сказал, несколько дней спустя. В тот вечер я возвращался домой весь еще под впечатлением слепого горя обокраденных стариков. Ночь спускалась ненастная и бурная. Кругом юрты все гудело, над крышей отчаянно бился хвост искр и дыма, которые ветер нетерпеливо выхватывал из трубы и стлал по земле. На втором дворе, куда я пошел, чтобы дать лошади сена, мой Серый метался, как бешеный. Сначала и от меня он кинулся в испуге, но потом подошел, храпя и вздрагивая, и положил мне голову на плечо. Он стриг ушами и в испуге прислушивался к протяжному крику тайги, налетавшему с темных холмов и ущелий.

А кругом бесновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся с холмов за реку... Слобода притаилась под метелью, как вообще привыкла притаиваться под всякой невзгодой. По временам только среди белого хаоса мелькал вдруг сноп искр из трубы или в прореху метели открывалось и опять исчезало смиренно светившееся оконце...

Я начинал понимать в эту минуту настроение наших деревень, то смиренно выносящих непокрытую наглость любого молодца, освободившегося от совести и страха, то прибегающих к зверскому самосуду толпы, слишком долго испытывавшей смиренный трепет... Половина слободки держит в таком трепете не только другую, бо̀льшую половину, но и все окрестности. И вот теперь, в эту

метель, то в той, то в другой юрте робко скрипит дверь,— хозяева осторожно выглядывают,— что это стучит у амбара, грабитель или непогода? А где-то плачут двое обездоленных стариков, и на много верст кругом раздаются бессмысленные вопли и не менее бессмысленные выстрелы запуганных людей... И я стою здесь среди метели... Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу. И казалось мне, что нигде, во всем этом, затянутом метелью, беззащитном мире нет никого, кто встал бы смело и открыто за свое право... Те, казалось мне, кто хотел бы что-нибудь сделать,— неумелы, бессильны, малодушны. А те, кто могут,— не хотят... Каждый только дрожит за себя, и нет никого, кто бы понял, что его дело — часть общего дела...

С этими мыслями я вернулся в свою юрту, но не успел еще раздеться, как моя собака беспокойно залаяла и кинулась к окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипший снег, и в окне показалось усатое лицо одного из моих соседей, ссыльного поляка Козловского.

— Спите себе! — сказал он шутливо.— А лошадь-то где?

Я наскоро оделся и выбежал наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось неверно. Испуганная метелью и непривычным одиночеством, она перепрыгнула через высокую городьбу и побежала в луга. Козловскому сообщил об этом Абрам, видевший, как лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были уверены, что она убежала за реку в якутские наслеги. В спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчас же ехать на поиски. Козловский дал мне свою лошадь, а на другой вызвался сам ехать со мною...

Это был крестьянин, замешанный в восстании и отбывший каторгу. После этого многие из его товарищей возвратились на родину, а он, попав в эти дальние места, почувствовал, как и Тимоха, что это очень далеко и что ему отсюда уже нет возврата. Он женился на слобожанке-полуякутке, его девочки говорили только по-якутски, а сам он пахал землю, продавал хлеб, ездил зимой в извоз и глядел на жизнь умными, немного

насмешливыми глазами. Ему казалось смешным многое в прошлом и настоящем, а между прочим, и то, что он, Козловский, хотел когда-то спасти свое отечество, и что он живет в этой смешной стороне с пятидесятиградусными морозами и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на чужом для него языке. К нам он чувствовал какое-то снисходительное расположение, любил молча слушать наши споры, но при этом всегда под его огромными усами шевелилась мягкая насмешливая улыбка...

— Помяните мое слово,— сказал он мне, когда мы тронулись в путь,— эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачут якутские амбары.

— Почему вы думаете?

— Абрашка ладит сани и две верховые во дворе. А вы еще скажите — славу богу: Абрам спал бы, лошадь бы вашу не увидел... В какую только сторону поедут?..

Дорога наша подбежала к реке и прижалась к береговым утесам. Место было угрюмое и тесное, справа отвесный берег закрыл нас от метели. Отдаленный гул слышался только на далеких вершинах, а здесь было тихо и тепло. Зато тьма лежала так густо, что я едва различал впереди мою белую собаку. Лошади осторожно ступали по щебню...

Вдруг Козловский наклонился и остановил за повод мою лошадь.

— Тише,— сказал он.— Слышите?

Я прислушался, и мне показалось, что с другого берега реки, которая здесь была очень узка, неслось к нам, точно эхо, осторожное постукивание копыт.

— Вот проклятые! — сказал он с оттенком удовольствия в голосе.— Взялись за ум!

— Что это значит? — спросил я.

— Якутский караул. Прослышали, видно, якутье, что татары собираются... ждут гостей... Эх! Вот только неприятно: как бы нас за татар не приняли. Пожалуй, сдуру грохнет который из ружья... Эй, догор! — крикнул он по-якутски.— Не попалась ли вам тут серая лошадь?

Шаги на той стороне стихли, но, когда мы подъехали к броду, на темной реке послышалось шлепанье и появились какие-то силуэты. Через несколько минут к нам

приблизился всадник, ведя в поводу серую лошадь. Когда он подъехал вплотную, я с удивлением узнал Степана.

— Как вы тут очутились? — спросил я с невольной радостью.

— Да так... дело тут... у якутов,— ответил он уклончиво.— Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймал уже на том берегу... Думаю: надо обождать маленько, может, хватитесь, приедете... А это кто с вами? — спросил он, наклоняясь в седле и вглядываясь в моего спутника.

— Человек божий, обшитый кожей,— ответил мазур своим веселым голосом.— Поехал вот с ними, думаю: может, бог даст, и моя конячка найдется.

— Тоже пропала? Когда? — спросил Степан.

— Да уже года два... Убежала с покосу, да еще, подлая, поселенца на себе унесла. Лошадь — бог с ней. Боюсь, как бы за поселенца не ответить.

Мне показалось, что шутка Козловского немного задела Степана, и, чтобы прекратить разговор, я поблагодарил за услугу и спросил:

— А вам не по пути в слободу? Переночевали бы у меня.

— Нет,— ответил Степан...— Я тут... к приятелю...

— Абрашка тоже к приятелю наладился,— насмешливо кинул Козловский, когда мы тронулись в обратный путь. Степан, отъехавший на некоторое расстояние, остановился было, как будто с целью спросить или сказать что-то, но затем ударил лошадь и съехал с берега.

— Счастье людям! — сказал Козловский, весело ухмыляясь.— У других воруют, вам возвращают. Один вор увидел, как лошадь сбежала, другой поймал...

— Ну, Степан не вор,— сказал я.

— Разумеется... А как вы думаете: кого он тут дожидается? У Абрашки с утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Черт их бей, всех. Давайте скорее выезжать из узкого места, как бы не встретиться.

— Но ведь с татарами Степан в ссоре?..

— Ну, мужик с бабой тоже весь день ссорились. А, глядишь, к ночи помирятся...

Замечания Козловского поразили меня самым неприятным образом. Мне импонировала уверенность, с какой он читал все среди этой темной ночи, точно в от-

крытой книге... И действительно, его предсказание оправдалось. Выехав из-за последнего берегового утеса в луга, мы вдруг наткнулись на несколько темных верховых фигур. Они сначала остановились, как будто в нерешительности...

— Что, нашел своего Серого? — сказал один из них, и по голосу я узнал Абрама.— Скоро же! Я думал, до утра проездишь.

Потом, когда они отъехали несколько саженей, он повернул лошадь, догнал нас и сказал своим ласковым, приятным голосом:

— Вот что, парень... Мы ведь соседи... Не сказывайте никому, что нас здесь видели...

— Нам какая надобность,— угрюмо ответил Козловский, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ехали молча. Меня тяготило положение этого невольного, почти дружественного нейтралитета, который выпадал на нашу долю... Может быть, Козловский думал то же.

VI. СТЕПАН

Проснувшись на следующий день, я сначала считал всю эту ночную поездку просто сном. Только кинутое беспорядочно на полу седло и не успевшее высохнуть верхнее платье убедили меня в действительности моего маленького приключения...

Несмотря на то, что все окна были занесены снегом, я чувствовал, что день стал светлее вчерашнего. У дверей лаяла собака, и когда, наскоро надев валенки, я впустил ее, она радостно подбежала к постели и, положив на край холодную морду, глядела на меня с ласковым достоинством, как будто напоминая, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворе, привязанная в наказание к столбу...

Настроение у меня было бодрое, радостное. Однако скоро под этим настроением оказалась какая-то маленькая змейка, которая шевелилась и шипела, напоминая о чем-то отравляющем и печальном...

— Да! Это о Степане,— вспомнил я внезапно...

«Неужто Козловский прав? — подумал я с ощущением острой грусти...— Неужели Степан оказал мне услугу именно потому, что ожидал татар? Не выдержал, наконец, говора своей тайги, прозаической добродетели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотелось опять шири и впечатлений? Что мудреного? Ведь вот даже мое легкое приключение освежило и обновило мое настроение, застоявшееся от тоски и одиночества...

Что же теперь станет делать Маруся? Как пойдет ее жизнь? Бурные сцены или покорные слезы?.. Примирение и подчинение или разрыв? Неужели тихая заимка на дальнем озере превратится в склад краденых вещей и в передаточный пункт конокрадства? Уйдет ли при этом Тимоха, или будет делать свое дело, не вмешиваясь в хозяйские дела? И скоро ли нагрянут на заимку власти из Якутска, и для Марьи со Степаном опять пойдут этапы, тюрьмы, новые попытки побегов? А на заимке воцарится запустение, и Марусины грядки зарастут наподобие губернаторских огородов?..»

В моих сенях послышался топот, в дверь хлынула струя свежего воздуха, и в юрту вошел Козловский. Он был несколько похож на гнома: небольшого роста с большой головой; белокурая борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшие теперь усы висели, как два жгута. Серовато-голубые глаза сверкали необыкновенным добродушием и живым, мягким юмором.

— Ну, вставайте,— сказал он, усмехаясь.— Давайте чаю. Новости расскажу.

— Что такое?

— В слободе что делается,— страх! — говорил он, отряхая на пол белые комки свежего снега.

И, опять весело засверкав глазами, он сказал:

— Смотрите: татары теперь скажут, что непременно это вы сделали! А я с вами, помните, не был!..

Затем он рассказал новость, поразившую слободу, как громом. Оказалось, что в эту ночь татары предпринимали один из очень смелых набегов на юрту зажиточного якута, именно в том направлении, куда мы вчера ездили. Очень часто якуты знали заранее о сборах татар, но последние почти всегда направляли их внимание

в ложную сторону. На этот раз, однако, смельчаки встретили противников готовыми. Когда, оставив лошадей в определенном месте, они стали подходить к амбару, навстречу им раздался дружный ружейный огонь, и в то же время другой отряд якутов кинулся к татарским лошадям. Бросившись назад, татары успели отбить двух лошадей, а две, и притом лучшие, остались военной добычей победителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татар с позором притащились в слободу едва на заре ..

В числе потерпевших был и Абрам Ахметзянов. Каурого конька, которым он гордился, как лучшим бегуном в слободе, теперь в его дворе не было.

Слобода кишела, точно муравейник. Двери то и дело хлопали в наклонных стенах юрт, соседи и соседки перебегали от двора к двору, кое-где татары громко ругались друг с другом. Татарское население слободы было самое разношерстное. Тут были и киргизы, и ачинские татары из азиатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губернии. Всех их привела сюда, выбросив из более или менее мирной среды их соотечественников, не заглушенная культурой страсть к баранте. Здесь их объединили религия и нужда,— но и в их среде были подразделения, вражда и ссоры. Теперь, при этом поражении, деморализация среды сказалась с особенной силой: татары закидывали друг друга упреками и подозрениями в измене. Они не могли себе представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанию по своей инициативе.

— А знаете что,— задумчиво сказал мне Козловский, когда мы сидели за чаем.— Вы пока никому не говорите о Степане.

— Почему?.. Не ждете ли вы, что начнется следствие?

— Ка-кое следствие! А все-таки помолчите.

И он прибавил, улыбаясь:

— Я его святому должен поставить свечку... Кажется, вчера я его обидел напрасно.

— Так вы думаете, что это он... помогал якутам?..

— Ага! А по-вашему, якутье сами бы так распорядились? Никогда! Уж был у них кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдет потеха!

Действительно, с этих пор якуты переменились, как будто кто вдохнул небывалое мужество в сердца этих робких и запуганных людей. Абрам Ахметзянов с товарищами выезжал ночью на место своей неудачи, и, остановясь в отдалении, они кричали и грозили, требуя возвращения лошадей; но якуты только звали их подойти поближе, а на следующую ночь, как было известно в слободе,— устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не решился выехать туда вторично, и угрозы татар остались неисполненными...

За первой неудачей последовали дальнейшие. Два раза якуты ловили воров на месте и, связанных, отвозили в город, провожая их, на всякий случай, целыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной раз в слободу, представляя в «правление» ясные указания и улики. Проезжая по улицам, мимо татарских домов, якуты держались насмешливо и гордо, посмеиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться в улусы даже днем, а отдельные татарские семьи, поселенные среди якутов, покидали места поселения и стягивались к слободе. Якуты прекратили им всякие пособия, которые выдавали прежде. При этом, разумеется, пострадали и мирные татары, к которым все-таки относились подозрительно, опасаясь сношений с соотечественниками.

В это именно время Абрам остановил меня указанием на злополучного татарина, бросившего своих голодных детей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточение росло. Прежде татары воровали, но убийств не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрелках бывали раненые с той и другой стороны. Был и еще один косвенный результат наслежной войны: кражи в самой слободе значительно участились.

Однажды Козловский пришел к нам, видимо озабоченный, и сказал, улыбаясь и почесывая в голове:

— Нельзя ли, господа, как-нибудь... удержать этого вашего приятеля?

— Что такое? Какого приятеля?

— Да якутского генерала. Беда ведь это: прежде, когда татары ездили в якуты,— у нас хоть воровали,

да все-таки жить было можно. А ведь теперь — съедят начисто. Эту ночь сломали два амбара...

Один из амбаров принадлежал смотрителю почтовой станции. Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели. Но смотритель имел все-таки чин и в некоторых торжественных случаях надевал даже шпажонку. К неприкосновенности почтовой корреспонденции он относился весьма своеобразно и считал себя в полном праве присланные кому-нибудь из поселенцев (чаще всего скопцам) золотые заменять тем же количеством кредиток. Но, конечно, о взломе своего амбара он тотчас же послал самые энергические жалобы в областной город.

Между тем, имя Степана, хотя ни мы, ни Козловский ничего не говорили о нем, было на всех устах. В слободе об этом сначала говорили шепотом, в виде догадок, потом с уверенностью. Теперь даже дети на улицах играли в войну, причем одна сторона представляла татар, другая якутов, под предводительством Степана... А по улусам, у камельков, в долгие вечера о белоглазом русском уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже с большим интересом относились и к эпизодам этой небывалой борьбы, и к новой роли нашего знакомца. Мой желчный товарищ, хотя и объяснял все дело личными счетами Степана с Абрашкой, но все-таки переменил о нем свое мнение.

— Как бы там ни было, а молодчина! Проявляет искру, здоровую искру проявляет...

— Да, чем только это кончится? — озабоченно прибавлял Козловский.— На собрании решили на ночь наряжать большие караулы. Придется и вам, господа, из-за приятеля померзнуть...

В конце ноября, в ясный зимний день, в слободу явились гости. Утром, возвращаясь из поездки в город, приехал тунгусский поп. Вскоре после этого у наших ворот остановились санки, в которых сидели Маруся и Тимоха. Их сопровождали три верховых якута,— может быть, случайно, но всем это показалось чем-то вроде почетного эскорта, которым наслег снабдил жену своего

защитника. Маруся была одета по-праздничному, и в ее лице показалось мне что-то особенное.

А под вечер того же дня по дороге из города опять послышался колокольчик. День был не почтовый: значит, ехало начальство. Зачем? Этот вопрос всегда вызывал в слободе некоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары в несколько саней потянулись зачем-то к лесу, верховой якут поскакал за старостой... Через полчаса вся слобода была готова к приему начальства...

Приехал заседатель Федосеев и тотчас после приезда пригласил нас к себе на въезжую избу. Передав нам несколько писем, он попросил других присутствующих удалиться и сам запер за ними дверь. Подойдя затем к столу, он расстегнул форменный сюртук, как будто ему было душно, и стал набивать себе трубку. Он был, казалось, в каком-то затруднении и даже в некотором замешательстве.

Это был местный уроженец из казаков, человек средних лет, отличный служака, превосходно знавший местные условия. Из личных его особенностей мы знали его слабость к выпивке — из слободы его иногда увозили, уложив в повозку почти без сознания,— и к книжным словам, которые он коллекционировал с жадностью любителя и вставлял, не всегда кстати, в свою речь. Человек он, впрочем, был в общем добрый, и все его любили. С нами он был не в близких, но все же в хороших отношениях.

Набив трубку и закурив ее от сальной свечи, горевшей на столе,— он некоторое время усиленно затягивался и, наконец, сказал:

— У меня к вам, господа, дело, так сказать... партикулярное. Я буду с вами говорить прямо: вы знакомы с этим поселенцем из бродяг, Степаном?

— С Дальней заимки? Да, знакомы.

— Так!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Он, кажется, у вас останавливается, приезжая в слободу?

— Да, нередко.

Заседатель засосал свою трубку, как будто в данную минуту это для него было самым важным делом, и сказал:

— Странный человек!

— Чем же собственно?

— Да как же, помилуйте: вмешивается не в свои дела, распоряжается тут в наслегах, как начальство, заварил кашу...

Он встал со стула, видимо в дурном расположении духа, и, беспокойно пройдясь по комнате, сказал уже с явным неудовольствием:

— Помилуйте, что же это такое. Прежде был самый спокойный улус — теперь не проходит недели без происшествия. Там стреляют, там ранили человека, там поймали татарина, волокут в город. Только и слышишь: где происшествие? В участке Федосеева. Гнездо какое-то.

Я начинал понимать настроение заседателя. Каждая профессия имеет свою специфическую точку зрения. Семен Алексеевич Федосеев не мог не знать, что каждый год окрестные наслеги являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась к ней пассивно. Взломан амбар, уведена лошадь, зарезана корова, поступает жалоба, виновные не найдены... Дело предается воле божией, даже не доходя до города; в каждый свой приезд в слободу он приканчивал несколько таких дел простой подписью под заранее составленными постановлениями о прекращении дел «за необнаружением виновных»... Это и значило, что в его участке было все спокойно. Теперь каждое дело приобретало громкую огласку, доставлялись пойманные с поличным, происходили перестрелки; толки о необычайном обострении борьбы наслегов с татарами обращали внимание. Проникнув в эту сущность дела, я невольно улыбнулся.

— Позвольте,— сказал я,— но ведь Степан не ворует и не грабит, а защищает и некоторым образом содействует обнаружению виновных.

Семен Алексеевич уселся и посмотрел на меня в упор.

— Ну, вот-вот. Это самое... Это-то вот и есть, как сказать... центр... именно: центр вопроса... Скажите, пожалуйста: бродяга, непомнящий, обыкновенный, извините, варнак... Откуда у него вдруг эти... эти...

— Идеи,— подсказал я, догадываясь, куда клонится его мысль.

— Идеи-то, идеи, но как это еще?..

— Рыцарские.

— Ну, вот-вот,— сказал он с облегчением, и лицо его несколько просветлело...— Вот в городе — извините, я уже буду говорить прямо...— и рассуждают: из простого варнака делается вдруг этакой, знаете, необыкновенный, как его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Как? Почему? Откуда? Книг он не читает... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тут действует (он искоса посмотрел на нас) *постороннее влияние*...

— Прибавьте, Семен Алексеевич, «вредное»,— сказал я, улыбаясь.

Он слегка поперхнулся дымом своей трубки.

— То есть, я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... труистично... Ну, да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнув себя чубуком несколько раз по затылку, он произнес с большим оживлением:

— Вот где у нас эта защита сидит, вот-с! То и гляди, из Иркутска запрос прискачет на курьерских... Кто заседатель в участке? Как мог допустить такое положение вещей!.. А ч-черт! А я только тем и виноват против других, что у меня тут... не угодно ли... защитник угнетенных явился...

Его отчаяние было так искренно и комично, что оба мы с товарищем не могли удержаться от откровенной улыбки.

Заметив это, Федосеев сам улыбнулся.

— Ну, хорошо, господа! Все это верно-с и справедливо! Донельзя справедливо! До нек плюс утра! * Признаюсь вам откровенно: сам в городе говорил, что останусь в дураках... А все-таки вот у Петриченки амбар сломали...

— Ну, это еще не самое печальное из бедствий... Почему это, Семен Алексеевич, вам амбар Петриченки дороже крестьянских или якутских?

— Сломают еще ваш, потом примутся за другие. Да если подумать так, по человечеству... так ведь больше им и делать нечего.

— Ну, положим,— работники они отличные.

— На чем работать? — уныло сказал заседатель, принимаясь набивать другую трубку.— Областное прав-

---

[1] Nec plus ultra (*лат.*) — до последней степени.

ление завалено их просьбами об отводе земли... Просьбы совершенно законные...

— Отчего же их не удовлетворяют?

— Откуда? Вы знаете, что у слобожан у самих земли немного. Насилу удалось склонить крестьян уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Он закурил и заговорил в совершенно другом тоне, просто и уже действительно вполне партикулярно.

— По закону нельзя поселять ссыльных больше, чем на одну треть против местного населения. А их тут теперь почти столько, сколько слобожан. Где же взять земли?

— Вот об этом в городе и следовало подумать.

— А, батюшка, думали! Даже писали много раз, потому что это ведь не от нас. «Для удобства надзора,— поселить в одном месте при слободе...» Вот вам и удобство надзора.

— Повторять... добиваться.

— Повторяемо было многократно!.. (он махнул рукой с видом полной безнадежности). А теперь я вот вам прямо скажу: всех захваченных якутами татар мы выпустили.

— Да? А ведь, кажется, улики полные.

— Тюрьма еще полнее. Недавно прислали партию спиртоносов из отряда Никифорова. Эти молодцы в Олекминской тайге дали правильное сражение приисковым казакам. Это поважнее якутских амбаров. А в остроге яблоку упасть некуда... Эх, господа, господа!.. Надо судить по человечеству... Мы тут так опутаны .. Приезжай сейчас какой-нибудь ревизор из того же Иркутска: мы тут в «нарушениях», как в паутине... А если бы разобрать хорошенько, по человечеству...

Расстались мы совершенно дружески. Мы объяснили заседателю, что наше влияние едва ли должно быть принимаемо в расчет в этом случае...

— А ведь сразил он вас, признайтесь,— сказал дорогой мой товарищ, молчавший почти все время нашего разговора.

— Признаюсь охотно,— ответил я.— Действительно, вторая половина нашей беседы произвела на меня сильное впечатление.

— И главное, чем сразил,— продолжал мой приятель,— вы говорили то, что должен был говорить он, а он — то, что, в сущности, должны были сказать вы...

И это было вполне справедливо. Короткий разговор с заседателем отбросил опять мое настроение в область того нейтралитета, который по какому-то инстинкту признала за нами сама среда... Но что же делать? Живому человеку трудно ограничиться ролью свидетеля, когда жизнь кругом кипит борьбой... Печать? корреспонденции? освещение общих условий? Долго, далеко, неверно!..

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонам тихо переливались огни сквозь ледяные окна... Слободка кончала обычным порядком свой бесхитростный день, не задаваясь ни думами, ни вопросами... Она жила, как могла, и нам выпала роль безучастных свидетелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мне такой тяжелой...

На улице нас остановил Козловский, который дожидался у своих ворот, чтобы узнать о результатах переговоров наших с заседателем... Умный поляк выслушал внимательно наш рассказ и сказал с убеждением:

— А что вы думаете: ей-богу, это правда! Что нужно этому Степану, в самом деле? Какое у него шило сидит, что он эту кашу заварил? Не поверю я, что это он из-за якутов.

Я рассказал то, что знал сам. Вспомнил Дальнюю заимку, болезненный приступ Степана ночью над озером, его жалобы на пустоту жизни, его порывания на прииски, от которых его удерживало упорное сопротивление Маруси...

— Мудрено все это,— задумчиво сказал Козловский и прибавил решительно: — Ну, помяните мое слово, долго это все равно не протянется... А я был у вас: там теперь поп в гостях... Чего они святить собираются?

Я догадывался, о чем шли переговоры с бродячим священником, и мы в некоторой нерешительности остановились невдалеке от нашей освещенной юрты, чтобы не мешать этим переговорам, решавшим участь Маруси. Вечер был морозный, но безветренный и тихий, и мы думали еще пройтись по улице или даже уйти на время к Козловскому, как вдруг дверь нашей юрты откры-

лась и из нее вышел Тимоха. Его приземистая фигура, в полушубке и неизменном треухе, вся облитая холодным светом луны, показалась мне как-то особенно устойчивой, кряжистой и крепкой. Когда он поравнялся с нами, в морозном воздухе пронеслась струйка винного запаха.

— Куда вы это, Тимофей? — спросил я.

— Да что, братцы... Сам не знаю: запрягать, что ли... Ведь уж дело-то видно: ни черта не выйдет. Не бывать, видно, плешатому кудрявым.

— О чем вы это говорите?

— Да все о том же. Она, конечно, хочет, чтобы как по-хорошему, как, словом сказать, у людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему без Абрашки и быть.

— Да ведь они с Абрамом теперь на ножах?

— То-то и я говорю... Не мытьем, так ка́таньем... Всю татарскую силу поднял. Чужих, вишь ты, амбаров жалко... Свой-то убережешь ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!

Потом, наклонясь к нам, он прибавил тише:

— Дело-то, почитай, на мази было. Бычка да двух телок уж я к якутам свел на станцию. Попу, значит, мимо ехать, — взял бы. Да денег пятнадцать рублей. Все ведь припасла Марья-то... А ни к чему.

— Отчего же?

— Да вот, по тому самому: боек очень. Теперь об нем не то что... в городу молва идет. Обвенчай эдакого хахаля, — будешь у праздника. Чай, тоже не о двух головах хоть и поп этот...

В это время дверь юрты открылась опять, и на пороге появилась высокая фигура, вся в мехах и с посохом в руке. Это был священник. Я уже раз видел у знакомых эту своеобразную фигуру, всю проникнутую колоритом холодной и дикой пустыни. Родом с далекой Камчатки, настоящий подвижник своей трудной миссии, он разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, односложно, но по-своему определенно и сильно. Никогда я не видел человека, который бы мог пить так много и притом без всяких последствий. Другие собеседники валились кругом один за другим, а он продолжал, все такой же крепкий и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-

чуть бледнело. На многое он смотрел слишком упрощенно, но мне казалось, что под этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Заметив нашу группу во дворе, он подошел близко и сказал с грубоватым простодушием, отрубая слова:

— Плачет. Глупая. Жаль. Баба хорошая.

— Баба как есть... Хоть в Рассею возьми,— отозвался Тимоха.

— Мог бы, обвенчал бы. Не венчаны. Побожилась. Верю. За грех не почитаю. Имена ты, господи, веси... А мне пятнадцать рублей деньги...

— Как не деньги! — убежденно поддержал опять Тимоха.— По здешним местам где возьмешь?

— Так в чем же дело, батюшка? — спросил я.

— Нельзя... Человек заметен. Не тот человек.

— Правильно! — подтвердил Тимоха.

— И ей не такого бы. Жаль. Ну, нельзя.

Он сунул нам свою огромную руку и пошел к воротам, кидая по белому снегу гигантскую черную тень.

— Ха-а-роший батька,— сказал Тимофей с какою-то особенной теплотой в голосе...

Он пошел к лошадям, а мы вошли в свою юрту. Здесь еще ярко пылал огонь, на столе виднелись пустые бутылки и остатки угощения. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицом в изголовье...

Прошло минут двадцать. За перегородкой усилились глухие сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болезненного припадка, но в это время, к общему облегчению, вошел Тимоха и сказал как-то просто и решительно:

— Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Едем, что ли.

В его грубом голосе я различил непривычно мягкую, ласковую ноту.

— Куда же это вы, на ночь глядя? — сказал мой товарищ.— Да и опасно, смотрите.

— Чего это? — спросил Тимофей.— Это ты насчет татар? Эва! Чего им от нас нужно. Не-ет! Нас не тронут. А в случае чего, у меня дубина. Ну, полно тебе, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой несколько секунд еще стояло молчание, потом Маруся поднялась как-то вдруг, и ее фи-

гура появилась в темном четыреугольнике двери. Ее праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, как мне показалось,— выражением глубокого, мучительного стыда... Тимоха помог ей одеться. Она застенчиво поклонилась нам, и они вышли...

На следующее утро мы стояли с Козловским у ворот, разговаривая о событиях прошедшего дня... День был сравнительно мягкий, градусов пятнадцать, что для тех мест соответствует нашей оттепели, и на улице виднелось немало народу...

Вдруг мы заметили около середины длинной слободской улицы какое-то оживление. Лаяли собаки, выбегали люди, стайка татарчат бежала за всадником, ехавшим по самой середине улицы почти шагом.

— А ведь это, смотрите, Степан,— сказал, вглядываясь, Козловский.

Я сначала не поверил, но стоявший рядом слобожанин Сергей, обладавший чисто рысьей дальнозоркостью, с уверенностью подтвердил мнение поляка.

— Ну, смелая шельма,— сказал с одобрением Козловский.— Едет себе середи дня, как ни в чем не бывало. Пьяный, должно быть... Вот будет штука, если увидит Абрашка.

Абрашка в это время колол дрова. Заинтересованный шумом, он равнодушно вышел за ворота, пригляделся и вдруг со всех ног кинулся в дом. Через минуту дверь отворилась. Мне показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчас же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, как из юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней — сам Абрам покорно шел с пустыми руками...

Толпа за Степаном росла. Он ехал не торопясь, конь порывался и играл под ним, пугаясь шума и толкотни, но Степан сдерживал его и, казалось, не обращал внимания на все происходившее. Мне показалось, что он действительно несколько пьян. Я заметил, что в толпе было больше всего татар. Слобожане и якуты, наоборот, скрывались в юрты. Степан испытывал еще раз участь героя, оставляемого в трудную минуту теми самыми

людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергей тоже с замешательством почесался...

— Уйти, однако,— сказал он, озираясь; но наше присутствие и любопытство пересилило, и он остался.

Степан тотчас же заметил Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстречу. Я подумал даже, вспомнив при этом Тимоху, что вся эта бравада Степана имела главным образом в виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которых ему приходилось ехать. Заметив своего противника, Степан нервно дернул повод, но затем в лице его показалось легкое замешательство и как будто растерянность. Он, вероятно, ждал чего-нибудь более бурного.

Между тем, красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщины,— и Степану пришлось остановиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытных. Вдруг среди нее послышался дружный смех, после двух или трех слов Марьи, сказанных по-татарски.

— Что она сказала? — спросил я.

— Ничего,— ответил Сергей, тоже улыбаясь.— Она говорит: «Здорово, Степанушка...», больше ничто не сказал...

— А он разве понимает по-татарски?

— Тюрьма сидел с ними... Знает.

Толпа опять загрохотала.

— Что такое? — спросил я опять.

— Ничего,— ответил мой переводчик.— Конфузил больно... Ты, говорит, якутской вера...

— А теперь что?

Он слушал и переводил мне, пока Степан тихо прокладывал себе путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительные речи.

Через некоторое время к ней присоединился Абрам. Он говорил страстно и все повышал голос.

— А! Че! — восклицал Сергей при каждой новой фразе.— Больна конфузил.

— Да что же такое? — спрашивал я с нетерпением.

— Ты, говорит, с нами хлеб ел.

— Ты, говорит, с нами спал вместе.

— Ты, говорит, нам считался все одно брат.

— Ты, говорит, за джякут заступил, за нас не заступил...

— Тебе, говорит, джякут лучше татарина стал...

— Ты, говорит, научил поганых якутов украсть моего каурка...

Я слушал с удивлением перевод этих речей, в которых, в сущности, не было ничего, кроме изложения действительных фактов. Все, что тут говорилось, была правда, все это было хорошо известно и нам, и Степану, и всей слободе. И я не мог понять, почему эта толпа торжествовала над этим человеком, которому стоило только поднять голову и сказать несколько слов. Я так и ждал, что Степан остановит коня и крикнет:

— Да, я сделал все это и опять сделаю... Собаки!..

Но Степан не говорил этого. Наоборот, его глаза, еще недавно дерзко искавшие опасности и кидавшие вызов,— теперь потупились; он густо покраснел, причем резко выступили опять светлые усы и брови, и, по-видимому, все свое внимание сосредоточил на мундштуке коня, как будто ехал над пропастью. Конь по временам, видимо, просился, поднимал голову и, оскалив зубы и брызжа пеной, тряс над головами шнырявших перед ним татарчат своей красивой головой с страдальческим выражением.

Марья уверенно шла немного в стороне и впереди и продолжала выкрикивать нараспев с какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная уверенность в своей правоте слышалась в тоне Абрама. Его прекрасные глаза горели и, казалось, метали искры, а голос звенел и заражал глубокой искренностью негодования.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнее, смех толпы все громче. Опасаясь, что в случае задержки все это может кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебежал через небольшую площадку и стал открывать свои ворота, в уверенности, что Степан едет к нам, и с намерением у своих ворот заступиться за него и остановить толпу.

И действительно, он уже стал было поворачивать за угол городьбы, как вдруг произошло что-то совсем неожиданное. Красавица татарка, державшая себя всегда с таким солидным достоинством, вдруг выступила

вперед и перед всеми сделала по направлению к Степану бесстыдный жест...

Толпа неистово загоготала.

На наш взгляд, такой поступок опозорил бы только женщину; но я замечал много раз, что простые люди принимают это наоборот, как самое тяжкое оскорбление своей личности. И действительно, Степан вздрогнул, конь его, казалось, сейчас кинется на татарку. Но он удержал его, подняв на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистив путь, и через минуту Степан исчез за околицей в туче снежной пыли, под грохот и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная победа одной стороны и поражение другой. Победа уверенного в себе и цельного в своей простодушной непосредственности злодейства над неуверенной и стыдящейся себя добродетелью...

. . . .

Недели через две мы с товарищем решили съездить на Дальнюю заимку. Обоим нам хотелось повидать Степана и, прямо или косвенно, выразить ему свое сочувствие.

Выехав задолго еще до рассвета, мы только к ночи подъехали к Дальней заимке.

Теперь трудно было узнать эту местность. Кругом все было занесено снегом, тайга стояла вся белая, за нею, едва золотясь краями на лунном свете, высились скалы, озеро лежало под снегом и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами. За нею виднелась небольшая юрта с наклонными стенами, казавшаяся кучей снега. Летом я не обратил на нее внимания. Теперь в ее окнах переливался огонь, а из трубы высоко и прямо подымался белый столб дыма, игравший своими бледными переливами в лучах месяца.

Все было бело, бледно и прозрачно. Злой лай собаки приветствовал нас еще издали, и навстречу нам вышел, скрипнув дверью, Тимоха. В руках у него была здоровенная дубина. Очевидно, он полагался на нее более, чем на ружье.

Маруся приняла нас с грустной приветливостью, все-таки стыдясь чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

В юрте даже как-то незаметно было его отсутствие. Все было тесновато, но уютно, и, по-видимому, Маруся с работником жили довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествии в слободе. Степан домой не являлся. Очевидно, его жизнь начала отделяться от жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки рассказать Марусе о причине нашего посещения.

— Ну, теперь закрутит и еще пуще,— сказал Тимоха.

На шитье, с которым в это время сидела Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недели через две мы узнали, что Степан ушел на прииски.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло года полтора. В самом начале осени приехал заседатель Федосеев. Отдав нам письма и газеты, он попросил нас присесть и сказал:

— Да, кстати. Какое неприятное происшествие.

— Что такое?

— На Дальней заимке... Какой-то там Тимофей у них... Работник, что ли, черт его знает...

— Да, работник.

— Ранен или ранил себя по неосторожности. Вообще, таинственная история. Вы ничего не слыхали?

— Нет, не слыхали. Тяжело?

— Нет, легко. Уже поправляется. Я узнал стороной,— они сами скрывают. Что, Степан у вас не бывал?

— Нет, он давно на приисках.

— Приходил не так давно за паспортом... Но, по нашим сведениям, он ушел опять недели за две до происшествия...

И вдруг, переходя в «партикулярный» тон, он сказал:

— Между нами сказать,— я уверен, что это его рук дело.

И, лукаво засмеявшись, прибавил:

— Вот оно — женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... как это еще... идиллия, верность. И ведь работник-то, заметьте, рожа несказанная... Настоящий... Ну, как это?.. Ква... Ква...

— Квазимодо...

— Ну, вот-вот. Я ведь прямо оттуда. Отобрал показания.

— Что же?

— Сам, говорит, по нечаянности; ружьем баловался... Но рана такая, что этого никоим образом допустить нельзя... Понимаете?

— А тюрьма у вас переполнена?

— Как селедок в бочке,— сказал он, махнув рукой.— К тому же... Только уж это, пожалуйста, вполне партикулярно, между нами!

Он оглянулся на запертую дверь и прибавил:

— Пришлось бы, пожалуй, и другое дело подымать... А жаль батьку, батька-то простяк...

— Неужели бродяжий брак? — спросил я.

— А вы почему догадались?

— Я знал об их намерении венчаться. Значит, все-таки Степану удалось это устроить?

— Как Степану?

— А то кому же?

— Ну, там кто устраивал, не знаю. А только обвенчался все он же, работник этот... На кого, подумайте, променяла! Тот все-таки был действительно молодец!

Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе... Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это — лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа..

А впрочем... Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея, горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что, быть может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все

особенности пахаря,— мог задеть и другие сердечные струны...

Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.

Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.

«...О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на «Дальней заимке». Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать, как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один — подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка — Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями «своего мужика», или, как она называет, «чоловіка»... В смехе Маруси ничего особенного не заметно... Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».

«Выпрямилась»,— подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница... Даже эти побои... Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что,— не будь всего того, что вырвало ее из родной среды,— какой-нибудь «чоловік Тиміш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне... На то он «чоловік», свой, родной, «законный».

У всякого свои понятия о счастье...

Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет

исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль... именно рубль!.. И вдруг в его воображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул... десять рублей. Студент вяло посмотрел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

— Рупь...— сказал он с выражением тупой жадности в голосе.

— Но позвольте...

— Рупь, рупь, рупь,— повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и — значит, тоже счастлива.

Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения: героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана,— сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в безвестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть давно уже погибшего человека...

1899

Последний луч

I

Нюйский станок расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек задами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятясь от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название «Проклятой щели». Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. В ней надолго останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывные сумерки. Население этого станка даже среди остальных приленских жителей поражает своею вялостью, худосочием и безнадежной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпанемент к этому печальному существованию...

Приехав на этот станок ночью, усталый и озябший, я проснулся утром, по-видимому, довольно рано.

Было тихо. В окна глядел не то тусклый рассвет, не то поздний вечер,— что-то заполненное бесформенной и сумеречной мглой. Ветер дул в «щели», как в трубе, и гнал по ней ночные туманы. Взглянув из окна кверху, я мог видеть клочки ясного неба. Значит, на всем свете

зарождалось уже яркое солнечное утро. А мимо станка все продолжала нестись, клубами, холодная мгла... Было сумрачно, тихо, серо и печально.

В избушке, где я ночевал, на столе горела еще простая керосиновая лампочка, примешивая к сумеркам комнаты свой убогий желтоватый свет. Комната была довольно чистая, деревянные перегородки, отделявшие спальню, были оклеены газетной бумагой. В переднем углу, около божницы, густо пестрели картинки из иллюстраций,— главным образом портреты генералов. Один из них был Муравьев-Амурский, большой и в регалиях, а рядом еще вчера я разглядел два небольших, скромных портрета декабристов.

Лежа на своей постели, я мог видеть из-за перегородки стол с лампой у противоположной стены. За столом сидел старик, с довольно красивым, но бледным лицом. Борода у него была серая, с ровной густой сединой, высокий обнаженный лоб отливал желтизной воска, редкие на темени волосы — сзади были длинны и слегка волнисты. В общем фигура напоминала духовного, даже, пожалуй, одного из евангелистов, но цвет лица был неприятно бледный и нездоровый, глаза мне казались тусклыми. На шее виднелись, как опухоль, признаки зоба,— болезнь, очень распространенная на Лене, которую приписывают ленской воде.

Рядом с ним сидел мальчик лет около восьми. Мне была видна только его наклоненная голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами. Старик, щуря сквозь очки свои подслеповатые глаза, водил указкой по странице лежавшей на столе книги, а мальчик с напряженным вниманием читал по складам. Когда ему не удавалось, старик поправлял его с ласковым терпением.

— Люди-он... *ло*... веди-есть, и краткое...

Мальчик остановился. Незнакомое слово, очевидно, не давалось... Старик сощурился и помог:

— Соловей,— прочел он.

— Соловей,— добросовестно повторил ученик и, подняв недоумевающие глаза на учителя, спросил: — Соло-вей... Что такое?

— Птица,— сказал старик.

— Птица...— И он продолжал чтение.— «Слово-иже,

си, добро-ять-люди, *дел*... Соловей си-дел... на че... на че-ре... на че-ре-му-хе...»

— Что такое? — опять вопросительно прозвучал, как будто деревянный, безучастный голос ребенка.

— На черемухе. Черемуха, стало быть, дерево. Он и сидел.

— Сидел... Зачем сидел?.. Большая птица?

— Махонькая, поет хорошо.

— Поет хорошо...

Мальчик перестал читать и задумался. В избушке стало совсем тихо. Стучал маятник, за окном плыли туманы... Клок неба вверху приводил на память яркий день где-то в других местах. Где весной поют соловьи на черемухах... «Что это за жалкое детство! — думал я невольно под однотонные звуки этого детского голоска...— Без соловьев, без цветущей весны... Только вода да камень, заграждающий взгляду простор божьего мира. Из птиц — чуть ли не одна ворона, по склонам — скучная лиственница да изредка сосна...»

Мальчик прочел еще какую-то фразу все тем же тусклым, непонимающим голосом и вдруг остановился.

— А что, дед,— спросил он,— нам не пора ли, гляди?..— На этот раз в его голосе слышались уже живые, взволнованные ноты, и светлые глаза, освещенные огнем лампы, с видимым любопытством обратились на деда.

Тот посмотрел на часы, равнодушно тикавшие маятником, потом на окно с клубившеюся за стеклами мглою и ответил спокойно:

— Рано еще. Только половина!..

— Может, дедушка, часы-то испортились.

— Ну, ну... темно еще... Да оно, глупый, нам же лучше. Вишь, ветер... Может, мóроки-те прогонит, а то ничего и не увидишь, как третьево дни...

— Лучше,— повторил мальчик своим прежним, покорным голосом, и чтение продолжалось.

Прошло минут двадцать. Старик взглянул на часы, потом в окно и задул лампочку. В комнате разлился голубоватый полусвет.

— Одевайся,— сказал старик и прибавил: — Тихонько, чтоб Таня не услыхала.

Мальчик живо соскочил со стула.

— А ее не возьмем? — спросил он шепотом.

— Не... куда ей... И то кашляет... Пусть спит.

Мальчик принялся одеваться с осторожной торопливостью, и вскоре обе фигуры — деда и внука — промелькнули в сумерках комнаты. На мальчике было надето что-то вроде пальто городского покроя, на ногах большие валенки, шея закутана женским шарфом. Дед был в полушубке. Дверь скрипнула, и оба вышли наружу.

Я остался один. За перегородкой слышалось тихое дыхание спящей девочки и хриплое постукивание маятника. Движение за окном все усиливалось, туманы проносились все быстрее, разрывались чаще, и в промежутках все шире проглядывали суровые пятна темных скал и ущелий. Комната то светлела, то опять погружалась в сумрак.

Мой сон прошел. Молчаливая печаль этого места начинала захватывать меня, и я ждал почти с нетерпением, когда скрипнет дверь и старик с мальчиком вернутся. Но их все не было...

Тогда я решил посмотреть, что это их выманило из избы в туман и холод. Спал я одетый, поэтому мне не нужно было много времени, чтобы натянуть сапоги и пальто и выйти...

Оба — старик и мальчик — стояли на крыльце, заложив руки в рукава и как будто чего-то ожидая.

Местность показалась мне теперь еще угрюмее, чем из окна. Вверху туман рассеялся, и вершины гор рисовались отчетливо и сурово на посветлевшем небе. На темном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные клочья тумана, но внизу все еще стояли холодные сумерки. Ленские струи, еще не замерзшие, но уже тяжелые и темные, сталкивались в тесном русле, заворачивались воронками и омутами. Казалось, река в немом отчаянии кипит и рвется, стараясь пробиться на волю из мрачной щели... Холодный предутренний ветер, прогонявший остатки ночного тумана, трепал нашу одежду и сердито мчался дальше...

Дома станка, неопределенными кучками раскиданные по каменной площадке, начинали просыпаться. Кое-где тянулся дымок, кое-где мерцали окна; высокий худой ям-

щик в рваном полушубке, зевая, провел в поводу пару лошадей к водопою и скоро стушевался в тени берегового спуска. Все было будничо и уныло.

— Что это вы ждете? — спросил я у старика.

— Да вот, внучку охота солнушко посмотреть,— ответил он и спросил в свою очередь: —Вы чьи? Российские?

— Да.

— Чернышовых там не знавали?

— Каких Чернышовых? Нет, не знавал.

— Где, поди, знать. Россия велика... Сказывают, генерал был...

Он помолчал, пожимаясь от холода, и, что-то обдумав, опять повернулся ко мне:

— Проезжий тут один сказывал: при царице Екатерине служил Захар Григорьевич Чернышов...

— Да, такой был...

Старик хотел спросить еще что-то, но в это время мальчик резко задвигался и тронул его за рукав...

Я невольно тоже взглянул на вершину утеса, стоявшего на нашей стороне, у поворота Лены...

До сих пор это место казалось каким-то темным жерлом, откуда все еще продолжали выползать туманы. Теперь над ними, в вышине, на остроконечной вершине каменного утеса, внезапно как будто вспыхнула и засветилась верхушка сосны и нескольких уже обнаженных лиственниц. Прорвавшись откуда-то из-за гор противоположного берега, первый луч еще не взошедшего для нас солнца уже коснулся этого каменного выступа и группы деревьев, выросших в его расселинах. Над холодными синими тенями нашей щели они стояли, как будто в облаках, и тихо сияли, радуясь первой ласке утра.

Все мы молча смотрели на эту вершину, как будто боясь спугнуть торжественно-тихую радость одинокого камня и кучки лиственниц. Мальчик стоял неподвижно, держась за рукав деда. Его глаза были расширены, бледное лицо оживилось и засветилось восторгом. Между тем, в вышине что-то опять дрогнуло, затрепетало, и другой утес, до сих пор утопавший в общей синеве угрюмого фона горы, загорелся, присоединившись к освещен-

ной группе. Еще недавно безлично сливавшиеся с отдаленными склонами, теперь они смело выступили вперед, а их фон стал как будто еще отдаленнее, мглистее и темнее.

Мальчик опять дернул деда за рукав, и его лицо уже совершенно преобразилось. Глаза сверкали, губы улыбались, на бледно-желтых щеках, казалось, проступал румянец.

На противоположной стороне реки тоже произошла перемена. Горы все еще скрывали за собой взошедшее солнце, но небо над ними совсем посветлело, и очертания хребта рисовались резко и отчетливо, образуя между двумя вершинами значительную впадину. По темным еще склонам, обращенным к нам, сползали вниз струи молочно-белого тумана и как будто искали места потемнее и посырее... А вверху небо расцвечалось золотом, и ряды лиственниц на гребне выступали на светлом фоне отчетливыми фиолетовыми силуэтами. За ними, казалось, шевелится что-то — радостное, неугомонное и живое. В углублении от горы к горе проплыла легкая тучка, вся в огне, и исчезла за соседней вершиной. За ней другая, третья, целая стая... За горами совершалось что-то ликующее и радостное. Дно расселины все разгоралось. Казалось, солнце подымается с той стороны по склонам хребта, чтобы заглянуть сюда, в эту убогую щель, на эту темную реку, на эти сиротливые избушки, на старика с бледным мальчиком, ждавших его появления.

И вот оно появилось. Несколько ярко-золотистых лучей брызнули беспорядочно в глубине расселины между двумя горами, пробив отверстия в густой стене леса. Огненные искры посыпались пучками вниз, на темные пади и ущелья, вырывая из синего холодного сумрака то отдельное дерево, то верхушку сланцевого утеса, то небольшую горную полянку... Под ними все задвигалось и засуетилось. Группы деревьев, казалось, перебегали с места на место, скалы выступали вперед и опять тонули во мгле, полянки светились и гасли... Полосы тумана змеились внизу тревожнее и быстрее.

Потом на несколько мгновений засветилась даже темная река... Вспыхнули верхушки зыбких волн, бежавших к нашему берегу, засверкал береговой песок с черными

пятнами ямщичьих лодок и группами людей и лошадей у водопоя. Косые лучи скользнули по убогим лачугам, отразились в слюдяных окнах, ласково коснулись бледного, восхищенного лица мальчика...

А в расселине между горами уже ясно продвигалась часть огненного солнечного круга, и на нашей стороне весь берег радовался и светился, сверкая, искрясь и переливаясь разноцветными слоями сланцевых пород и зеленью пушистых сосен...

Но это была лишь недолгая ласка утра. Еще несколько секунд, и дно долины опять стало холодно и сине. Река погасла и мчалась опять в своем темном русле, бешено крутя водоворотами, слюдяные окна померкли, тени подымались все выше, горы задернули недавнее разнообразие своих склонов одноцветною синею мглою. Еще несколько секунд горела на нашей стороне одинокая вершина, точно угасающий факел над темными туманами... Потом и она померкла. В расселине закрылись все отверстия, леса сомкнулись по-прежнему сплошной траурной каймой, и только два-три отсталые облачка продвигались над ними, обесцвеченные и холодные...

— Все,— сказал мальчик грустно. И подняв на деда свои печальные померкшие глаза, прибавил вопросительно: — Больше не будет?

— Не будет, чай,— ответил тот.— Сам ты видел: только край солнушка показался. Завтра уже пойдет низом.

— Кончал, брат! — крикнул возвращавшийся с реки ямщик.— Здравствуйте, дед со внуком!..

Повернувшись, я увидел, что у других избушек тоже кое-где виднелись зрители. Скрипели двери, ямщики уходили в избы, станок утопал опять в обесцвечивающем холодном тумане.

И это уже на долгие месяцы!.. Старик рассказал мне, что летом солнце ходит у них над вершинами, к осени оно опускается все ниже и скрывается за широким хребтом, бессильное уже подняться над его обрезом. Но затем точка восхода передвигается к югу, и тогда на несколько дней оно опять показывается по утрам в расселине между двумя горами. Сначала оно переходит от вершины к вершине, потом все ниже, наконец лишь на несколь-

ко мгновений золотые лучи сверкают на самом дне впадины. Это и было сегодня.

Нюйский станок прощался с солнцем на всю зиму. Ямщики, конечно, увидят его во время своих разъездов, но старики и дети не увидят до самой весны или, вернее, до лета...

Последние отблески исчезли... За горами был полный день, но внизу опять сгущался туман, склоны гор задернулись мутной одноцветной дымкой. Рассеянный свет просачивался из-за гор, холодный и неприветливый...

II

— Так вы, говорите, тоже из России? — спросил я у старика, когда мы опять вошли в избу и он поставил на стол небольшой, старенький самовар. Мальчик ушел за перегородку к проснувшейся сестре и стал забавлять ее. По временам оттуда слышался слабый детский смех, точно кто перекидывал кусочки стекла.

Старик поправил убогую скатертку и через некоторое время ответил как-то неохотно:

— Да... Что уж тут... Здесь родились, так и здешние. Они вот, дети, пожалуй что и не простого роду...

— Как фамилия? — спросил я.

— Да что!..— опять так же вяло ответил он.— Авдеевы, скажем, фамилия. Да это так, просторечие. А настоящая им фамилия Чернышовы...

Он вдруг оставил скатерть и посмотрел на меня внимательным и заинтересованным взглядом.

— Вы, вот, про Чернышова Захара Григорьевича тоже, значит, читали. Генерал был?

— Да, был генерал при Екатерине. Только он не был сослан.

— Ну, не он, а видно того же роду... При императоре Николае... При восшествии, что ли...

Он испытующе вглядывался в мое лицо, но я не мог ничего припомнить о Чернышове. Старик грустно покачал головой...

— Говорят: книгочей был. Умирал, все наказывал детям: главное дело за грамоту держитеся крепче...

Он помолчал и затем прибавил:

— Да что уж тут... Известное дело,— гиблое место... Дочь моя за внуком его была, за Евгениевым. Вот и пошли Авдеевы... Не живучи... Сам помер, мать померла, вон двое на руках остались... Я старый, они кволые... Мальчик вот припадочный. Так, видно, и изноем... Следу не останется...

Дверь отворилась, вошел ямщик, перекрестился на образ и сказал:

— Авдеев... Иди, проезжающих запиши... У старосты.

— Ладно!

— Вас разве тоже Авдеевым зовут? — спросил я.

— Да вот, поди-ты... И меня по ним: Авдеев да Авдеев... Когда-то люди были...

И старик, может быть единственный грамотей на Нюйском станке, взял под мышки истрепанную книгу и вышел.

Больше ничего я не мог узнать из области этой туманной генеалогии и вскоре покинул навсегда угрюмый Нюйский станок. Часа через два, повернув на другое плёсо, я увидел солнце прямо перед собою... Оно стояло невысоко, но все же заливало огненными блестками и берега, и воду... И его тихий, даже, пожалуй, печальный свет показался мне в эту минуту и ярким, и радостным.

III

Впоследствии, вернувшись в Россию, я старался узнать что-нибудь о ссыльной ветви чернышовского рода. Именем Захара Григорьевича Чернышова пестрят страницы екатерининской истории, но он никогда не был в ссылке Однажды, дожидаясь парохода на волжской отмели, я услышал от рыбака песню о прусском плене русского доброго молодца, Чернышова Захара Григорьевича. Рыбак не знал, конечно, ничего об исторической личности,— но песня все-таки являлась отголоском действительного события. Во время Пугачева удалой казак Чика принял на себя имя Захара Григорьевича Чернышова и прибавил в народной памяти к популярному имени опальную черту; другая песня говорит уже о темнице на волжском берегу, в городе Лыскове. Удалой

добрый молодец, Чернышов Захар Григорьевич, скликает к себе бурлаков и низовую вольницу...

Вообще этому имени почему-то повезло в народной памяти, и среди загадочных личностей Сибири фамилия Чернышовых тоже мелькает довольно часто. Этим я и объяснял себе свою встречу на Нюйском станке; очевидно, действительное происхождение рода, быть может, ссыльного, потерялось, и старик бессознательно взял популярное имя... В его грустном тоне слышались правдивость и убеждение...

Совсем уже недавно, просматривая небольшую заметку о декабристах, я наткнулся на одно мало известное и мало упоминаемое имя тоже декабриста... «З. Г. Чернышова».

Тогда встреча на Нюйском станке всплыла опять в моей памяти и, казалось, осветилась новым светом: итак,— думал я,— старик Авдеев говорил правду.

Дальнейшие сведения, однако, разрушили эту определенность: декабрист Захар Григорьевич Чернышов вернулся в Россию, здесь женился и умер за границей.

Над генеалогией Авдеевых нависла опять туманная завеса... В обширной и угрюмой Сибири затерялось таким же образом немало жизней, и многие роды с вершин, освещенных солнцем, опускались навсегда в эти холодные низы, в ущелья и туманные долины... Выше Якутска, на берегу Лены, стоит утес, по которому змеится над пропастью узкая тропинка. В расселине скалы сохранились следы жилья. С этим местом связана трогательная легенда: здесь много лет жил какой-то ссыльный, прежде человек знатный, попавший в опалу. В Сибири он жил в разных местах и, наконец, поселился здесь, рядом с убогим поселком. Он сам рубил дрова и таскал воду. Однажды, когда он поднимался на гору с вязанкой дров, вверху на тропинке перед ним появилась знакомая фигура. Это была жена, разыскавшая его в этом ущелье. Ссыльный узнал ее, но от радости или испуга ему сделалось дурно: он покачнулся и упал в пропасть.

Я напрасно старался узнать имя этого человека и подробности этого события: равнодушная и холодная Сибирь плохо хранит эти сведения, и память об этой

когда-то, может быть, яркой жизни и трагической смерти замирает отголосками неясной легенды, связанной уже только со скалой, но не с человеком...

Так же неясно и неопределенно происхождение мальчика, которого я встретил на Нюйском станке. Но когда мои воспоминания обращаются к Сибири, в моем воображении невольно встает эта темная щель, и быстрая река, и убогие лачуги станка, и последние отблески уходящего солнца, гаснущие в печальных глазах последнего потомка какого-то угасающего рода...

1900

Мороз

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху, по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке еще не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лунною ночью и, чтобы не ночевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) еще теплым навозом,— легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжет мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною,— снилось, вероятно, то же самое. Луна светила ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нем то и дело. Сон его был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Все было бело и пушисто от изморози, и весь он казался белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

— Брр...— сказал он.— Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от ее движения на воде послышался звон, как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищенных от быстрого течения, становились первые «забереги», еще тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических игол, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль, искрящиеся, почти призрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет веселый, задорный, почти шутливый.

По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу,— зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лед, плотно схватив уже края реки и окрепшие «забереги», противился быстрому течению. Мороз все продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где еще недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя темную, тяжелую речную струю. Еще дальше,— мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромождая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом... Черты изломов на реке становились все выше; льдины, выбрасываемые течением на края заберегов,— все толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение. Это река сердито кидала в сковывавшие ее неподвижные ледяные укрепления свободно еще двигавшимися по ее стрежню льдинами, пробивала бреши, крошила лед в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвину-

лась еще дальше, полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не тонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого «тороса», которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась все безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он все еще ворочался тяжелыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни... Вся природа, казалось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные ущелья горных берегов покорно отражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжелое кряхтение изнемогающей реки.

Еще через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша,— густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмиревшее и обессилевшее течение.

II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то черный предмет, ясно выделявшийся на бело-желтом фоне. В пустынных местах все привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

— Ворона,— сказал кто-то.

— Медведь,— возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним черная точка казалась не больше вороны, другим — не меньше медведя: отдаленное однообразие этих белых подвижных масс, лениво проплывавших между высокими горами,— совершенно извращало перспективу.

— Откуда же взяться медведю на середине реки?— спросил я у ямщика, высказавшего предположение о медведе.

— С того берега. В третьем годе медведица вон с того острова переправилась с тремя медвежатами.

— Нонче тоже зверь с того берега на наш идет. Видно, зима будет лютая...

— Мороз гонит,— прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех предмета. Белая ледяная каша, между тем, тихо подвигалась к нам, и было заметно, что черная точка на ней меняет место, как бы действительно переправляясь по льдинам к нашему берегу.

— А ведь это, братцы, козуля,— сказал, наконец, один из ямщиков.

— Две,— прибавил другой, вглядевшись.

Действительно, это оказались горные козы и, действительно, их было две. Теперь нам уже ясно были видны их темные изящные фигурки среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это были мать и дочь. Вокруг них льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

— Ну, что будет! — сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять темная глубь. На мгновение два жалких темных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением разбива-

лись с особенною силой. Зато более отдаленные, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отраженной струей и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас или нет,— но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязавшаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюций... Совсем уже близко от берега, в десятке саженей от целой кучки людей, козы все так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась, подошла к роковому месту,— у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса — и два черные тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была темная полоса воды, а проход загораживала кучка людей. Однако умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...

III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря за-

несла его в далекую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружье в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружье,— он не сделал этого движения. Его твердые серые глаза все время не отрывались от животных, и мне в первый раз в течение нашего — недолгого, впрочем — знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то, не совсем холодное и не совсем загрубевшее.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять, и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все мы были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самообладание среди стольких опасностей.

— Впрочем,— сказал я, улыбаясь,— кое-что надо отнести и на наш счет. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

— Из чего вы это заключаете? — спросил Сокольский серьезно.

— Из совершенно необычного поведения этого Полкана, а также, простите сопоставление,— вашего собственного: ваше ружье осталось в чехле.

— Да,— ответил приискатель.— Это правда. Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить все это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах?

— Всякая мать, я думаю...— сказал я, улыбнувшись.— Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвел сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкою грустью...

— Да,— ответил он задумчиво.— Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз — это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замерзнуть, например... совесть?

— И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком,— ответил я, опять улыбнувшись. Настроение моего спутника казалось мне все более загадочным.

— Нет,— ответил он с той же странной мягкой грустью.— Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и встретите его продолжение...

IV

— Это было в 18... таком-то году. В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы так же встретили первый ледоход. Дальше лед все крепче схватывал реку, течение становилось все у́же, потом оно стало перерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их все больше, ломает лед, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые версты стоит гул и грохот... Потом лед опять прорвется и сплывет вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар, прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем — поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их вели в кандалах без подкандальников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще существо это было хлипкое, слабое,— в чем душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент

прямо огромный. И вообще весь он был создан из странных противоречий... Фамилия его была Игнатович..

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

— ...Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура.. Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... экстатические преувеличения, что ли. Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное я головой поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнем и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения,— я все же должен был признать, что они могут будить ответные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырастал, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне все-таки казались ненатурально преувеличенными и странными,— то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его «божественном начале», об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и во всяком случае далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвездных высотах, созданной из лучей,— то, разумеется, оборотная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, видне-

лось что-то вроде презрения — к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резкости, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности, на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жилье положительно превращалось в лечебницу. Целую неделю он возился с замерзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в поводу на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что, чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным. В конце концов, пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к «царю природы» — он превозносил ее меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время, как какая-нибудь собака со спиной, перешибленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять оживал, опять парил под небесами и декламировал «мировые симфонии». В то время он тоже получил место на прииске чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашел ему эту должность и уговорил принять ее. Он пассивно подчинился, и мы отправились в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы все-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то, что одежонка у нас была неважная, как-то еще не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чем не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение было еще свободно хоть на середине,— они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды все суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замерзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоем метались по узкой полынье, охваченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта темная, холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

— Стой! — закричал он ямщику.— Неужели вы способны проехать мимо?..— обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынье.

Ямщик смеялся, как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полыньей, старался поймать уток. Птицы, разумеется, кинулись от него Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полыньи, правильно рассчитав, что уток теперь понесет течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лед и погнал их книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лед. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полетом птицы, мелькавшей на фоне

угрюмых гор, опушенных снегами, и когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность,— у него на глазах появились слезы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой, наконец, присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь,— утонула. Она нырнула из моих рук, и течением ее унесло под лед... Другая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьезно, так как до станции было еще не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва оттерли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в ее спасении и под конец даже увлекся этим благотворительным спортом,— но все-таки сознавал, что это сентиментально и глупо, тем более, что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это мое настроение и презирал меня.

В конце концов, утка все-таки издохла, и мы ее кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шел густой пушистый снег, покрывший на три четверти аршина и лед, и землю. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами — между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод заби-

рается под одежу, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится,— и говорится недаром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унизительная... Приедешь на станцию,— до полуночи едва начнешь обогреваться, а наутро трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то убыло, что начнешь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег еще более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся неприятнее... Сам себе тоже становишься противен... В конце концов закутываешься как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные сорока — пятидесятиверстные перегоны...

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С N-ской станции выехали мы светлым, сверкающим, снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты... Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик (им здесь ездить приходится не очень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спутник, казалось, совсем застыл. Во все время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я проворчал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как закоченелый, и я представлял себе его лицо с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь от моего дыхания не попадала мне в лицо — через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик останавливался и извлекал пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны

проходили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, еще желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом карабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы еще более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно: точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

В одном месте в глаза мне попало неожиданное впечатление: невдалеке от дороги вился тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны темным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху еще освещенные солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи. Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повел глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мертвые, неподвижные, ничего в нем не будя и не шевеля воображение...

Ямщик повернулся к нам и, наклонясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту минуту не было никаких понятий. Смех ямщика тоже не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвел бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опушенными инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и все... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню, это была кучка лачуг, как и большинство станков — под отвесными скалами. Те, кто выбирали ме-

ста для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной площадке, выступавшей к реке, которая в этом месте вьется по равнине, открытой прямо на север. Несколько верст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители называли его еще «Холодным станком». И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холоде, чем эти кучки бревен, глины и навоза на каменистой площадке, заметенные снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили назади, кончился у начала лугов в низинке и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту и доехали как раз вовремя, чтобы быть еще в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запылал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры,— легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чаю. Стаканы было трудно держать в закоченелых руках, но ощущение теплоты потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня все еще стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил еще дров и скрылся в какой-то угол.

В темной избушке все затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились все чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

— Беда! — сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику.— Как поедешь? Поднялся сивер, поземка идет.

— Да...— ответил тот.— А мороз не стал меньше... Такому ветру,— прибавил он, по-своему коверкая русский язык,— гляди и почта не ходит...

— Не дай бог,— прибавил хозяин, зевая.

Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление — морозная буря, когда налетающий откуда-то ветер толкает в отяжелевший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, еще не могущего двинуть сгущенную атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, все еще плохо сознавая происходящее и только радуясь животною радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что все то, что во мне так неприятно застыло и окоченело,— скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то «оттаяло... и распустилось...»

V

— Как и когда оказалось, что я уже не сплю и притом совсем не сплю,— сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я еще вижу сон или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет и я не успею рассмотреть в нем что-то очень важное и очень нужное. А между тем, сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опушенный инеем лес, и косые лучи солнца, густые и желтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то еще гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра тем-

ную фигуру... И все это, по обычной нелогичности сна,— казалось мне острыми, колючими льдинками, попавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел еще лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишенное выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и, под влиянием его взгляда, льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И, вместе с тем, я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встает во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и всякая подробность обрастает в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно вглядеться в лицо человека, как будто зашевелившегося на пне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно вгляделся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович, и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски,— все то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

— Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых путешественников. Зимой слова замерзают и лежат мерзлыми льдинами до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это, как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере, в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о том, что он «убился» где-то на приисках и идет пешком от станка до станка... Только теперь эти слова вдруг оттаяли, и от них в груди у меня что-то мучительно заныло...

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе все еще тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещенного трепетным пламенем камина... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали, как будто от озноба...

— Что такое? Ради бога? — сказал я, подымаясь.

— Вы не знаете? — спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами.— Скажите — разве это... был только сон?

— Что именно?

— То, от чего вы сейчас застонали и проснулись,— сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И, видя, что я не отвечаю, он все так же подозрительно всматривался мне в лицо:

— Вы не заметили там, в лесу... человека?..

Я промолчал и невольно отвел глаза.

— Послушайте,— заговорил он,— скажите мне что-нибудь... Я еще думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...

— Да ведь это и был почти сон,— сказал я.— Мороз так притупляет впечатления...

Он сделал резкое движение и сразу сел на своем месте; глаза его странно сверкнули...

— Правда?..— сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: — Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал... Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О, какая низость...

Он схватил голову руками, и несколько секунд прошло в молчании. Наша избушка все продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять послышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями размеренно шагал кто-то огромный и тяжелый...

— Да встаньте же, наконец, вы... негодяй! — крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой.— Ведь мы с вами убили человека. Пон-нимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..

В освещенном пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина. Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожно-

му разговору незнакомых проезжих людей, упоминающих об убийстве. И теперь, все еще полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучавшей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал напяливать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошел с своего места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чем дело. В углу заплакал ребенок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Все это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, темной избушки с тихо набиравшимся в нее народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно, когда она грозит...

VI

— Послушайте, может быть, вы все-таки доскажете, что было дальше? — спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл о своем рассказе, глядя прямо перед собой на освещенные солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чем-то весело балагуря с своим ямщиком.

— Да, простите, пожалуйста!..— заговорил рассказчик.— Я задумался. Это очень тяжелые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

— Что в избу стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

— Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, глядя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно, стараясь ободрить и себя, и станочников:

— Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...

Однако, когда я стал разъяснять, в чем дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, и мой рассказ, правда бессвязный и сбивчивый, не облекался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу послышался даже смех.

— Да это Митрохин, поселенец! — сказал кто-то.

— Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетется с приисков. Надоели нам...

— И верно,— вставил свое замечание привезший нас ямщик.— У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Свезите, говорит, христа ради, ноги не ходят.

— Ну, что ж не дали? — спросил староста сурово.

— Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет...— ответил ямщик, отворачиваясь.— Была бы бумага или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...

— Пешком пришел! Умные! То, чай, тепло было, а тут, видишь, сивер. Застынет теперь,— заседатель с доктором, небось, пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...

— У него теплина́ была (костер),— вставил ямщик в виде оправдания.

— Как же зря,— сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать.— Ведь человек замерзнет... Надо помочь.

— Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придет, дальше свезем... Почто, Тимофей, не подобрал его? — обратился он опять к нашему ямщику.

— Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...

— Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасет...

— Постойте,— крикнул я с тоской.— Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слышите, что делается...

На мгновение водворилась тишина,— и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с про-

межутками толок что-то в ступе. И по временам воображение примешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек или, может быть, на реке трескался лед.

В избе послышались вздохи. Тем не менее, дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

— Спаси господи! — прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

— Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютый!

— Третий год — Федька в этом же лесу застыл.

— В прошлом годе баба с мальчонком.

— А у меня мнук не застыл, что ли? — злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

— Этому ветру почта не ходит,— опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.

— Постойте,— сказал я в отчаянии.— Возьмите деньги, что ли! Десять рублей,— кто согласится поехать со мною...

В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

— Двадцать, тридцать, все, что у нас есть! — сказал я, почти задыхаясь от волнения...

— Стойте,— крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась.— Никто не уходите! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..

Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.

— Эх, господин,— сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе.— Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет склека.

И действительно, началась мучительная «склека». Вы знаете,— эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломок прошлых веков. Земли у них нет, и состоят они на жалованье. «Пара лошадей» составляет основание подушной раскладки, «душа» равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счеты, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормежка арестантов — все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:

— Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...

Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи несся все тот же зловещий гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную машину, которая так шумно действовала перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело,— пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы....

— Братцы,— сказал он.— Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег... Я еду, не в зачет, без очереди... Когда господь

ежели поможет,— оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной «выти»,— первый сказал с спокойным сочувствием:

— Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...

— Дело твое...

— Не в зачет,— твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...

— Ишь ведь сиверко. . Господи помилуй... Верно,— почта не пойдет. Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...

— Помоги тебе владычица, Софрон Семеныч.

Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято,— есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему; по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда...

— Товарища кличешь? — спросил меня проходивший мимо ямщик.— Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас... Может, попросился к шабра́м.

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.

— Что такое? — спросил он.— Что еще?

— Скорей, скорей, ради бога,— сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

— Ну, нет,— сказал он.— Погоди, барин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся.

И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежи на всякий случай...

Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая позёмка.

Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...

— Нашли вы этого человека? — спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

— Нашли,— ответил он как-то беззвучно...— Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...

— А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

— Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна и притом широкая и обставленная вехами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую все-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер

стих, и мороз внезапно сдался. Потом взошло солнце. Следов нигде не было.

— Значит, вы ошиблись?

— Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

— Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок,— сказал он.— Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.

— Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затишных местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

— Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам — совершенный ребенок. Ему, просто, стало невыносимо... И еще. Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...

Он опять замолк.

— Вы сказали, кажется,— *подлую* человеческую природу? — сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивленный.

— Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...

Он не досказал, махнул рукой, и все остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.

VII

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

— Человек тут застыл... двое... Крест поставил прискатель, Сокольской; может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещенному продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

— Никогда мимо не проедет,— сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь.— Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.

И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

— Видно, приятели были...

1900—1901

«Государевы ямщики»

I. СТАНОЧНИКИ

Осенью 188... года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около трех тысяч верст.

Наше положение давало нам право на «тройку обывательских лошадей с провожатым» бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастие повздорить несколько с местной властью. Исправник, «из хохлов», человек в высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением: как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право «следовать от станка до станка» и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова...

Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда, в виде особого одолжения, проторговавшихся или прокутившихся на летней якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное предоставлялось ловкости и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому и неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу... Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться по-

дачками от редких грамотеев, кое-где даже, для большей уверенности, бить старост по скулам, а ямщиков по шее. Во всяком случае, такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути.

С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на «обывательских лошадей» было неоспоримо, но, чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалоба и резолюция проедут те же три тысячи верст, до Иркутска и обратно, какие приходилось сделать нам... И мы решились пуститься в путь без жалобы...

Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше «свидетельство» и заподозрил в нем форму знакомой «дружеской бумаги», смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, поталкивали друг друга, и, наконец, задние объявили, что по этой «бумаге» нас везти не следует. Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих (грамотей на всякий случай поместился сзади всех). Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры...

Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на три тысячи верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою... Вообще, мы физически не могли

уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры... Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало, и если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников...

Ленские станки — это как бы сколок прошлых веков, оставленный на далекой реке в нетронутом виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие «государевы ямщики», мужики, несущие на жаловании ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз проскачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий «прогоны», в общем составляющие совершенно ничтожную цифру...

Да еще порой в эту узкую ленскую щель с юга, от Иркутска, пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоятельно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда: направо и налево за береговыми хребтами дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назади — уже пройденные станки, население которых, раз накормивши арестанта (своего рода натуральная повинность), в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком якутском остроге, как о земле обетованной. День за днем на станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам и проклятиями же сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба...

Наконец, порой поселенец напроказит на приисках,— тогда его снабжают «листом», и ямщики везут его до места приписки... А весной он опять спускается в лодке, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратно...

В совокупности всего этого — смысл существования ленских ямщиков. Когда-то, давно, по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки «места, годные для поселения», и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о «золотых горах», плакали и били кайлами углубления порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты... И с тех пор они живут здесь столетия,— мужики, несущие на жаловании государственную службу. Старинные «ямы» всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене...

Выбор мест для станков, по-видимому, из «государственных видов», останавливался преимущественно на местах, совершенно не удобных для земледелия. Станочники не наделены землей, и все их существование зависит от почтовой гоньбы...

Каждые три или четыре года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты «по добровольному соглашению». Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без «жалования» они перемрут голодною смертью... Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела... Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое «воздействие центра на окраину» прекратится. В ямщики нужен мужик и только мужик. Варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам-друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальство. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики-инородцы бросали лошадей и разбегались... Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный и настоящий

русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение...

На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а пожалуй, и безобразные. Чиновник, отправляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может отличиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и цены за пару доходят иной раз до тысячи и более рублей. Одна из таких счастливых волостей носит даже название «дворянской». Здесь мужчины ходят в приисковых, расшитых кафтанах, собольих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы «Лаферм» с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил:

— Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай,— только не езди!

И это понятно, потому что редкие прогоны, разверстываемые по душам,— ничтожны сравнительно с «жалованием» этих счастливцев.

Зато в других местах, где нет ни пашен, ни покосов, ни сторонних заработков,— цена сбивалась до трехсот и даже до двухсот шестидесяти рублей, особенно в трудные годы дороговизны хлеба и сена... Население таких обездоленных станков — наследственно угнетенное, необыкновенно печальное и явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение — нельзя! Это будет уже «бунт», и начальство примет «строгие меры». Отдельных же членов своих не пустит само общество: остающиеся не желают принять от уходящего часть тяжкого бремени этой ужасной жизни...

Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщичьих общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по стольку-то за пару. Население разделяет «по душам» и почтовую повинность, и плату. «Душа» ямщика — это такая-то доля лошади... В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади и даже целая...

Где население более многочисленно,— душа соответствует четверти, осьмой и т. д. части лошади... Разверстка этих лошадиных «душ» с лежащими на них повинностями и «жалованием» чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя... Если лошадь пала, на ямщика навалят ее работу: он будет грести летом или таскать лодки лямкой... Если работник захворал или умер,— семья тоже вымирает медленною смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса — с величавым стихийным равнодушием...

В общем — большинство этих забытых жизнью «государевых ямщиков» производят впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны и хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут «проклятою» или «гиблою щелью» и уверяют с полным убеждением, будто «начальники» (устанавливающие «добровольное соглашение») не верят в бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. «Что губернаторы, что исправники, что заседатели,— все одно... Положат его в домовину, он так скрозь землю и пойдет, и пойдет... в самые, видно, тартарары».

И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд... Да, это была настоящая пытка...

II. МИКЕША

На одной из станций произошла серьезная остановка. Ямщики уперлись и, не видя с нашей стороны решительных действий, продержали нас целые сутки. К счастью, ранним утром я услышал колокольцы: кто-то проезжал на почтовых в Якутск. Пока перепрягали лошадей, я вынул свою дорожную чернильницу и бумагу и при свете камелька стал писать письмо в город, изображая

наше положение. Это таинственное в глазах станочников и совершенно необычное действие произвело сильное впечатление. Ямщики входили, смотрели на меня с глубочайшим вниманием, уходили опять, и, наконец, когда письмо было готово и я собрался его заклеивать, вошел, видимо встревоженный, староста, поклонился мне и сказал:

— Зачем писать? Не надо, пожалуйста... Повезем... Брось бумагу...

И, действительно, около полудня нам подали трех верховых лошадей. На четвертой впереди ехал хозяин-ямщик и еще сзади — вприпрыжку бежал пеший, молодой парень лет двадцати трех, придерживаясь по временам за мое стремя. Дорога на этот раз отошла от берега и пролегала тайгой, уже пожелтевшей, но еще не совсем потерявшей листву... Порой из-за верхушек деревьев мелькали вдали береговые горы и ущелья, освещенные косыми лучами осеннего солнца. Лошади бежали бойко, и, когда я нарочно сдерживал свою, чтобы не затруднять бегущего,— хозяин-ямщик оборачивался и покрикивал:

— Не отставай! Не отставай!

А пеший глубоко вдыхал воздух и прибавлял шагу.

— Ничего, ничего! Ударь!..— говорил он и, все так же держась за стремя, продолжал бежать рядом...

Это было странное существо с очень смуглым лицом и глубокими вдумчивыми глазами. Пока я писал свое письмо, он, войдя в избу, стоял рядом, не отрывая глаз от клочка бумаги, по которой бегало мое перо, выводя непонятные для него знаки. Когда этот процесс вызвал на станке суматоху и ямщики стали входить и выходить из избы, с явными признаками беспокойства,— он так же внимательно следил за ними, переводя взгляд с бумаги на лица своих земляков и обратно, как бы изучая таинственную связь, установившуюся между этим листком и их настроением. По временам на лице его мелькало что-то похожее на злорадную улыбку. Когда же, наконец, станок уступил,— он крякнул и вздохнул так сильно, как будто это он сам только что свалил с себя тяжелую работу. В его глазах виднелось выражение восхищения, почти восторга, как будто он присутствовал при волшебном опыте, проделанном с замечательной чи-

стотой, и результаты которого он отчасти предвидел или угадывал. Когда впоследствии ямщики подняли обычные споры из-за очереди и разверстки,— он слушал этот галдеж равнодушно и отчасти насмешливо.

При этом как-то неожиданно вышло, что разверстка запуталась. Общество находило, что везти нас было выгоднее обычных очередей. Мы не пользовались продовольствием очередного станочника и, сколько могли, платили на чай везшим нас ямщикам. Таким образом «равнение» нарушалось, очередь становилась слишком легкой, и другим казалось обидно. Очередной ямщик горячился и спорил, находя, что это уже его «фарт», но кто-то вдруг предложил исход:

— Прибавить ему Микешу,— сказал он.

— И верно,— согласились остальные.

— Куда мне его? — протестовал хозяин.

— Ничего,— побежит пешим. Назад, однако, с четверкой трудно тебе... Помогет будто...

— И верно. А ты, значит, ему за четь... Оно и выйдет вровень...

— Много...

— Чего много?.. Надо тоже и ему как-ни-набудь... хоша бы и Микеше.

Микеша слушал эти разговоры с таким равнодушием, как будто речь шла совсем не о нем. Из разговоров я понял, что его считают несколько «порченым». Хозяйство после смерти отца и матери он порешил, живет бобылем-захребетником, не хочет жениться, два раза уходил в бега, пробираясь на прииски, и употребляется обществом на случайные междуочередные работы или, как теперь, в качестве некоторого привеска, для «равнения»...

Теперь этот живой привесок общинных весов бежал рядом с нами, держась по большей части у моего стремени, так как я ехал последним. Когда мы въехали в лес, Микеша остановил меня и, вынув из-под куста небольшой узелок и ружье, привязал узелок к луке седла, а ружье вскинул себе на плечо... Мне показалось, что он делает это с какой-то осторожностью, поглядывая вперед. Узел, очевидно, он занес сюда, пока снаряжали лошадей.

Вскоре впереди, между перелесками, послышался звон колокольцев, и, растянувшись длинным караваном

с переметными сумами в седлах, мимо нас пробежала встречная почта. Передовой ямщик наш проводил ее разочарованным взглядом,— очевидно, он надеялся приехать на станцию раньше и заодно на обратном пути захватить часть почты на свою четверку. К одной выгодной очереди он, таким образом, присоединил бы и другую, выгодную уже для всего станка. Микеша посмотрел на его разочарованную фигуру и свистнул.

— Гляди, умные наши станочники,— сказал он с насмешкой.— Не спорились бы вчера, как раз бы поспели... Четыре лошади не гоняли бы зря...

Очевидно, неудача станочников его не касалась и будила в нем лишь некоторую ироническую наблюдательность...

— Ну-ну! Сам умнай! — со злостью ответил ему ямщик.— Обчество учить станешь...— И он хлестнул опять свою лошадь, выбираясь на дорогу...

После этого мы поехали легкой рысцой, и Микеша вздохнул свободно. Верст уже десять он пробежал, не отставая от рыси лошадей, но, видимо, это скороходное искусство, созданное привычкой с детства, не давалось ему даром. Лицо его слегка побледнело, на лбу были крупные капли пота.

Теперь он, не торопясь, шагал рядом, все так же держась за мое стремя, и закидал меня вопросами. На мои расспросы о жизни ямщиков он отвечал неохотно, как будто этот предмет внушал ему отвращение. Вместо этого он сам спрашивал, откуда мы, куда едем, большой ли город Петербург, правда ли, что там по пяти домов ставят один на другой, и есть ли конец земле, и можно ли видеть царя, и как к нему дойти? При этом смуглое лицо его оставалось неподвижным, но в глазах сверкало жадное любопытство.

Эта кипучая жадность, горевшая во взгляде молодого станочника, произвела на меня странно-возбуждающее действие, и я, неожиданно для себя, разговорился. Казалось, горы, нас окружавшие, раздвинулись, я заглянул далеко за них и почти бессознательно старался дать заглянуть туда и этому наивному станочнику. Товарищи уехали вперед, покрикивания передового ямщика смолкли, кругом нас тихо стоял лесок, весь желтый, приготовившийся к зиме, а из-за его вершин выгля-

дывали верхушки скал, на которых угасали последние лучи дня.

Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, совсем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.

Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.

— Что стал? — спросил он.

— Хорошо очень, Микеша,— ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега.

— Хорошо? — переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: — Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...

Впереди из-за куста выглядывал полосатый казенный столб, полинялый и наклонившийся. Его-то, очевидно, и разумел Микеша под «пестрой столбой». В голосе его слышалось столько глубокой грусти, что мне стало вдруг не по себе, как будто я был виноват в чем-то. Зачем я только что с таким увлечением рассказывал ему о далекой стране, куда мы едем? Пройдет месяца два или три, и я буду там, в этом широком белом свете, а этот странный молодой станочник с глубокими черными глазами все равно останется здесь, у своей «пестрой столбы», среди этих красивых, но мертвых и бесплодных камней, над пустынной рекой.

После этого с версту мы проехали молча. Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мо́роки». В воздухе быстро свежело. Шаг лошади гулко раздавался по перелескам.

— На Титаринском станке опять, видно, писать будешь? — спросил Микеша, с любопытством поднимая на меня свои наивные глаза.

— Зачем? — спросил я, несколько удивленный.

— Не дадут лошадей,— пояснил он.— Титаринские станочники — не народ, а дьявол. Не пишешь — не дают, пишешь — боятся. Пиши! Я смотреть буду...

— Не отставай! Не отста-ва-ай! — донесся издалека протяжный окрик передового ямщика.

— Ударь,— сказал Микеша.— Ночь придет...

Я тронул лошадь поводом, но, пробежав несколько сажен, она вдруг шарахнулась в сторону, так что я едва усидел. Впереди на дороге, прямо перед нами, стояли на коленях две человеческие фигуры.

— Батюшка, кормилец... ваше сиятельство!..— услышал я два гнусавых, лицемерно жалобных голоса.— Не дай пропасть душам христианским...

— Ва-ш-ше высоч-чество! — подхватил другой.— Помираем... Обносились, оголодали...

— Бродяги,— спокойно сказал Микеша, остановившись у моей лошади и с обычным своим внимательным любопытством присматриваясь к приемам бродяг и к тому действию, какое они окажут на меня... Вид у бродяг был действительно ужасный, лица бледные, в голосах, деланно-плаксивых и скулящих по-собачьи, слышалось что-то страшное, а в глазах, сквозь заискивающую и льстивую покорность, настораживалось вдруг что-то пристально высматривающее и хищное.

Я дал серебряную монету и вынул кусок хлеба из переметной сумы. Оба схватились за хлеб, и в голосах их послышалась радостная благодарность. Отъехав на некоторое расстояние, я заметил, что Микеша остановился и дружелюбно, как с знакомыми, беседует с варнаками. Впрочем, через несколько минут он опять присоединился ко мне.

— Сколько дал? — спросил он у меня и, получив ответ, прибавил: — Хитрый варнак. Глаза закатит — слепой делается, ногу подогнет — хромой делается... Одного в лесу встречает тебя — горло перервет, пожалуй. А тут ногам кланяется.

— Ты их знаешь?

— В тайге встречал, чай варили... Этот Иван — умнай, беда! Говорит: царю помогал, деньги делал. Не знаю — правда, не знаю — хвастает... В остроге много сидел.

И, пройдя еще несколько сажен, он прибавил задумчиво:

— В остроге человек много сидит, умнай бывает...

Он вздохнул... Мы опять ехали под скалами, и лицо его мне было видно довольно плохо в вечернем сумраке. Но в его голосе слышались ноты такого же почтительного удивления к острожникам, какое он выказывал по поводу моего писания...

Через полчаса стало уже совсем темно. Вверху угасали еще в синем небе последние отблески заката, но в затененной ленской долине стояла тьма... Вдруг мой спутник издал легкий гортанный крик удивления и вскочил сзади на круп моей лошади.

— Гони! Скорей! — сказал он.

— Что такое?

— Огонь! Слепой ты, что ли?

Действительно, вглядевшись в темноту, я заметил впереди слабые отблески переливавшегося, как дыхание, огня... горело где-то в стороне, в ущелье...

— Островский горит, поселенец,— сказал Микеша, всматриваясь вперед и усиленно колотя по бокам лошадь пятками своих торбасов.

Через несколько минут лошадь тяжелой рысью вынесла нас двоих к повороту дороги, и здесь из-за возвышенности перед нами открылось направо широкое ущелье. В глубине его, на отлогом скате горы виднелось догоравшее пожарище... Языки пламени еще вырывались из обугленной кучи бревен, и довольно резкий ночной ветер, дувший из пади, тихо колебал стлавшийся по земле беловатый дым. Какой-то человек то и дело мелькал черным силуэтом на фоне пламени и, как мне показалось, кидал что-то в огонь. Невдалеке виднелось еще несколько фигур, конных и пеших, стоявших в некотором отдалении неподвижно, в роли праздных зрителей...

Передовой ямщик успел съездить туда и теперь выехал опять на дорогу. Он сказал Микеше несколько слов по-якутски и хлестнул лошадь. Опять прежний звук, выражавший не то удивление, не то радостный восторг, раздался за моей спиной...

— Ча! — крикнул Микеша.— Погляди ты, какие люди бывают: сам юрту зажигал, амбар зажигал, городьбу, что есть, в огонь бросал... У-у, дьявол!

— Кто это?

— Да кто иной: Островский, говорю, униат...

И Микеша с интересом и оживлением стал рассказывать мне историю этого пожара.

Она была проста и сурова, как эти берега и горы. Несколько лет назад униат Островский был выслан, кажется, за отпадение от православия и поселен на Лене. За ним пришла молодая жена с маленькой девочкой. Якуты отвели ему надел в широкой пади, между двумя склонами. Место показалось удобным для земледелия, якуты оказали некоторую помощь. Сравнительно нетрудно было сбывать хлеб на прииски, и Островский бодро принялся за работу. Якуты не сказали ему одного: в этой лощине хлеб родился прекрасно, но никогда не вызревал, так как его уже в июле каждый год неизменно убивали северо-западные ветры, дувшие из ущелья, как в трубу, и приносившие ранний иней. Якуты, не желающие вообще поселенцев на своих землях, имели свои виды, а соседи-станочники, арендовавшие у якутов покосы и поэтому зависимые, тоже не предупредили поляка, боясь рассердить якутов.

Первые годы Островский приписывал свои неудачи случайности и, глядя на необыкновенно буйные урожаи, все ждал, что один год сразу поставит его на ноги. И он убивался над работой, голодал, заставил голодать жену и ребенка, все расширяя свои запашки... В этом году лето опять дало одну солому, а осенью измученная горем жена умерла от цинги.

Островский вырыл могилу, без слез уложил жену в мерзлую землю и заровнял ее. Потом он взял билет на прииски и пособие у якутов на дорогу. Якуты охотно дали то и другое в расчете избавиться от поселенца и воспользоваться его домом и кое-каким имуществом. Но Островский обманул эти наивно-хитрые ожидания: он снес все имущество в избу и зажег ее с четырех концов. Этот-то пожар мы и видели теперь, проезжая мимо. Роковой ветер из ущелья раздувал пламя, пожиравшее пять лет труда, надежд, усилий и жертв...

— Все зажигал! В один раз кончил,— заключил Микеша свой рассказ и потом спросил по-своему вдумчиво:

— Уни-ат... Что такое униат?.. Какой человек бывает?

— Вера такая,— ответил я.

— То-то. И он говорит: вера. В одну церковь сам не идет, в другую не пускают. Чего надо?..

Я не знал, как объяснить ему. Мне казалось, что для этого нет слов, понятных Микеше, и некоторое расстояние мы проехали молча среди темной и притихшей тайги... Потом он легко соскочил с лошади и пошел рядом, несколько впереди, заглядывая мне в лицо.

— Другие люди на белом свете,— сказал он серьезно,— вздорят за веру... Есть скопец, есть духобор, есть молокан... Много их мимо нас гоняли. За веру своей стороны лишаются... А у нас никакая церковь нету... Лесине хочешь молись, никто не спросит...

Я молчал. Над горами слегка светлело, луна кралась из-за черных хребтов, осторожно окрашивая заревом ночное небо... Мерцали звезды, тихо веял ночной ласково-свежий ветер... И мне казалось, что голос Микеши, простодушный и одинаково непосредственный, когда он говорит о вере далекой страны или об ее тюрьмах, составляет лишь часть этой тихой ночи, как шорох деревьев или плеск речной струи. Но вдруг в этом голосе задрожало что-то, заставившее меня очнуться.

— Другие говорят... никакой бог нету,— говорил Микеша, стараясь в сумерках уловить мой взгляд...— Ты умной, бумага пишешь... Скажи,— может это быть?..

— Не может быть, Микеша,— ответил я с невольной лаской в голосе.

Он вздохнул, как мне показалось, с облегчением.

— Не может быть!.. Враки! — подхватил он убежденно. И, подняв глаза к темным вершинам береговых гор или к холодному небу, красиво, но безучастно сиявшему своими бесчисленными огнями, и как бы отыскивая там что-то, он прибавил:

— Хоть худенький-худой, ну, все еще сколько-нибудь делам-те правит.

Теперь я невольно наклонился с седла, стараясь поймать взгляд человека, только что и так изумительно просто исповедавшего странную веру в «худенького бога». Была ли это ирония?.. Или это было искреннее вы-

ражение как бы ущербленной и тоскующей веры, угасающей среди этих равнодушных камней?..

Луна совсем поднялась над суровыми очертаниями молчаливых гор и кинула свои холодные отблески на берег, на перелески и скалы... Но лицо Микеши было мне видно плохо. Только глаза его, черные и большие, выделялись в сумерках вопросительно и загадочно...

— Не отста-вай, не отста-ва-ай!.. Ночь пришла-а! — слышалось издалека, из глубины таинственной и сумеречной дали...

III. ОТЧАЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ТИТАРИНСКОМ СТАНКЕ

Предсказание Микеши сбылось: на Титаринском станке опять не признали нашу «бумагу», и опять целый день мы провели без движения в избе очередного станочника. В середине этого дня уехал обратно наш прежний ямщик. К его, а отчасти и моему удивлению, Микеша не последовал за ним, а остался на станке. Ямщик звал его, ругался, грозил даже, но Микеша молча сидел на лавке, потупившись, с видом безнадежного упрямства. Когда ямщик, наконец, увязал гусем всю четверку, и, сев на переднюю лошадь, еще раз крикнул Микешу, тот только махнул рукой и ответил:

— Не еду я!..— И потом, повернувшись ко мне, спросил: — Писать будешь? Пиши, пожалуйста.

Но писать мне на этот раз не приходилось: почта пробежала вчера, проезжающих не было, и до следующей почты у титаринцев времени было слишком много, чтобы испытать наше терпение. Оставалось сидеть в избе, бродить с тоской по берегу Лены и ждать счастливого случая.

К вечеру на станке появился вдруг «униат» Островский. Это был человек небольшого роста, коренастый, с сильно загорелым энергичным лицом настоящего земледельца. На плечах он нес несколько связанных вместе узлов, образовавших целую гору, а за полу его суконного кафтана держалась девочка лет восьми или девяти, тоненькая, бледная и, видимо, испуганная. Я встретил его на площадке и сразу угадал, кто это: в глазах у него как будто застыло охладевшее тяжелое горе. Ста-

ночники робко оглядывались при встрече с этим человеком, в несчастии которого станок чувствовал и свою долю, хотя и пассивного, участия.

Он спросил очередную избу и вошел в нее вслед за мною. Не скидая шапки и не здороваясь, он сбросил на лавку свою ношу и сказал грубо:

— Ну, хозяева, принимайте гостя. Чайник, лепешку, живо!

— Вот он какой... униат,— сказал мне Микеша, тотчас же принявшийся наблюдать суетню оробевших хозяев... Наш чайник был уже готов, и мы пригласили Островского разделить с нами наши дорожные запасы. Но он осмотрел нас с холодным вниманием и, составив какое-то заключение, ответил решительно и сурово:

— Нет, вы люди дорожные... А с ними я все равно сосчитаюсь,— прибавил он с усмешкой, кивая в сторону хозяев.— Ну, живее, что ли? Падаль!

— Позвольте хоть девочку напоить чаем.

Он посмотрел на нее, поколебался и потом сказал дочери:

— Садись с ними... Да мне только для нее и нужно... Самому и кусок в горло не пойдет.

В последних словах прозвучала горечь и как будто усталость. Свои дальнейшие планы, на наш вопрос, он изложил с холодным лаконизмом:

— На прииски иду... Если дорогой не пропаду, наймусь... А девчонку стану господам продавать...

Я с ужасом взглянул на него, стараясь разглядеть в суровом лице хоть что-нибудь, что выдало бы неискренность его слов. Но его лицо было просто пасмурно, слова звучали резко, как холодные льдины во время ледохода... А девочка ласково прижималась к нему, и грубая рука, может быть, механически гладила ее волосы...

— Как же вы доберетесь с девочкой до приисков? — спросил я.

— В лодке,— ответил он сухо.

— У тебя, Островский, разве есть ладья? — вкрадчиво спросил хозяин избы.

Островский уставился в него своим тяжелым, холодным взглядом.

— Мало, что ли, лодок на берегу?..— ответил он.— Возьму любую...

— Так то ведь наши,— наивно сказал станочник, и, видя, что Островский только усмехнулся, он как-то робко поднялся и вышел из избы.

После этого на площадке, освещенной луною, собрались станочники, и даже в нашу юрту долетали их шумные разговоры. Станок жужжал, как рой обеспокоенных пчел... По временам ямщики поодиночке входили в избу, здоровались, переминались у камелька с ноги на ногу и смотрели на пришельца, как бы изучая его настроение. Островский не обращал на все это ни малейшего внимания... Он сидел, согнувшись, на лавке, против огня; по временам клал в камелек полено и расправлял железной кочергой угли...

Проснувшись среди ночи, я увидел его в той же позе. Слабый огонек освещал угрюмое лицо, длинные, опущенные книзу усы и лихорадочный взгляд впалых глаз под нависшими бровями. Девочка спала, положив голову ему на колени. Отблеск огня пробегал по временам по ее светлым, как лен, волосам, выбившимся из-под красного платочка. Кроме Островского, в юрте, по-видимому, все спали; из темных углов доносилось разнотонное храпение...

Девочка потянулась и заплакала.

— Спи! — сказал отец угрюмо.— Ночь еще...

Она всхлипнула как-то горько и спросила сонным голосом:

— Куда пойдем?..

— Ага! — с злобной горечью ответил про себя Островский.— Когда бы я сам знал... К дьяволу, верно... Больше некуда...

— Куда? — громче спросила девочка, но сон брал свое, усталое тельце снова съежилось, и она стала засыпать.

— Ку-да?.. Куда-а? — еще раза два прошептали сонные губы, и, не дождавшись ответа, она заснула.

Сквозь стены доносилось к нам жужжанье голосов. Я протер запотелое оконце и глянул наружу.

Ночь сильно изменилась... Луна поднялась высоко над горами и освещала белые скалы, покрытые инеем лиственницы, мотавшиеся от ветра и кидавшие черные тени. Очевидно, после полночи ударил мороз, и вся каменная площадка побелела от инея. На ней черными пят-

нами выделялась группа людей... Станочники, очевидно не ложившиеся с вечера, обсуждали что-то горячо и шумно.

Потом группа ямщиков медленно направилась к нашей юрте. Дверь скрипнула, ворвался клуб холодного воздуха... Ямщики один за другим входили в избу, подходили к камельку, протягивали руки к огню и смотрели на Островского. Тот как будто даже не замечал их ..

После всех вошел седой старик. Очевидно, его сняли с теплой лежанки собственно для этого случая. Волосы у него были белые, как снег, редкие усы и борода тоже. Рука, опиравшаяся на длинную палку, дрожала. Под другую руку его поддерживал молодой ямщик, вероятно, внук.

— Здравствуй, брат! — сказал он слегка дрожащим по-старчески, но приятным и каким-то почтенным голосом.

— Здравствуй, дед,— ответил Островский, не поворачиваясь.— Зачем слез с печи?

— Да, дело старое,— вздохнул старик и потом спросил политично: — На прииски собрался?

— Ну, на прииски. Так что?

— Добро... Как пойдешь с девочкой?

— В лодке.

— Где возьмешь?

— У вас...

— Дорóгой чем девку кормить станешь?

— Хлебом.

— Где возьмешь?

— Вы дадите... Пуд муки и кирпич чаю!..

Среди ямщиков послышался негодующий говор. К камельку протискался, между тем, Микеша, и мне с моего места было видно его заинтересованное лицо. Черные глаза переходили с мрачной фигуры Островского на почтенного станочного патриарха.

Тот покачал головой. Островский посмотрел на него, усмехнулся и сказал:

— Ну, говори, старый хрыч!

— Буду говорить,— сказал старик.— Я, старый человек, могу тебе сказать. А ты, молодой, послушай. У тебя, Матвей, изба была ведь?

— Была.

— Что ты с нею сделал?

— Спалил, чтоб собакам якутам не досталась.

— Твое дело. У тебя добро тоже было... Где оно?

— С дымом улетело.

— Пошто с дымом пустил? Огонь съел, спасибо не сказал. Мы тебе соседи. Пришел бы к нам... Возьмите, дескать, что осталось. Сбруя, телега, два хомута, дуга хорошая, стол, четыре лавки... Вот и добро было бы. Ты бы до нас, мы до тебя...

— Не надо! Все спалил, чтоб и вам не досталось.

— Ну, спалил, твое дело. Зачем теперь к нам пришел?

Островский посмотрел на старика прищурившись.

— Ты не знаешь, зачем я пришел?.. Сосчитаться с вами пришел. Давайте лодку, давайте хлеба... Дешево прошу... Смотрите, не обошлось бы дороже...

— Иди, у огня проси...— ответил старик, сердито стукнув клюкой.— Огню все отдал, у него и проси. Нам не давал, как теперь просишь? Негодяй!

Эта ясная логика и твердый тон пришлись, очевидно, по вкусу ямщикам. По всей избе пошел одобрительный говор. Но Островский только сверкнул глазами и с внезапной яростью ударил кочергой по дровам. Пук искр метнулся в трубу камелька... Ямщики дрогнули; ближайшие попятились.

Девочка, разбуженная резким движением, проснулась и села на скамье. Островский не обратил на нее внимания.

— Вот так,— сказал он с дикой энергией,— пошло все мое добро... Видели, как хорошо горело вчера ночью?

Он повернулся и посмотрел на замолкшую толпу ямщиков упорным и злым взглядом.

— Своего не пожалел... Думаете — ваше пожалею?

В толпе опять послышался ропот. Микеша тяжело перевел дух.

— Нас, смотри-ка, много,— сказал сзади чей-то задорный голос.

Островский посмотрел туда и отвернулся опять к огню.

— Убейте,— сказал он спокойно.— И меня, и девку... Мне все одно. А не убьете,— давайте хлеба, давайте лодку... И с парусом...

— Еще с парусом ему!..— зароптали ямщики.

Старик стукнул палкой об пол и, когда водворилось молчание, сказал:

— Слушай, Матвей. Я тебе еще скажу слово, ты послушай.

— Говори, мне все одно, что ветер.

— Ты сюда за что прислан?.. За веру?

— Забыл,— угрюмо ответил Островский.

— В господа бога веруешь? — торжественно сказал станочный патриарх, глядя ему в лицо.

— Не знаю,— ответил Островский и вдруг поднялся со скамьи. Ямщики шарахнулись прочь, тесня друг друга.

— Слушай,— сказал Островский, отчеканивая слова.— Слушай и ты меня, старая со-ба-ка...

— А-ха! — охнул внезапно Микеша при этом тяжком оскорблении станочного патриарха. Ямщики смолкли. Несколько мгновений слышно было только легкое потрескивание огня в камельке.

— Помнишь ты,— продолжал Островский,— как я в первый раз приходил к тебе с женой, как я кланялся твоим седым волосам, просил у тебя совета?.. Аа! ты это позабыл, а о боге напоминаешь... Собака ты лукавая, все вы собаки! — крикнул он почти в исступлении, отмахнувшись от девочки, которая, не понимая, что тут происходит, потянулась к отцу.— Вы — дерево лесное!.. И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звезды, и...

Он остановился, и в потемневшей избушке опять водворилось молчание, полное тяжелой подавленности и испуга... Островский опустился на скамью, тяжело переводя дыхание, с искаженным, почти неузнаваемым лицом... Через несколько мгновений оно все передернулось неприятной гримасой, отдаленно напомнившей улыбку, и он насмешливо сказал старику:

— Ну, скажи еще что-нибудь...

— Нечего с тобой и говорить, с отчаянным,—ответил старик грустно и как-то сконфуженно повернулся к выходу. Станочники молча расступались, но вид у патриарха был приниженный и жалкий... Микеша прошел

за камельком и, тихо сев рядом со мной, сказал после короткого молчания:

— Слыхал?.. А? Как он его... Евстигнея Прокопьича... Собака ты, говорит... А-ай-а-ай! Теперь, гляди, станочники все дадут. Побоятся... Чистой дьявол...

— Уни-ат,— прибавил он в раздумье, покачивая головой, как будто в этом малопонятном слове заключалась загадка странного могущества Островского...

Ямщики один за другим, в глубоком молчании, выходили из избы...

Вскоре, столпившись на той же площадке, они зажужжали и заспорили снова... Микеша угадал: ямская община, нравственно побежденная в лице патриарха, уже сдалась, станочники наметили старую лодку с оборванным парусом, оценивали ее и разверстывали по душам этот непредвиденный расход... Станок, очевидно, спешил избавиться от человека, который дошел до того, что уже не дорожит ничем и ничего не боится.

Островский все еще сидел на лавке. Потом он оглянулся по опустевшей избе, и его взгляд встретился с моим. Глаза его, еще недавно горевшие, теперь были совершенно тусклы и неприятно, как-то матово отсвечивали под слабым огнем камелька.

— Ха! — сказал он, продолжая глядеть на меня этим тяжелым взглядом.— За веру!.. Бога вспомнили... Давно это было... Не хотел ребенка хоронить на православном кладбище... Теперь жену зарыл в яму, завалил камнями, без креста, без молитвы... Лес, камни... и люди, как камни...

Он провел рукой по лицу и, как будто отряхнувшись, заговорил спокойнее и с насмешкой:

— Я бьюсь, голодаю, жду... В конце лета приходит мороз, и кончено... И если бы я работал до судного дня,— было бы все то же. А они знали... И никто не сказал, ни одна собака!..

— Врешь, Островской,— послышался вдруг около меня голос Микеши.— Я тебе говорил...

Островский пристально всмотрелся и увидел говорившего.

— А, это ты, Микеша... Верно,— ты говорил, да я не послушал, потому что ты полоумный... А умные говорили другое...

При слове «полоумный» я невольно взглянул на Микешу. Он сидел, опустив голову, лица его не было видно, но он не сказал больше ни слова...

Через час, когда Островский напился, как ни в чем не бывало, чаю вместе с хозяевами, а мы напоили его девочку, пришел молодой ямщик, принес в мешке муку и сказал, что лодка для Островского выбрана.

Меня поразило благодушное выражение голоса этого ямщика. Очевидно, раз общество решило,— ему уже не было дела до того, каким путем была отвоевана эта лодка... Ее приходилось еще чинить, но так как до берега было не близко, то Островский собрался совсем. Он заботливо одел девочку и взвалил на плечи свои узлы. Мы дали девочке сахару, белого хлеба и несколько серебряных монет. Она вопросительно посмотрела на отца. Он не сказал ни слова, не поблагодарил, даже не посмотрел в нашу сторону, но и не помешал ребенку сунуть все полученное в небольшую котомку. Лицо его оставалось все так же холодно и решительно. Уходя, он сказал только:

— Прощайте, господа! Вас они тоже повезут... В лодке не соглашайтесь... Повезут, подлецы, и на лошадях.

И, повернувшись на пороге, он прибавил:

— Бейте по морде... Тогда доедете скоро...

Затем он вышел, ведя девочку за руку.

Я посмотрел за ними в окно. Долгая осенняя ночь чуть-чуть бледнела, но луна все так же светила с вышины, так же дул предутренний ветер, так же качались и бились лиственницы под большой скалой, так же мелькали по инею отблески и тени. Только теперь к этому мельканию прибавились три человеческие фигуры. Впереди шел молодой ямщик, сзади — нагруженный Островский и рядом с ним девочка. И на белой равнине за ними следовали черные тени: одна огромная и уродливая, другая тоненькая и как будто готовая растаять среди этого холода и камней...

IV. ПО РЕКЕ

По-видимому, раз уступив Островскому, станок как бы потерял силу сопротивления, и это послужило нам на пользу. Утром в избу вошел незнакомый нам ямщик, не-

большой, коренастый, с беспокойно бегающими глазами. Он помолился на образ и, не глядя на нас, спросил:

— Чего думаете делать?.. Общество лошадей не дает.

— А тебе что нужно?

— Да я об вас хлопочу. В лодке, пожалуй, ямщики согласятся.

— Ну, в лодке, так в лодке.

Маленькие глазки ямщика радостно сверкнули.

— Значит, согласны? — прорвалось у него восклицание, и он быстро направился к двери. Отворив ее, он повернулся и сказал:

— Микеша, подь-ка сюда... Говорить надо.

Через час мы уже были на берегу реки. Солнце поднялось над горами и сгоняло иней, еще лежавший в тени. Холод начинал уступать перед солнечными лучами, но в заливчиках и затонах держались еще льдистые иглы...

Подходя к берегу, мы с удивлением увидели, что к лодке подходит также Микеша. На одном плече он нес весла, на другом висела винтовка, в руке у него был узелок, который он тщательно спрятал в ящик на корме.

Проделав все это, он посмотрел на меня как будто укоризненным и слегка пренебрежительным взглядом.

— Зачем не писал? Лошадям ехал бы... Дальше тоже лошадей давали бы... Лодкой худо... Когда доедешь?

Мы, очевидно, много потеряли в его глазах, так легко согласившись ехать в лодке, тем более, что станок, в сущности, уступил бы, и мы стали жертвой хитрости старого ямщика. У него пала лошадь, и он отправлял свою долю повинностей греблей. Поэтому он стоял на сходе за то, чтобы нас везти, но непременно в лодке,— таким образом, ему выпадала сравнительно легкая очередь. Общество сомневалось, согласимся ли мы тащиться сорок пять верст против течения, когда дорога еще допускала более удобный и скорый способ передвижения. Старый ямщик взялся уговорить нас и теперь, к явному разочарованию Микеши, торжествовал легкую победу...

— У-у! хитрой ямщик,— говорил он, глядя с улыбкой на торопливо бежавшего по берегу старика... По-видимому, «хитрой ямщик» боялся, что мы еще можем раздумать...

Но мы беспрекословно уселись в широкую лодку, старик двинул ее багром, а Микеша толкал с носа, шлепая по воде, пока она не вышла на более глубокое место. Тогда и Микеша вскочил в нее и сел в весла.

Не успели мы обогнуть небольшой мысок, как от станка к берегу подбежала девочка и кинула нам с деревянных мостков узелок.

— Что это? — спросил я.

— Ничего, ничего, так, посылка...— ответил старик

— Хлеб, чайник...— пояснил Микеша.— На острове чай пить будем. Далеко...

Старик сердито посмотрел на него: он уверял нас, что до захода солнца мы уже будем на станке, и боялся, что разоблачение Микеши еще может изменить наше решение. Он открыл дверку ящика, чтобы сунуть туда свой узелок, и остановился с удивлением, видя, что место занято. Мне показалось, что Микеша, в свою очередь, смутился, когда старик нащупал рукой в его узелке сапоги.

— Это что? — спросил старик, пытливо глядя на Микешу.— Сапоги взял, барахло взял, винтовку взял... Смотри, Микеш, опять, видно, дурить хочешь...

Микеша не ответил и только крепче налег на весла, так что они застонали в уключинах... Лодка взмыла вперед, под килем забились и зажурчали ленские волны. Высокие горы как будто дрогнули и тихо двинулись назад... Темные крыши Титаринского станка скоро потонули за мысом.

День обещал быть теплым. Ветер стих, речная гладь едва шевелилась, и широкие, пологие волны лишь тихо колебали, не взламывая, зеркальное отражение скал. Горы противоположного берега казались совсем близко, и, только пристально вглядываясь в подробности, можно было заметить, что это обман зрения: овраги представлялись извилистыми трещинками, а огромные лиственницы на склонах — былинками...

Наша лодка, тихо покачиваясь, шла точно по водяной аллее. По временам, будто кинутый чьей-то невидимой рукой, из-за гор вылетал черной точкой орел или коршун и плавно опускался к реке, проносясь над нашими головами. Порой где-то в воздухе раздавался торопливый перезвон птичьей стаи, но глаз не мог различить ее на пестром фоне лесистых скал, пока совсем близко

в воздухе не пролетала стремительно горсточка черных точек, торопясь, свистя крыльями, погоняя друг друга и тотчас же сливаясь с пестрым фоном другого берега. Только серые бакланы неторопливо, деловито держались по следу нашей лодки, то припадая грудью к воде, то трепыхая на месте крыльями и погружая в воду тонкие красные лапки.

Порой дорогу нам загораживала далеко вдавшаяся в реку отмель... Тогда Микеша входил беззаботно в холодную воду, иногда по пояс, и тащил лодку лямкой.

— Гляди, вон там, под горой, Островский идет,— сказал мне ямщик, указывая вдаль. Вглядевшись пристально в пеструю полоску другого берега, я действительно увидел на воде тихо двигавшуюся лодочку, а по камням, часто теряясь между ними, двигалась, как муравей, черная точка. Это Островский тащил лодку лямкой.

Плес был прямой, и долго я видел впереди эту точку, пока бессонная ночь и утомление не взяли свое, и я заснул под мерное взвизгивание уключин. Оба мои спутника тоже давно спали на дне широкой лодки.

Когда я проснулся, то сразу заметил, что кругом что-то изменилось. Микеша торопливо шлепал по воде, таща лямку, старик правил рулем, и лодка, круто забирая волну, перерезывала широкую курью (залив), направляясь к середине реки. В воздухе посвежело, берега как будто прижмурились, лица ямщиков были озабочены, движения торопливы.

— Сядь-ко к рулю, скорее будет,— сказал мне старший ямщик, заметив, что я проснулся.— Держи вон туда, на остров,— прибавил он, указывая на едва заметную полоску земли, как будто прижавшуюся к самому берегу на другой стороне, но оказавшуюся впоследствии большим островом на самой середине реки. Я сел к рулю, Микеша, разбрызгивая холодную воду, взобрался в лодку, и она понеслась наперерез течения.

— Халан (снеговая туча) придет,— пояснил старик.— Авось, еще на остров поспеем.

Я не видел никакой тучи. Лодка наша торопливо удалялась от одного берега, но другой как будто не приближался, и река, имеющая здесь около шести верст в ширину, только раздвигалась перед нами, как море. Вверх по течению широко разлившаяся водная гладь почти

сливалась с золотом близкого заката, и только туманная синяя полоска отделяла воду от неба.

Все было светло, задумчиво, спокойно.

— Где же туча? — спросил я, удивленный тревожной торопливостью ямщиков. Старик не ответил. Микеша, не переставая грести, кивнул головой кверху, по направлению к светлому разливу... Вглядевшись пристальнее, я заметил, что синяя полоска, висевшая в воздухе между землею и небом, начинает как будто таять. Что-то легкое, белое, как пушинка, катилось по зеркальной поверхности Лены, направляясь от широкого разлива к нашей щели между высокими горами.

— Работай, работай! — поощрял старик, сам с усилием налегая на весла.

По лицам ямщиков катились крупные капли пота, руки напрягались... Лодка неслась, как стрела, остров заметно отделялся от противоположного берега.

— Не поспеть,— сказал старший, повернув озабоченное лицо в сторону все мутневшей дали...

— Не сдавай книзу, смотри! Как бы не миновать острова...

Я повернул лодку и сразу почувствовал, что ее колыхнуло сильнее, приподняло, и в бока ударила торопливая, тревожная зыбь... Бежавший перед тучею охлажденный ветер задул между горами, точно в трубе. От высокого берега донесся протяжный гул, в лицо нам попадала мелкая пыль водяных брызгов, между берегом и глазом неслась тонкая пелена, смывавшая очертания скал и ущелий...

— Ну, запылит теперь,— сказал старик,— держи, смотри, потверже, помни, где остров

С гор несся уже протяжный шум лиственниц, и скоро к нему присоединился плеск прибоя. Некоторое время было видно, как берег весь побелел от пены. Но вскоре все это стало исчезать... По всей реке запорхали белые снежинки, ложившиеся на темные волны. Они становились все гуще, заволакивая сначала дальние уступы, потом ближние скалы, потом самый обрез берега... Птичьи голоса смолкали, жизнь, казалось, уходила с реки.. Только чайки вскрикивали еще нервно и отрывисто, кидаясь навстречу ветру, гнавшему тучу и сгущавшему ее между высокими горными берегами... Некоторое время

сквозь эту пелену еще доносился шум лиственниц, потом смолк и он, как будто задавленный густым снегом; ветер тоже стихал...

Один из моих товарищей, крепко спавших на дне лодки, проснулся от этой тишины, поднялся и, протирая глаза, спрашивал с удивлением:

— Что такое? Где мы?

Кругом стало однообразно бело, спокойно, и только миллионы снежинок, больших, плоских, пушистых, порхая и кружась, сыпались на воду, на весла, на лодку, на лица гребцов. Скоро края лодки, лавки, одежда побелели под толстым слоем снега.

Ямщики сложили весла и тяжело перевели дыхание... Кругом стояла будто белая стена, а на небольшой площадке воды у самой лодки густо валились белые хлопья, таявшие в воде и тотчас сменявшиеся другими...

— Что же, надо все-таки грести к острову,— сказал я.

— А где он, остров? — ответил насмешливо старший ямщик.

Действительно, определить направление было трудно. Лодка, покачиваясь, казалось, стоит на месте на небольшом темном кружке воды, окруженном белою непроницаемою стеною. Но вдруг Микеша наклонился, протянул весло и вытащил из воды таловую ветку с неопавшими еще листьями.

— Остров близко,— сказал он,— там...

Через минуту из белого тумана опять показались очертания, и мимо нас проплыло целое деревцо, очевидно, только что оторвавшееся с крутояра, оставляя за собой глинистый след еще не обмытых корней... Ямщики бодро ударили в весла...

Прошло с четверть часа, и нос лодки уткнулся в крутой и обрывистый берег. Остров был плоский, и укрыться от снега было негде; ямщики нарубили сухого тальнику, и белый дым костра смешался с густой сеткой снега... Я посмотрел на часы: было уже довольно поздно, и скоро за снеговой тучей должно было сесть солнце...

— А далеко еще до станка? — спросил я.

— Недалече,— ответил старик, бегая своими плутоватыми глазами.— Вот чаю напьемся, остров лямкой пройдем, потом ударимся на ту сторону...

Микеша усмехнулся.

— Остров десять верст,— сказал он равнодушно,— той стороной тоже десять... Ночь-полночь и то на станке не будем... Ты писать можешь, а старик умнее тебя: обманул! — прибавил он.— Хитрой! Тюрьма сидел, и то оправился.

— За что? — спросил я.

— За купчиху,— ответил Микеша, спокойно и с некоторым любопытством вглядываясь в изменившееся лицо старика. У того глаза сверкнули внезапным огоньком.

— За какую купчиху... Врешь ты,— сказал он живо.— Не хлопай, чего не знаешь...

— Да тебя не Фролом ли звать? — спросил я.

— Ну, Фролом. Так что? — ответил он, настораживаясь, и в глазах его проступило что-то злое и чуткое, точно у зверя, сознающего опасность...

Историю этого Фрола мне рассказывали еще в Якутске, так как несколько лет назад она занимала всю Лену, небогатую вообще событиями. Это был когда-то хороший хозяин, и жена у него, значительно моложе его самого, считалась красавицей. Говорили, что он очень любил ее, но и мучил дьявольской ревностью, особенно после того, как, увлекшись каким-то кудрявым хохлом-поселенцем, она убежала было с ним на прииски... Ее скоро вернули, она захворала и умерла от тоски или от побоев. Фрол сначала очень тосковал, потом вдруг успокоился и даже повеселел. Когда ему напоминали о жене или принимались сватать других, он только лукаво усмехался и как-то загадочно уверял, что она опять убежала, но скоро вернется.

Однажды, лунною осеннею ночью, на середине перегона между двумя станками ему встретился ямщик соседнего станка, предложивший обменяться пассажирами. Это обычный прием ямщиков, выигрывающих таким образом целую путину. Пассажиры спали в открытых кибитках и не слышали даже, как ямщики перепрягали лошадей... Отъехав недалеко, встречный ямщик услышал назади как будто испуганный крик. Но он не обратил на него внимания и поехал дальше.

Оказалось, что пассажирка, ехавшая с ним до этой перепряжки, очнулась, когда Фрол влезал на козлы. Удивленная остановкой, она отодвинула фартук, и на Фрола

взглянуло внезапно женское лицо, освещенное светом полной луны...

Что было после этого, и сам Фрол, и обезумевшая от испуга пассажирка помнили плохо. Только уже днем Фрол привез ее на станок, но вместо того, чтобы высадить у почтовой станции, привез к своей избе, сгреб в охапку, внес в избу и крепко запер. На расспросы соседей он объявил, что к нему опять вернулась жена, и что теперь он ее уже не отпустит... Явился староста, собрались станочники, и у сумасшедшего с трудом отбили до бесчувствия испуганную женщину, оказавшуюся вдовой-купчихой из приленского города, часто разъезжавшей по торговым делам...

Суд признал Фрола невменяемым, и он опять вернулся в общество, только хозяйство его сильно пошатнулось...

— Как мог оправиться? — спрашивал теперь у меня Микеша, с любопытством присматривавшийся к странным огонькам, тревожно вспыхивавшим в глазах старика...

Я тоже с любопытством взглянул на Фрола. Он был низкого роста, с широкими плечами, длинными руками и быстрыми движениями сильной обезьяны. В скуластом зеленовато-желтом лице, с тонкими, постоянно как будто жевавшими губами, виднелись типические признаки вырождения. Глаза бегали, и теперь в них загоралось лукаво скрытое мелькающее выражение, как будто он что-то затаил в себе, что-то относящееся до этой истории, известное ему одному, чему глупые люди, пожалуй, не поверят. Микеша приглядывался к нему с любопытством и отчасти с насмешкой; он, вероятно, давно уловил этот двойственный взгляд Фрола и по-своему характеризовал его часто повторяемым словом: «хитрой». Мне казалось, что из бегающих глаз этого станочника глядело просто сумасшествие... Очевидно, и теперь еще в нем, среди этих сумрачных скал, шла какая-то своя жизнь, полная сумасшедших мечтаний, быть может, радостных и светлых, а может быть, и еще более мрачных, чем эти горы. Но трудная доля ямщика, не дававшая отдыха и досуга от тяжелых повседневных забот, не выпускала его из своих тисков, и ей, вероятно, он был обязан тем, что ему позволяли оставаться на реке, вместо сумасшедшего до-

ма, и тянуть до нового случая будничную лямку здравомыслящих земляков...

Впрочем, скоро беспокойные огоньки в его глазах, освещавшие эту глубоко скрытую и таинственную глубину омраченной человеческой души, угасли. Он стал распоряжаться закипавшим чайником... Только лицо его стало несколько бледнее, и губы все как бы жевали что-то...

— Где-то теперь Островский? — спросил я, чтобы переменить разговор...

— Куда девается? — ответил Фрол.— Тоже где-нибудь чай варит на том берегу... Варнак проклятой!..

— Чего ругаешься? — спросил Микеша.

— Хвалить, что ли, стану...— огрызнулся Фрол.— Лодку с общества взял нахрапом... Лодка чего-нибудь стоит...

— На прииски пошел... Проклятое место сидеть не хочет,— задумчиво сказал Микеша и потом, усмехнувшись, прибавил: — А титаринские испугались. Тридцать человек боятся... Один человек не боится... Деньги, сказал бы, давайте, деньги дали бы... Удивительное дело... Уни-ат!

— А тебе любо? — ехидно спросил Фрол и, живо повернувшись ко мне, сказал: — Микешко этот вот какой человек: гоньба гонять — не хочу, жениться — не хочу, начальник возить — не хочу. Ничего не хочу! Как будешь жить?..

— Неволя жить не хочу,— задумчиво и просто сказал Микеша.— Пашпорт давали бы,— белый свет пойду...

Фрол посмотрел на него долгим и насмешливым взглядом...

— Безумной! — сказал он убежденно.— Как пашпорт тебе дадут? Другой тоже пашпорт хочет... Все захотят, кто на станке останется? Начальник приедет, кто повезет?..

Микеша промолчал. Лицо у него было грустное. Быть может, он признавал неодолимую правильность аргумента, но внутри у него бессознательно, нелогично и непобедимо засело стремление к белу свету и вольной воле. Вообще мне казалось, что теперь роли ямщиков радикально изменились. Фрол представлял собою само здравомыслие, вековую мудрость ямщицких общин,— и он с уничтожающей насмешкой смотрел на «безумного» Ми-

кешу. В глазах последнего стояла лишь грустная растерянность и темное, бессознательное стремление... неизвестно куда. .

— Как же ты говоришь,— заступился я за Микешу, к «безумию» которого я почувствовал глубокую симпатию,— как ты говоришь, что он не хочет работать, когда вот он лямку с тобой же тянет...

— Так то́ я его нанимал,— ответил Фрол насмешливо.— Какой это станочник на чужой станок нанимается, свою очередь держать не хочет... Два раза бегал... обществом пороли... Может, скажешь, неправда?

Микеша продолжал молчать...

— Теперь, гляди, опять чего-то надумал,— с чисто мефистофелевской улыбкой продолжал Фрол, пронизывая бедного Микешу острым и насмешливым взглядом...— Скажешь — и это неправда? А зачем барахло взял?.. Сапоги зачем? Ружье для чего захватил? Смотри, общество все равно достанет тебя... Опять портки спустят.

Он говорил с негодованием и увлечением. Но Микеша вдруг перевел на него свои выразительные глаза, в которых засветилась определенная мысль, и сказал просто:

— Меняй у меня лодку. Моя лодка на станке осталась, хорошая!..

Маленькие хитрые глазки Фрола забегали. Он был сбит с бескорыстно-обличительной колеи и не мог сразу попасть на другую, тем более, что ему приходилось стать пособником подозреваемого нового побега. Через некоторое время, однако, он ответил заискивающим тоном:

— Придачи, Микешенька, не спросишь?

— Где придачу возьмешь? Лодку сегодня давай. Проезжающих доставим, я в лодку сяду, ты пешком назад пойдешь.

— А я потом как твою ладью достану? Станочники не отдадут.

— Бумагу пишем. Вот он бумагу пишет,— указал Микеша на меня.

— Пишешь бумагу?—живо спросил у меня Фрол...— Ну, когда так,— меняю!

Они ударили по рукам, и я тут же на листке, вырванном из записной книжки, наскоро написал условие, буквы которого расплывались от снега. Фрол тщательно свернул мокрую бумажку и сунул в голенище. С этой минуты он становился обладателем хорошей лодки, единственного достояния Микеши, которому в собственность переходила старая тяжелая лодка Фрола. В глазах старого ямщика светилась радость, тонкие губы складывались в усмешку. Очевидно, теперь он имел еще больше оснований считать Микешу полоумным...

Снегу, казалось, не будет конца. Белые хлопья все порхали, густо садясь на ветки талины, на давно побелевшую землю, на нас. Только у самого огня протаяло и было черно. Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова с выступавшими, точно из тумана, очертаниями кустов... Дальше была белая стена мелькающего снега.

Вдруг оба ямщика насторожились.

— Будет! — сказал старик, подымаясь.— Собирайся, ребята, халан проходит...

Где-то совсем близко послышалось веселое щебетанье птиц, как будто птичья стая радовалась опять наступившему свету, и вслед за этим я и оба мои товарища вскочили на ноги, пораженные, почти испуганные. Сплошная завеса снега разорвалась в вышине, и оттуда, как-то угрожающе близко, точно в круглое окно, глядел на нас огромный утес, черный, тяжелый, опушенный снегом, с лиственницами на вершине. Впечатление было такое, как будто кто-то огромный и мрачный тихо раздвинул снеговую тучу и молчаливо смотрит сверху на кучку людишек, маленьких и беззащитных, затерявшихся на пустом острове.

Мгновение... окно закрылось, утес исчез, как мимолетный кошмар, но снег уже пришел в движение и несся мимо, волнуясь и колеблясь. Опять в этой колеблющейся пелене мелькнул разрыв, другой, чаще и шире, и через несколько минут весь горный берег выступил перед нами в поражающем величии...

Огромные базальтовые скалы стояли у самой воды, возвышаясь вершинами вровень с хребтом... Столбы, арки, крепостные стены с зубцами, башни, мосты, пещеры, фасады причудливых зданий, разбросанных по гигант-

скому склону,— все это, опушенное по выступам белыми каймами снега, облитое лучами заходящего солнца, полное покоя, величия и невообразимой первобытной красоты...

А последние столбы снеговой тучи мчались мимо, как остатки какой-то призрачной армии...

Ничего прекраснее этого зрелища я не видел никогда в своей жизни.

— Камнями этими поманили отцов наших,— сказал Фрол, и в лице его я прочел почти ненависть.— В них, говорит, золота лопатами греби... Поди, возьми его! Однако, братцы, ехать пора... Бери, Микеша.

— А во-он — Островский идет,— указал Микеша, когда мы вышли на откос берега...

Под огромными горами, на побелевшей и залитой косыми лучами вечернего солнца береговой полоске опять виднелась маленькая черная точка...

Долго еще после этого плыли мы по темной реке. Последние лучи заката давно погасли, горы утонули в густом сумраке, река как будто притаилась между смутными берегами, и всплески наших весел одни нарушали очарованное молчание, отдаваясь чутким эхом заснувших ущелий... Вверху было глубокое, темное небо, внизу таинственно мерцающая глубина... И до сих пор еще, порой, я вижу во сне эту темную реку, и смутные отражения редких звезд, и эти горы, похожие в темноте на тучи, и нашу лодочку, покачиваемую невидимой волной великой сибирской реки... И на меня веет от этих воспоминаний глубокою, неизобразимою словами печалью. Откуда она — я сказать не могу .. Отголосок ли невозвратного прошлого, смутное мерцание пройденного уже пути жизни? Или это определенная человеческая грусть этих станочников, обреченных караулить на диких берегах полосатые казенные столбы и холодные камни?..

— Огонь! — радостно сказал один из моих товарищей.

Действительно, за поворотом, навстречу нам засверкал на берегу живой огонек костра под темными скалами. Подъехав ближе, мы услышали хриплый голос, выводивший какую-то песню, у костра виднелись три человече-

ские фигуры, в которых мы скоро узнали Островского и недавно встреченных нами бродяг.

Вероятно, заслышав плеск весел, Островский поднялся, отошел от костра и остановился, вглядываясь в темноту.

Потом он сошел на берег.

— Ага! Это вы? — сказал он.— Ого-го! и Микеша с вами...

— А вы, Островский, нашли себе товарищей,— сказал я.

— Ребята теплые! — ответил он с насмешкой в голосе.

— Не совсем только подходящая компания для девочки...

— Ни-и-чего! — ответил он уверенно.— Го-го! Островского никто не обидит, а за Анюту... горло перерву!..

— Островской! Куда ушел? С кем ты там разговариваешь? — крикнул один из бродяг от костра.

— Молчи! Не твое дело! — грубо ответил ему Островский и, опять обращаясь к нам, прибавил: — Думаете, пропаду?.. Нет, не пропаду... Был дурак, чуть не пропал... Ха! Думал святую землю работать, других научить, как за нею ходить надо... Спасибо, самого научили!

— Островской — дьявол! — послышалось опять с берега, и один из сидевших у костра бродяг зашевелился...

— Однако вы лучше проезжайте по добру,— сказал Островский.— Товарищи мои выпили... Как раз захотят познакомиться ..

Фрол быстро двинул лодку багром, и она нырнула с нами из освещенного пространства в темноту.

— Храни господи,— сказал старый ямщик.— Жиган ныне голодный, как волк. На станках не подаем мы... А водку жрут,— прибавил он с удивлением и, пожалуй, с завистью...

Мне показалось, что Островский тоже был слегка выпивши. Мы отъехали сажен тридцать, когда с берега послышался пьяный голос бродяги:

— Микеша! А, Микеш! Желторотой! На волю хочешь?

— Молчи ты, пьяный! — сказал сурово Островский.

— Ну, ничего, не сердись, Островской, я ведь, любя...

— Микеш!.. Мике-еш! . Микешенька...— катилось еще долго над сонной рекой, перемежаясь пьяным хохотом. Ямщики молча налегали на весла, и вскоре огонек скрылся из виду.

Ночь продолжала тихо ползти над Леной. Взошла луна, красная, как кровь, и опять закатилась за вершину близкой горы. Северная Медведица спустилась низко, все растягиваясь и вырастая... Потом мутное облако поглотило редкие звезды, а наша лодка все плыла... Я как-то не заметил, как мы еще раз перерезали реку, и спохватился только, когда лодка зашуршала килем по песку.

Кругом было пусто. За широкой береговой отмелью лежала полоса гор, молчаливых и сонных...

Ямщики сложили весла, стали в лодке, приставили руки к щекам, и над пустынным берегом, будя ночные отголоски, понесся протяжный крик:

— Аг-ы-ы...

Фрол кричал, видимо надрывая старую грудь. Микеша тянул свободно, полным и звучным голосом. Никогда еще я не слыхал подобных звуков из человеческой груди... Крик был ровный, неустанный и гулкий, точно тягучий отголосок огромного колокола... Это был обычный призыв с берега к спящему за отмелью отдаленному станку.

— Аг-г-гы-ы... ямщики!

Старик сорвался глухим хрипом и болезненно закашлялся.

— Э-эх,— сказал он с горечью,— съела у меня голос река-матушка.

Микеша продолжал кричать, не останавливаясь для передышки...

— Идут,— сказал, наконец, Фрол.

Действительно, за отмелью мелькнули огни фонарей, и Микеша тоже смолк. И тотчас же со стороны реки, из-за горы, как бы в ответ на крик ямщика раздался такой же протяжный крик, только чудовищно громкий и глубокий. Мы невольно переглянулись и замерли, охваченные безотчетным испугом... Казалось — сказочное чудовище проснулось и завыло где-то неподалеку.

— Пароход,— сказал первым опомнившийся Фрол.

Вскоре в глубине темной ночи послышались частые гулкие удары, и на реку, сверкая огнями, выплыл пароход с двумя барками. Микешка быстро вскочил в лодку и отсунулся от берега, кинув Фролу его узел. Через минуту лодку едва можно было разглядеть на темных волнах Лены.

— Прощай, Микеша! — крикнул я вдогонку.

— Проща-ай! — донеслось в ответ из темноты.

— Варнака к варнаку тянет,— с презрением сказал Фрол.— К жиганам, видно, пристанет.

— А ты разве не знал, зачем он у тебя выменивает лодку? — сказал я.— Зачем же уступил?..

Фрол ответил не сразу.

— Хорошо ли бумагу писал? Крепко ли? — спросил он через минуту.— Станочники чисто собаки. Не отдадут, пожалуй.

В это время к нам подошли станочники с фонарями, и все мы молча смотрели, как пароход, повернув к нам оба огня, бежал как будто прямо к нашему берегу... Под лучом пароходного огня мелькнула на мгновение черною тенью лодка Микеши и исчезла...

— Кто на реке? — спросил один из ямщиков.

— Микеша,— ответил Фрол торопливо.— Со мной приехал, да, вишь, сейчас отсунулся.

— Пошто?

— Я разве знаю?.. Ничего не говорил. А видно, опять в бега снарядился.

— В бега, так пошто за барку зачалился? — сказал опять пришедший ямщик, зоркие глаза которого, очевидно, пронизывали темноту там, где я ничего не видел.

— С жиганами, видно, стакнулся. Жиганы повыше камней ночуют.

— Ну, ин, видно, так,— равнодушно подтверждали ямщики. Некоторое время они следили за поворачивавшимися огнями парохода, как бы обсуждая, что принесет им с собою эта редкая еще на Лене новинка: облегчение суровой доли и освобождение или окончательную гибель... Оба огня на кожухах исчезли, и только три звездочки на мачтах двигались еще некоторое время в черной тени высоких береговых гор... Потом и они угасли... Над Леной лежала непроницаемая ночь, молчаливая и таинственная...

Недели через две, с теми же остановками и спорами, мы все еще двигались кверху по замерзающей Лене, когда нас догнал знакомый почталион, встреченный нами еще под Якутском и теперь возвращавшийся обратно. Сообщая различные новости пройденного уже нами пути, он рассказал, между прочим, что на несколько станков ниже Батамая оголодавшие бродяги ограбили было проезжего купца. Согнали народ и устроили облаву: варнаки отсиживались в пещере, отстреливаясь камнями, но, в конце концов, сдались. С ними, говорили, попался молодой ямщик, убежавший с Титаринского станка.

— А Островского с ними не было? — спросил я.

— Нет. Он отстал от них раньше.

— Неужели Микеша тоже участвовал в грабеже?

— Кто его знает. Сам говорит, что участвовал, но ни купец, ни бывший с ним ямщик его не видели. А бродяги смеются: «Так, говорят, припутался к нам желторотый зря...»

Мне казалось, что я понял Микешу: он, очевидно, думал, что если ему удастся выбраться «за горы» через острог, то это будет крепче, и станочники его уже не достанут, как свою собственность, обратно... Да и сам он, долгим общением в остроге с «умными» и бывалыми людьми, надеялся, вероятно, просветиться...

Да, всякие бывают мечты... Сбылась ли мечта молодого станочника,— я не знаю...

1900—1901

Феодалы

I

Уже несколько дней мы ехали «разнопряжкой». Это значило, что на каждого человека (нас было трое) давали лошадь и узенькие дровнишки. Ямщик, иногда два ехали на таких же дровнях отдельно. Составлялся караван, который, порой стуча и визжа полозьями по острым камням, медленно тянулся по берегу реки под скалами.

Кажется, только при таком путешествии чувствуешь настоящим образом, что такое огромный божий свет и сколько в нем еще могучей и гордой пустыни. Однажды мне случилось отстать, поправляя упряжь. Когда затем я взглянул вперед,— наш караван как будто исчез. Только с некоторым усилием под темными скалами, присыпанными сверху каймами белого снега, я мог разглядеть четыре темные точки. Точно четыре муравья медленно ползли меж камнями.

Река начинала «становиться», и сообщение между двумя берегами было уже прервано. В одном месте мы увидали на той стороне угловатые крыши станка, и над снегами вилась синяя струйка дыма. Серединой реки шел уже густой лед, и очередные ямщики с лошадьми и санями заблаговременно перебрались на левый берег, чтобы поддерживать почтовое сообщение без переправы. Здесь у них не было никаких строений. Под огромной

скалой мы увидели широкую яму, в которой ютились и люди, и лошади. В середине горел костер из целых стволов лиственницы, и дым подымался кверху, смешиваясь с падавшим из темноты снегом...

Ледоход затягивался, и люди жили таким образом вторую неделю. Огонь освещал угрюмые, истомленные лица ямщиков. Лошади фыркали под каменными стенами огромной землянки. Порой, когда костер вспыхивал ярче, вверху появлялись то кусок нависшей скалы, то группа лиственниц... Появлялись, стояли мгновение в вышине, как будто готовые обрушиться, и опять исчезали...

Я вспомнил старинное слово «ямы», и мне показалось, что я понял происхождение этого термина. Не в таких ли «ямах» начиналась в старину «ямская государева служба», не отсюда ли самое слово «ямщик»... Картина была фантастическая и мрачная, точно выхваченная из XVI столетия.

Через час наш караван выехал опять, звеня бубенцами, и скоро мутные отсветы подземного костра в пелене падавшего снега скрылись за поворотом...

II

Молодой сон был нашим спасеньем в этом долгом пути. Убаюкиваемые неровной дорогой, ленивой трусцой лошадей, позваниваньем бубенцов и однообразием картин, мы проводили большую часть времени в полузабытьи. Засыпая иной раз при свете тусклой вечерней зари и просыпаясь темною ночью под шипенье легкой метели, я часто терял границу между сном и действительностью. Сны порой бывали теплые и яркие, как действительность, холодная действительность походила на кошмарный сон.

В таком неопределенном настроении проснулся я и в тот вечер, с которого начинается мой рассказ. Меня разбудила неожиданная остановка, и я открыл глаза...

Кругом было темно. Береговые скалы отодвинулись. Нас окружали какие-то громадные массивные постройки, которые оказались барками. Целый караван барок, охваченных льдом... Впереди на довольно крутом подъеме рисовалась силуэтом фантастическая фигура гигантского

всадника. Я смотрел на него снизу. Его голова, казалось, уходила в облака, плечи высились над отдаленными горами. Рядом вприпрыжку бежал пеший человек в остроконечном шлыке.

Вдруг огромная рука всадника поднялась в мглистом небе и опустилась. Пеший человек закрыл голову рукой, и острый свист нагайки прорезал воздух...

— Ты куда это завел, чтоб те язвило? — сказал гигант скрипучим и вместе гнусавым голосом...— Давно надо быть в резиденции... А мы все еще на берегу?!

— Да я,— смиренно послышался голос пешего,— я, Кондратий Ермолаич, за имя́ вот подался...

— «За имя́»,— передразнил всадник...— Не могешь сам рентироваться, каналья... Гледелки у тебя ржа, что ли, выела, мразь ничтожная!.. червь ползучий, лярва... А я тут зябни!

Последние слова были сказаны гнусавым, почти плачущим голосом, и всадник опять поднял руку с нагайкой. Лошадь под ним испуганно затопталась. Пеший спутник уклонился от удара. Наши ямщики сошли с санок и приняли участие в обсуждении положения. Оказалось, что мы все заснули, лошади свернули к берегу. За нами потянулись случайные спутники, причем даже пеший проводник крупного незнакомца, очевидно, тоже заснул на ходу...

— Чего будем делать? — проскрипел опять тот же голос...— Оз-зя-яб ведь я! Смерть...

— Ви́ска это,— сказал, выступая из темноты, один из наших ямщиков.— Эк-ка беды! Куда в сам деле заехали!.. Вишь, это барки. Караван приисковой зимует...

— Ну, с богом,— сказал другой ямщик.— Ступай и ты, ваше степенство, за нами. Придерживай левей, ребята, левей... Берегись... Не спи... Левей, левей... Не задень мотри... Камень тут... Ну, так и есть... Э-эх!.. Ну, слава те господи...

Резкий толчок саней о камень... Потом ровное поскрипывание полоза, и я опять сладко заснул. Только сначала еще сквозь дремоту, открывая порой глаза, я видел, что мы едем гуськом по широкой пустынной луговине, и ветер сыплет в лицо крупными хлопьями снега...

Но вдруг опять... Сон это или действительность? Копыта наших лошадей гулко стучат по деревянной настил-

ке моста... По обеим сторонам не камни, не река, не скалы с шумящими вверху деревьями, а перила моста и... фонари! Впереди какое-то двухэтажное здание с светящимися окнами, и яркие цепочки фонарных огоньков уходят в перспективу улицы...

Я протер глаза, но видение не исчезло... Лошади, перестав стучать по мосту, бежали по ровной дороге... Освещенный двухэтажный дом надвинулся ближе. На занавесках окон мелькали, точно китайские тени, силуэты танцующих... Слышались заглушенные звуки оркестра... А назади — холодная спутанная тьма, в которой угадываются горные склоны, темные ущелья, глубокое ложе замерзающей реки, холод, метель и пустыня...

Только тот, кто несколько долгих лет провел вдали от всякой культуры, может понять, каким изумительным красавцем кажется порой после этого простой фонарный столб с керосиновой лампой, светящей на улицу... И как волшебно звучит самый незатейливый оркестр за освещенными окнами...

Поравнявшись с подъездом двухэтажного дома, наш караван остановился, и тотчас же рядом со мной выросла фигура мужика. Он был в большом полушубке, с головой, закутанной в башлык. Из-под башлыка торчал конец носа, заиндевевшие брови и белые усы. В одной руке у него была большая дубина, в другой — трещотка, из чего мы заключили, что это ночной караульщик.

— Что за народы? — спросил он.— Гости еще, что ли?

— Го-о-сти,— насмешливо сказал один из ямщиков.— Чай, видишь: этапные!

— Ну, так пошто ж вы сюда-то их приперли? Волоки на въезжу...

— Так,— сказал опять ямщик в раздумье...— Это мы знаем. А на каку́ въезжу?

Мужик стал осматривать наши фигуры...

— Что тут у вас такое? — спросил я у него, указывая на освещенные окна

— Это? — переспросил он.— Это у нас разведенция... Господа тут теперь гуляют. Вы Михаил Никитича знаете, что ль?

— Не знаем...

— Не знаете... та-áк... Дочку он просватал, так вот и гуляют на сговоре... Куда ж вас в сам-то деле?.. На черну, что ли? Или на господску? Бумага, что ль, с вами какая?

— Есть.

— Давай сюда. Схожу к заседателю, поспрошаю... Здесь он, тоже гуляет с прочими господами, в компании...

Я дал ему нашу бумагу, и он нырнул в калитку рядом с каменным домом.

Музыка смолкла. Мерное движение китайских теней приостановилось... Прошло несколько минут, в течение которых заседатель, может быть с участием веселых гостей, обсуждал наше положение...

Через несколько минут караульщик появился опять и сказал:

— Вались, слышь, на господску... Барин приказал... Дворяна, видно,— прибавил он в раздумье и вдруг отчаянно заколотил трещоткой, как бы желая показать освещенному дому, что он охраняет его беспечное веселье по соседству с насторожившейся холодной пустыней. Стук его трещотки наполнил улицу и полетел вдаль, в спутанную мглу реки и гор. Когда же трещотка смолкла, то на улицу опять порхнули звуки оркестра, и тени на занавесках опять двигались, подпрыгивали, встречались, отвешивали поклоны и расходились...

Еще один мостик с фонарями, еще пустырь — и мы въехали в улицу сибирской слободки, погруженной в глубокий сон. У одного дома мы увидели оседланную лошадь. Знакомая фигура в шлыке хлопотала около нее, снимая переметы... В замерзшие окна виднелся свет, тоже, как и в резиденции, мелькали тени, и слышались нестройные пьяные песни...

— Въезжа эта... черная,— пояснил один из ямщиков.— Этапные, видно, загуляли...

Мы проехали мимо. Мне казалось, что все эти впечатления сейчас исчезнут и что я проснусь опять на угрюмой бесконечной дороге или у дымного «яма». Но когда наш караван остановился у небольшого чистенького домика,— волшебный сон продолжался... Теплая комната, чистые и мягкие постели... На полу ковры, в простенках высокие зеркала... Один из моих спутников

стоял против такого зеркала и хохотал, глядя на отражение в ровном стекле своей полудикой фигуры...

Это была «господская въезжая» приисковой резиденции...

«Резиденциями» называют в Сибири такие пункты около больших рек или иных путей сообщения, которые служат посредниками между глубиной золотоносной тайги и остальным миром. В резиденциях происходит окончательная наемка рабочих и заключение с ними контрактов. Отсюда их уже разводят по тайге на места работ, и поэтому народ зовет их «разведенциями». Тут же рабочие получают окончательный расчет, отсюда на прииски доставляются припасы, здесь живет заседатель, а иногда и горный исправник с командой для поддержания во всем приисковом районе порядка и для борьбы с спиртоносами и хищниками золота. Одним словом, резиденция — это настоящая столица приискового царства. Рабочие и служащие отводят здесь душу после томительного однообразия таежной жизни... Ходят самые фантастические рассказы о разгуле, который врывается в эти места, когда хлынут сюда из тайги партии рабочих для расчета... Небольшие пароходики, пробирающиеся из резиденции в тайгу, нередко везут приисковым господам и их дамам последние новинки парижских мод.

В одну из таких резиденций приехали мы в этот мглистый вечер, начавшийся для нас в освещенной костром яме временного станка... Мы то и дело смеялись, беспричинно и бессмысленно, сидя за покрытым чистою скатертью столом, на котором кипел блестящий самовар.

Через полчаса все мы крепко спали в мягких постелях... Сквозь сон я слышал какую-то суету. Кто-то как будто называл мою фамилию, кто-то пытался осторожно разбудить меня... Затем меня оставили в покое.

III

На следующее утро, едва я успел проснуться, как в спальню вошел молодой казак и почтительно остановился у двери. Он кинул быстрый и, как мне показалось, слегка насмешливый взгляд на наши переметные сумы,

в беспорядке лежавшие на ковре, на принадлежности нашего далеко не щегольского дорожного костюма и затем сообщил, что он прислан «барином» для услуг. «Барин» присылали вчера звать меня на «вечорку», но меня нельзя было добудиться. Теперь приказывают лично явиться к нему в канцелярию за бумагой.

— Кто же этот барин? — спросил я с недоумением.— Как его фамилия?

Барин оказался заседателем приискового участка, а фамилию его я только слышал ранее, но не связывал с нею никаких личных воспоминаний. Меня это заинтересовало, и, хотя особенной надобности в свидании не предстояло,— я был ряд случаю повидать административного главу приисковой резиденции. Поэтому, одевшись, я отправился к заседателю.

Канцелярия помещалась в том самом поселке, который так поразил меня вчера ночью, в небольшом, но все-таки довольно просторном каменном доме. В первой комнате за столами помещалось два или три человека, усердно скрипевших перьями. На стене висел олеографический портрет государя и в черных рамках какие-то печатные листы и объявления. Пахло чернилами, носильным платьем и еще чем-то, составляющим специфическую принадлежность захолустных канцелярий, полицейских участков и духовных консисторий... Писцы имели вид людей, много испытавших в жизни. Вероятно, это были ссыльные; относились они к своему делу с угрюмою, озабоченною важностью и говорили друг с другом осторожным шепотом. Чувствовалось, что над канцелярией царит ощущение дисциплины, как будто просачивающееся из-за плотно закрытой двери, задернутой тяжелой коричневой драпировкой.

Когда я назвал свою фамилию и сказал, что явился по приглашению, один из писцов медленно положил перо на раскрытую ведомость, оглядел с ног до головы мою фигуру в полуякутском костюме и поднялся с своего места. Впрочем, подойдя к закрытой двери, он остановился и с оттенком нерешительности оглянулся на другого. Тот кивнул головой и сказал, склоняясь над бумагой:

— Доложи... чего тут...

И тотчас же деловито заскрипел пером.

Дверь тихо открылась и закрылась... В канцелярии опять водворилась робкая тишина, нарушаемая скрипом перьев.

Через полминуты писец вынырнул из-за портьеры.

— Пожалуйте,— сказал он, вежливо сторонясь и пропуская меня в кабинет.

Комната, куда я вошел, совсем не походила на канцелярию или деловой кабинет полицейского заседателя (должность, соответствующая становому приставу). Это был скорее будуар светской женщины. Прежде всего бросалась в глаза роскошная пестрота, в которой мягко терялись отдельные предметы. Нога ступала по толстому, лохматому ковру, под цвет тяжелых стенных обоев. Стены были увешаны картинами и зеркалами. В одном месте сверкала на темном фоне коллекция оружия; в углу лапчатые листья тропических растений простерлись над роскошной оттоманкой. Середина комнаты была занята большим столом, вокруг которого стояли мягкие кресла, как будто приготовленные для каких-то заседаний. В задней стене был широкий пролет с тяжелыми драпировками. За ним, в углублении виднелась большая ниша, что-то вроде спальни. В полутьме чуть пестрели пятна тигровой шкуры над кроватью, и женский портрет в золоченой раме выступал из полумрака... Комната со столом освещалась большим венецианским окном, в которое, точно на картине, виднелось серое небо с тяжелыми желтоватыми облаками и дальний берег Лены.

— Покорнейше прошу вот сюда... Кажется, имею удовольствие говорить .. с...

Только теперь я заметил среди пестроты этой комнаты фигуру хозяина. Он сидел в огромном кресле, вроде председательского, с очень высокой спинкой, и теперь сделал движение, как будто хотел подняться мне навстречу. Впрочем, движение это было скорее символическое: выходить из-за стола с близко придвинутым тяжелым креслом было неудобно. Я и принял это, как величаво-снисходительную любезность, подошел сам и назвал свою фамилию.

— Оч-чень рад... Пожалуйста...

Благосклонным жестом он указал на ближайшее кресло и назвался в свою очередь:

— Степан Осипович Костров.

Степан Осипович Костров оказался человеком еще молодым и довольно красивым. Преждевременная лысина сильно увеличила его высокий лоб, и все лицо, как-то излишне выхоленное и нежное, выделялось ярко и значительно на темновато-пестром фоне. На нем была щегольская серая тужурка с форменными жгутами на плечах, застегнутая вверху на одну пуговицу. Из-под нее выступали ослепительный стоячий воротничок и сверкающая белая жилетка с маленькими золотыми форменными пуговицами. Из рукавов тужурки выставлялись очень широкие крахмальные манжеты, и вся фигура давала прежде всего впечатление нескольких ослепительно белых пятен. Лицо тоже сразу напоминало о пудре и душистом мыле. Впрочем, серые глаза смотрели твердо, и в чертах лица проглядывала холодная самоуверенность. Мне показалось на одно мгновение, что моя невольная растерянность и инстинктивное ощущение дисгармонии, которую внес я своей полудикой фигурой в этот щегольской уголок, доставили хозяину некоторое удовольствие. По лицу его скользнуло что-то почти неуловимое, как будто оно стало еще мягче, свежее и душистее... Он подвинул ко мне ящик с сигарами и сказал:

— Да, я очень рад, что имел случай познакомиться. Слышал, что принимаете, так сказать, участие в литературе?.. Мы здесь это ценим...

Он придвинул еще коробку спичек и спросил очень любезно:

— Надеюсь, вы хорошо провели *у меня* эту ночь?

В тоне его мне почуялось легкое напоминание, что *у кого-нибудь другого* я мог бы провести эту ночь и гораздо хуже... на черной въезжей, например, а не на господской.

— Ночь мы с товарищами провели превосходно,— ответил я.— Я пришел, чтобы поблагодарить за гостеприимство и... взять свою бумагу.

Хозяин, по-видимому, не торопился закончить аудиенцию так скоро. Срезав конец сигары, он долго закуривал ее и затем, выпустив клубок дыма, сказал, откидываясь в кресле и протягивая ноги под столом:

— Мы позволили себе потревожить вас вчера, но вы уже спали... Маленькое семейное торжество... Кронид Иванович был тоже...

Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Кронид Иванович Шабельский. Ведь вы, кажется, знакомы?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?.. Кронида Ивановича?.. Странно...

Он кинул на меня взгляд, в котором проскользнуло сомнение: то ли я лицо, по адресу которого он расточал свои любезности, и продолжал:

— Новый управляющий приисков... Я думал, что вы знакомы. Когда вчера принесли вашу бумагу, он сразу обратил внимание на вашу фамилию... Может, припомните?

— Нет, не припоминаю.

— Достой-нейшая, просвещенная личность...

Лицо его при упоминании о просвещенной личности стало еще более матовым и разнеженным... Он опять с легким оттенком сомнения скользнул по моей фигуре, как бы сопоставляя ее с достойнейшим Кронидом Ивановичем, к большой, конечно, невыгоде для моей скромной особы, и сказал с озабоченным видом:

— Уехал утром, прямо с бала... Как-то удалось переправиться?..

Я сказал, что переправа, вероятно, очень трудна. На реке довольно крупное «сало». Ямщики на некоторых станках дежурят в «ямах». Людям приходится очень трудно. Он выслушал последнее замечание с небрежным видом и сказал:

— Народ привычный... Боюсь, что и мне скоро придется ехать в участок и притом довольно далеко...

— Ваш участок, вероятно, велик,— сказал я, чтобы поддержать разговор.

Он слегка улыбнулся как-то особенно, одними бровями и уголком губ, в которых была защемлена сигара, и сказал кратко:

— На европейский масштаб,— целое государство!.. Да вот, не угодно ли взглянуть на эту карту... Синей чертой обведены границы моих владений...

И он с изящной небрежностью сделал округленный жест рукой по направлению к большой карте, висевшей над камином.

Я с любопытством взглянул на нее. Синяя черта, извиваясь между хребтов, горных речек и падей, уходила на северо-восток, захватывала значительную часть течения Лены и ее безымянных притоков, подходила к водоразделу Енисея на северо-западе, а на юго-востоке широким синим пятном к ней придвигался Байкал...

Этот клок разрисованной бумаги живо подействовал на мое воображение. Мне представились эти сотни и тысячи верст, оставшихся назади, которые мы одолевали так долго и с такими усилиями... Зеленые пятна, там и сям причудливыми массами разбросанные кистью чертежника,— это глухая, дремучая тайга, непроходимою, дикою чащею раскинувшаяся по горным уступам и ущельям. Черные точки — убогие станки, населенные несчастными, полуголодными и угрюмыми ямщиками. Извилистые полоски — это горные речки, через которые мы переправлялись с такими приключениями... Все это живо представилось мне при взгляде на карту «участка», который этот франтоватый господин в серой тужурке с такой великолепной небрежностью только что назвал «своими владениями».

«Да ведь это в самом деле владетельный князь»,— подумал я и с невольным любопытством еще раз взглянул на г-на Кострова.

По наружности сразу видно, что это не коренной сибиряк, а из «навозного элемента», как их иронически зовут в Сибири .. Сильно воспользовался жизнью в России... разорился... Потом взялся за ум... Приехал в хвосте генерал-губернаторской свиты и, благодаря столичной протекции, получил теплое место на приисках. В то время эти «навозные» господа не пользовались особенным расположением сибиряков. Последние предпочитали своих аборигенов, с знакомым сибирским бытовым налетом. Они как-то лучше приходились ко двору. У навозных не было местного чутья. Они были высокомерны, заносчивы, и требования их часто превосходили всякие пределы...

Степан Осипович Костров имел руку в Иркутске... В последнее время, впрочем, толковали о перемене генерал-губернатора...

IV

В кабинете вдруг послышался какой-то сторонний звук...

Оглянувшись, я увидел, что мы с заседателем не одни. У двери, прижавшись между портьерой и пестрой стеной, как бы стараясь уничтожиться в этой роскошной обстановке, стоял человек, которого я при входе не заметил.

Это был субъект большого роста, одетый в длинный серый пиджак и светлые брюки крупной клеткой. Пиджак висел на сухощавой фигуре, как на вешалке, брюки были засунуты в лакированные голенища, слишком широкие и нелепо спустившиеся книзу. На светлой, но порядочно обмызганной жилетке болталась толстая металлическая цепочка с массивными брелоками. Лицо у незнакомца было смугло-оливковое с очень низким лбом, над которым торчали в разные стороны короткие и густые черные волосы. Большие торчащие уши, толстая нижняя губа и широкие челюсти давали впечатление странной, несколько комической гримасы. Маленькие черные глаза сверкали по временам враждой и каким-то унылым упорством.

Наклонив голову и глядя искоса и исподлобья на заседателя, он сказал:

— Можно мне уже идти, Степан Осипович?

Заседатель повернулся в его сторону и, откинувшись назад, некоторое время смотрел на незнакомца строго и холодно...

— Нет-с, нельзя-с, Кондратий... забыл, как по батюшке,— сказал он сухо.— Мы с вами еще не кончили нашего разговора...

— До коих же пор... в сам-деле? — пробурчал незнакомец угрюмо...— Стою, стою...

— Я, быть может, вам помешал? — сказал я, делая движение, чтобы подняться.

— Нисколько... Пожалуйста!.. У нас с этим господином нет никаких секретов... Даже совершенно наоборот... Дело наше, можно сказать, получило широкую огласку...

Мне показалось, что в последних словах прозвучал оттенок некоторой злости, но затем заседатель небрежно

протянул руку, взял номер лежавшей на столе газеты и подал его мне.

— Посмотрите вот здесь... отчеркнутое место. Как вам понравится?..

Газета была сибирская, но выходила в столице. Отчеркнутое место заключало в себе сообщение о циркуляре, который волостной писарь Шушминской волости N-ского округа разослал по деревням «в руководство на случай военного могущего произойти столкновения». За много лет до действительной китайской войны газеты заговорили как-то о недоразумениях на китайской границе. Недоразумения были улажены, но волостной писарь отдаленной волости, очевидно, большой дипломат, счел нужным и с своей стороны принять участие в инциденте. Он разослал по деревням циркуляр, в котором предлагал «подведомым старшинам, сотским, а равно прочей мелкой власти» внушать населению полное спокойствие. «Я же, со своей стороны,— так заканчивался этот циркуляр,— за благо признаваю, в силу облекаемой власти и политического равновесия, как равно и высшего соображения причин, клонящих намерение к строжающему нейтралитету, то имеешь ты, старшина (имярек), с прочею низкою властию приложить всемерное старание под страхом в противном могущем быть случае наистрожайшего штрафования, не исключая личной прикосновенности по закону и свыше... Подлинный подписал писарь Кондратий Замятин».

Самому ли Кондратию Замятину пришла в голову эта горделивая идея, или ее внушил ему какой-нибудь юморист из ссыльных,— сказать трудно; но имя Кондратия Замятина на время всплыло в сибирской и столичной печати.

— Да-с! Вот не угодно ли? — сказал Степан Осипович, когда я с невольной улыбкой положил номер на стол.— Подлинный подписал Кондратий Замятин — это вот они-с... Не угодно ли полюбоваться... Бисмарк Шушминской волости... Объявляет войну и мир и поддерживает политическое равновесие.

Кондратий Замятин повернул голову так круто, что казалось, он свернет себе шею, и в его лице, в глазах, даже в позе виднелось выражение сконфуженности и вместе упрямства. Такой вид должны были иметь в доб-

рое старое время великовозрастные богословы и философы, которым предстояло ложиться под «учительную» лозу отца ректора...

— Можно... уйти?..— процедил он опять, и губы его сложились в такую складку злости и обиды, что мне стало несколько жутко.

При этом что-то в его голосе показалось мне очень знакомым. В моей памяти встала вдруг вчерашняя темная ночь на льду затона, холодный ветер с изморозью, мое полупробуждение и огромный силуэт всадника, возвышавшийся над горами... Я невольно спрашивал себя, действительно ли этот человек, уничтожающийся теперь под взглядом заседателя,— тот самый, который явился мне вчера таким титаном?.. И я подумал, что Степан Осипович несколько неосторожно злоупотребляет преимуществом своего положения над этим верзилой, который может расплющить его одним движением своей жилистой лапы...

— То-ро́-опитесь? — сказал заседатель с уничтожающим сарказмом в голосе...— Сочинять министерские циркуляры?.. Или...

В глазах Кострова пробежало что-то быстрое и холодное, как змейка.

— Или с-строчить доносы вашему куму, исправнику?.. Нет-с, господин Замятин, на этот раз вы от меня дешево не отделаетесь. Я не посмотрю на ваших кумовей и на все ваши шашни... Сделайте одолжение... Сколько угодно! Пишите, выдумывайте, лгите... А пока...

Его лицо стало опять бледно и холодно. Он любезно повернулся ко мне и сказал:

— Извините, что делаю вас, так сказать, свидетелем... Но с этим народом и ангел потеряет терпение... Не угодно ли вот!.. Я ничего не знаю, а циркуляр уже попал в газеты. Пойдут теперь трепать... Того гляди, из самого Петербурга запрос: в чьем участке этот Талейран объявился?.. Сепаратизм еще приплетут... Ну-с, так вот, господин Кондратий Замятин, владетельный князь Шушминской волости... есть там у вас... в ваших «подведомых владениях» каталажка?..

— То есть... это в котором смысле?..— угрюмо спросил Кондратий Замятин.

— А вот, в том самом смысле... куда сажают бродяг, воров и пьяниц и куда вы изволили посадить самовольно и противузаконно тунгусского князца... Это вот самое строение... стоит еще на месте? Не сгорело?

Замятин издал невнятное, но, по-видимому, утвердительное ворчание...

— Так вот-с... вы получите в моей канцелярии предписание, которое приказываю исполнить точнейшим образом. Прежде всего, не медля здесь ни минуты...— слышите? ни одной секунды... вы отправляетесь к месту своей службы. По прибытии имеете предъявить старосте бумагу, которую тоже получите из моей канцелярии для объявления на сходе... И прошу добросовестно прочесть ее содержание,— прибавил Степан Осипович металлическим голосом.— Я проверю... И если вы... если ты, сс-укин... Ах, извините, я опять забылся,— спохватился заседатель, повернувшись ко мне.

Кондратий Замятин перестал жаться к стене и вытянул шею...

— В бумаге этой говорится,— холодно отчеканил заседатель дальше,— что писарь Шушминской волости Кондратий Замятин, из ссыльно-поселенцев, имеет отсидеть в сельской каталажке на хлебе и воде неделю... за составление бессмысленных циркуляров, выходящих за пределы его обязанностей и составляющих превышение власти... Можете идти...

Замятин, как будто все еще не вполне разобравший смысл сказанного, медленно, с медвежьей ухваткой повернулся к двери, потом остановился, мгновение постоял неподвижно и затем опять обратился вполоборота к заседателю.

— Степан Осипович,— сказал он сдавленным, глухим голосом...

— Что-с?

— Отмените...

— Я никогда не отменяю своих распоряжений...

Замятин еще постоял, опустив голову, и потом продолжал так же глухо:

— Отмените... Я говорю: какой же после этого посреди дикого народу... престиж?..

— Что-о́-с, — вспыхнул заседатель... — Престиж? Престиж вам!.. Не угодно ли повернуться лицом, когда

с вами говорит начальник... Что это за поза?.. Руки по швам! — крикнул Костров, выходя из себя...

Замятин неохотно и не до конца повернулся и опустил руки. Заседатель окинул всю его фигуру горящим взглядом.

— Тебе, Кондратий Замятин,— сказал он, отчеканивая каждое слово,— статья такая-то, о «состояниях» известна?.. Примечание такое-то об изъятых от телесных наказаний?.. Ступай и помни, что если ты выведешь меня из терпения, то я применю к тебе это примечание при первом случае... И никакие шашни, никакие доносы не помогут... Ступай...

Замятин издал что-то вроде глухого медвежьего ворчания, круто повернулся и исчез за занавеской. Вид у него был такой же зловеще-унылый и упрямый. Уходя, он даже непочтительно стукнул дверью... Степан Осипович проводил его враждебным и внимательным взглядом.

Когда портьера за писарем перестала колыхаться, Костров повернулся ко мне.

— Ну-с, вот вы изволили видеть сами... Так сказать, бытовая картина, которую бы можно озаглавить: положение сибирского администратора... Что скажете?

Я решительно не знал в ту минуту, что я могу сказать о положении сибирского администратора. Впрочем, Степан Осипович сам вывел меня из затруднения. Он подвинул мне коробку папирос, закурил сам и сказал тоном доверчивым, отчасти даже конфиденциальным:

— Вот вы человек просвещенный... Судите сами: на ответственности заседателя целое, так сказать, государство... Заседатель отвечает за благосостояние и спокойствие в некотором роде сибирской Швейцарии...

Он опять меланхолическим жестом указал на карту.

— А между тем заседатель связан по рукам и ногам... Власть его ограничена до смешного! Верите, я не имею возможности прогнать какого-нибудь ссыль...

Он спохватился и поправился:

— С одной стороны — какая-нибудь уголовная фигура, вот вроде сейчас вами виденной... С другой — исправник, из местных, непросвещенный, грубый, который, однако, имеет возможность на всяком шагу ставить препятствия...

Он сделал усилие и передвинул свое тяжелое кресло, так что нас разделял только угол стола.

— Послушайте,— заговорил он несколько пониженным голосом.— Вот я и говорю: вы человек просвещенный, обладаете талантом. Скоро будете в России .. Еще скорее в Иркутске... Что, если бы вы изобразили... ну вот, хотя бы то, что видели... «К положению просвещенного администратора в Сибири»... Я, с своей стороны, мог бы дать некоторые пояснения... Тема для статьи богатейшая... Если я отвечаю, дайте мне власть... Это понятно. Если мне доверяют, я должен быть независим от какого-нибудь... там... исправника старого закала, который принимает доносы, роняя, так сказать, престиж... А? Что́ такое?.. Что̀ вам нужно?..

Сердитое восклицание относилось к писцу, который в эту минуту тихо приподнял портьеру и просунул в кабинет свою лысую голову с выразительно суровым лицом.

— Ну, что там такое? — нетерпеливо спросил Костров.

Писарь переступил порог, тихо опустил портьеру и, бесшумно ступая в мягких валенках по ковру, подошел к столу. Здесь он остановился как бы в нерешительности, глядя то на заседателя, то на меня...

— Пришел...— сказал он.

— Кто пришел? Да говорите вы, черт вас возьми, по-человечески!

Лысый писец как-то съежился, но после нетерпеливого начальственного окрика сказал почти шепотом:

— Бурмакин-с...

Заседатель как будто удивился.

— Уже? — сказал он.— А... да, да... Ну, хорошо, хорошо...

Он отодвинул свой стул и с любезною, несколько сконфуженною торопливостью повернулся ко мне.

— Да-с... так мне очень приятно... как же, как же: слышал от Кронида Ивановича... Очень, оч-чень сожалею, что обязанности службы лишают меня в некотором роде удовольствия... В противном случае, поверьте... счел бы за честь... Карпов, выдашь вот им бумагу... Счастливого пути... В Россию! На милую родину... Завидую...

Он вышел из-за стола и, задержав мою руку в своей, продолжал:

— Может быть, по приезде в Россию или... еще лучше в Иркутск... вы вспомните о том, что я говорил. Очень, оч-чень жаль, что важные дела мешают мне в настоящую минуту дать некоторые материалы... Но, впрочем, под пером талантливого человека и то, что вы видели и слышали... Всего, всего хорошего...

Он говорил любезно, но в голосе слышалась сильная озабоченность... Было видно, что преждевременное появление того человека, о котором говорил писарь, спутывало какие-то планы господина Кострова...

V

В канцелярии, куда я вошел, было новое лицо и, пожалуй, новое настроение. У одного из столов стоял высокий человек, в приискательском кафтане из верблюжьей шерсти, с узорно расшитыми полами. Кафтан был перетянут красным кушаком, концы которого были старательно расправлены и кинуты бахромой на боку. Одна пола была приподнята и заправлена за пояс, открывая широкие плисовые шаровары, вдетые в голенища высоких сапог. В руках он держал дорогую соболью шапку, из-за голенища торчала чеканная ручка нагайки. Все в этой фигуре отзывалось рассчитанным приискательским щегольством, а красивое смуглое лицо, с неприятно-полными и красными губами, дышало уверенностью и самодовольством. По-видимому, то, что он успел сказать здесь, в канцелярии, до моего прихода, доставило всему штату много развлечения и удовольствия. Писаря бросили писать, все улыбались, на всех лицах виднелось оживление.

Когда я вошел, новый пришелец двинулся навстречу и обменялся взглядом с шедшим за мною Карповым. Тот утвердительно кивнул головой, и Бурмакин уверенно направился к двери...

Этого человека я уже встречал...

Это было несколько дней назад, на дороге между двумя станками. Был серый, неприятный день, с холодным пасмурным небом и пронизывающим ветром, наме-

тавшим кое-где сугробы сухого снега и свистевшим в обнаженных придорожных кустах и деревьях. Мы ехали с раннего утра и уже устали от холода, пустынного ветра и пестрого мелькания снежных пятен и обнаженных скал.

В одном месте нас обогнали широкие пошевни, запряженные парой лошадей с колокольчиком. Они вынырнули на дорогу с проселка, в конце которого виднелись верхушки крыш небольшого поселения, расположенного у самой реки. Ямщик был сильно пьян и гнал лошадей без толку, то нахлестывая их кнутом, то задергивая вожжами. Сани мотались по ухабам как будто тоже пьяные, а в них беспорядочно барахтались две фигуры. Один из седоков, молодой парень, откинув голову назад, тянул водку прямо из горлышка бутылки... Его кидало на ухабах, водка лилась мимо, и он глупо смеялся пьяным смехом. Другой, полулежа в широких пошевнях без всякой подстилки, то поощрял своего спутника, то толкал его под локоть; мне он показался значительно трезвее. В одном месте сани вдруг наклонились, и оба седока выкатились на дорогу.

Пока младший старался подняться, тыкаясь красными руками в холодный снег, другой встал на ноги и не совсем твердой походкой направился к нам.

— Здравствуйте, господа! Издалеча ли бог несет?..— спросил он, внимательно оглядывая нас.

Мы ответили.

— А я — Бурмакин!..— сказал он гордо.

Это имя было нам знакомо. Бурмакин был очень известный в тех местах глава спиртоносов, ежегодно снаряжавших в тайгу целую экспедицию хищников золота, устраивавших в глухих притонах свои становища и скупавших у приисковых рабочих подъемное золото за деньги или за спирт. Промысел чрезвычайно опасный, требующий большой выносливости, решительности и сноровки, но и очень прибыльный. И каждый год в то время, когда большинство местных поселенцев, а иногда и крестьян, шло наниматься на прииски — меньшинство, состоявшее из наиболее отчаянных удальцов, отправлялось к Бурмакину. Он выбирал из них самых подходящих и «давал задатки», как глава какой-нибудь известной фирмы...

Я с интересом взглянул на эту знаменитость, стоявшую перед нами на дороге. Бурмакин был в широкой дохе, распахнувшиеся полы которой трепал ветер. Лицо его было неприятно красное, набухшее, как бы от продолжительного пьянства, но в глазах виднелась решительность и сила.

— Выпейте с Бурмакиным, ребята! — сказал он таким тоном, как будто был уверен, что мы сочтем это приглашение за великую честь. И, засунув руку в карман ватного кафтана, надетого под дохой, он вытащил оттуда непочатую бутылку...

Мы отказались...

— Ну, и черт с вами,— сказал он грубо...— Наплевать! Видно, не знаете, кто вас угощает... Эй, Сенька, дьявол!. Вставай! Обночлежился, что ли, тут в снегу?..

Он подошел к саням, у которых все еще барахтался пьяный товарищ, и, подняв его, бросил в пошевни, точно мешок с мукой. Я слышал, как голова Сеньки стукнулась об обочину саней... Бурмакин опять выругался, но вдруг повернулся еще раз к нам и сделал несколько шагов.

Я приготовился к какой-нибудь неприятной сцене «Знаменитый Бурмакин» показался мне просто пьяным нахалом, вроде загулявшего бахвала-фабричного. Но, взглянув на его лицо, я увидел, что теперь оно изменилось: черные глаза глядели серьезно и как будто печально.

— Извините, господа,— сказал он.— Выпивши я немного. Сколько время с этим народом каталажусь... Вы вот из Якутска едете... что-нибудь про моих «ребят» слыхали?

Мы слыхали, что в якутской тюрьме сидело еще с прошлого года человек пятнадцать спиртоносов и в том числе правая рука Бурмакина, черкес Измаил Юнусов. Говорили, что Бурмакин сыпал деньгами, чтобы выручить товарищей, но «выгодное» для начальства дело затягивалось. «Бурмакинские ребята» уже около года томились в якутской тюрьме,— правда, благодаря бурмакинским деньгам им было довольно весело.

Мы рассказали Бурмакину, что знали о положении его товарищей. Он выслушал внимательно и серьезно и сказал:

— Ну, спасибо вам, господа... Э-эх! На всех бы наплевать,— Измаила жалко... Поверите, братцы,— за этого человека сейчас праву руку долой! Брат,— даром что нехристь!..

В его словах мне послышалось искреннее чувство и печаль. Но тотчас же этот проблеск исчез, как слабый луч в холодных облаках, и на лице Бурмакина опять появилось выражение бахвальства.

— Ну, да ничего! Выручу!.. Бурмакин, да чтоб не выручил... Слыхали, чай, про меня! Кто по здешнему месту первый человек?.. Бурмакин! Вот где у Бурмакина все...

Он поднял кверху сжатый кулак и вдруг вернулся опять к прежнему:

— Наливки хотите? Может, хересу?.. У меня тут все есть... Ну, не хотите, как хотите... честь предложена... Эй ты, ямщик... желторотой... Чего стоишь... Пошел!

Сани уже тронулись, когда он грузно ввалился в них, рискуя задавить пьяного Сеньку, и вся группа бестолковым темным пятном опять понеслась вперед, вихляясь из стороны в сторону... Над широкой спинкой саней мелькали руки, спины, собольи шапки. Бурмакин с Сенькой возились, как два медведя, отымая друг у друга бутылку с водкой, которая весело мелькала на солнце... Неровно звенел колокольчик, и к нам доносились нелепые обрывки циничной приисковой песни.

Наш ямщик, молодой станочник, выросший по соседству с нелепой роскошью приисков, провожал удаляющуюся компанию завистливым взглядом.

— Фартовый народ! — сказал он, когда она исчезла за поворотом дороги.— Сани, что есть, и то пьяные — качаются.

И он принялся подробно рассказывать нам о Бурмакине, об его удальстве и удаче.

По его словам, Бурмакин снаряжает и на этот год в тайгу небывалую еще экспедицию в несколько десятков самых отчаянных головорезов поселенцев и сорок вьючных оленей. Ямщик говорил, где именно собираются по частям отряды и где будет переправа...

Мне запомнился навсегда простодушно-эпический тон этого рассказа и наивно-бесстрастное выражение синих глаз сибирского юноши. В тоне не было слышно ни

одной ноты осуждения или хоть иронии, добрые глаза глядели ровно и с тем бесстрастным доброжелательством, с каким они смотрели на облака, на снежную дорогу, на сопки... Если бы развернуть это выражение в членораздельные звуки и связную речь, то оно значило бы, вероятно: есть на свете облака и солнце, и снег, и дорога, и камни. И есть маленькие холмики и огромные горы... И есть жалкие станочники и могущественные Бурмакины... И все это от века и навсегда...

— Теперь, не иначе,— к заседателю поедет...— прибавил он с таким выражением, как будто это тоже написано в предвечных законах этого холодного, каменистого мира...

Молодой ямщик не ошибся. Бурмакин действительно появился в резиденции. Владыка тайги перед экспедицией вступал, по-видимому, в какие-то дипломатические переговоры с владыкой «сибирской Швейцарии»...

VI

Выйдя из канцелярии, я направился по улицам слободки к месту своего ночлега. В слободку, звеня колокольцами, въезжала почта на восьми тройках.

У черной въезжей стояла оседланная лошадь. Из ворот вышел Замятин и, остановив последнюю тройку, о чем-то пошептался с почталионом и сунул ему письмо. Когда почта проехала, он направился к своей лошади и встретился со мною. Сначала он отвернул свое выразительное лицо, как будто ему была неприятна встреча с свидетелем его недавнего унижения. Но затем посмотрел мне прямо в лицо своим тяжеловатым взглядом и улыбнулся. Его толстые несимметричные губы растянулись вкось самым удивительным образом. Вышла не улыбка, а какая-то зловещая гримаса.

— Ни-че-го! — сказал он фамильярно, как старому знакомому, кивнув мне головой.— Видали и не этаких коркодилов... Еще посмотрим!

Он довольно грузно взобрался на лошадь, оправил доху, уселся плотнее в высоком якутском седле и тронулся с места. Отдохнувший конек заиграл и быстро повернул в том направлении, откуда мы вчера приеха-

ли. Но Замятин хлестнул его нагайкой и повернул в противоположную сторону. Он лукаво кивнул мне с таким видом, точно мы были два заговорщика, связанные какою-то общею тайной, и поехал вдоль улицы. Сначала тихо, потом шибче, а затем, доехав до конца улицы, к выезду из слободы,— вдруг нахлестал лошадь и пустился в карьер. Полы его дохи развевались, по бокам седла метались переметы, и мелкий снег тучей несся за копытами коня...

Сначала я ничего не понял ни в этой мимике, ни в сумасшедшей скачке Замятина, но затем сообразил: он нарушил строгое приказание заседателя и ехал совсем не в Шушминскую волость, где его ждало унизительное заключение в каталажке... При этом он увозил с собой дипломатические тайны вражеского стана...

Почта была на этот раз экстренно велика, и нам пришлось поневоле остаться в резиденции до позднего вечера.

Днем мы спали, а перед вечером я отправился пройтись по слободке. Начинало темнеть. Сумерки наваливались на бревенчатые избы, нахлобученные шапками снега, на «резиденцию», на темные массы гор. В слободке зажигались огни... В одной избе стоял шум, слышались визгливые звуки гармоники, нестройный галдеж и песни...

Так как люди входили и выходили оттуда совершенно свободно, то вошел и я, привлеченный любопытством.

Никто не обратил на меня внимания в избе, тесно набитой народом. Воздух был пропитан запахом махорки, вина, овчины и оленьих мехов. За столом сидело несколько человек. Перед ними стояли початые бутылки и стаканы. На грязных тарелках лежали горой куски вареного мяса и рыбы. Какой-то парень «томился», положив на руки кудрявую белокурую голову и пачкая рукава нового азяма в пролитом вине и застывшем сале. Двое других, обнявшись за шеи, качались из стороны в сторону и тянули дикими голосами приисковую песню, сбиваясь и не обращая внимания друг на друга... Невдалеке от них совершенно трезвый сибиряк играл на гармонии и зорким, хищным взглядом искоса следил за певцами. Это не мешало ему добросовестно перебирать

лады гармонии, резавшей ухо визгливой частушкой. Посередине просторной избы, среди тесной кучи зрителей, шел пляс. Танцующих не было видно, слышалось только ухание и частый тяжелый топот... По временам снаружи в избу входил кто-нибудь из местных жителей и, протискавшись к столу, без церемонии наливал себе стакан водки...

— Пейте, челдоньё, лакайте, дьяволы, не жалей, собаки, чужого добра!..— выкрикивал один из певцов высоким тенором.

— Знай бурмакинску команду! — вторил могучим басом другой, и они опять принимались петь.

Вдруг сибиряк, игравший на гармонии, насторожился, и в его глазах мелькнула злая тревога. В соседней комнате, за запертой дверью, послышался шум. Музыкант поднялся и, не переставая играть, стал протискиваться через толпу. Когда он раздвинул ее, я увидел в центре зрителей пьяного танцора. Глаза его были бессмысленно выпучены, и он автоматически топал ногами с таким ожесточением, как будто навсегда потерял способность к движениям другого рода. Вокруг него «ходила» молодая девушка, почти ребенок, с налитым, красным лицом, выделывая нескромные «колена» безобразной пляски, которые зрители встречали поощрительным хохотом.

Вдруг гармония стихла. Музыкант, протолкавшись к запертой двери, рванул ее и раскрыл настежь... За ней мелькнуло возбужденное и пьяное лицо того самого Сеньки, которого я встретил на дороге с Бурмакиным. Против него стояла в воинственной позе старая женщина.

— Ты кого мне привела... Нет, ты кого привела!— кричал Сенька нелепым пьяным голосом.— Думаешь, пьян... не замечу... Я тебе приказывал: доставь Малашу, никаких денег не пожалею. А ты мне свою лахудру подсудобила... Это есть ам-ман!

— Молчи, подлец, молчи, каторжна душа! — визгливо отвечала женщина, видимо тоже пьяная.— Чем тебе наши девки плохи?.. Могешь ты моих дочек страмить?.. Жиган ничтожный, тля тюремная!..

— Ма-ма... Мама...— слезливо говорила молоденькая девушка и тянулась к матери.

— Не трог, Афрося, молчи, а ты... Я вот ему своим рукам...

Пляс приостановился. Толпа хлынула к открытым дверям, закрыв от моих глаз происходившую за ними сцену.

— Братцы, бурмакинские! Ам-ман... Амманывают наших,— кричал Сенька так отчаянно, точно его резали темною ночью на большой дороге. Певцы кинулись к нему. Молодой человек с кудрявой головой, томившийся за столом, вдруг вскочил, посмотрел вокруг осоловевшими, почти безумными глазами и толкнул стол, отчего бутылки и стаканы со звоном полетели на пол... Все перемешалось и зашумело...

С отуманенной головой, не отдавая и не желая отдавать себе полного отчета во всем происходящем, я выбрался из этого ада и вышел опять на улицу слободки.

Начинало темнеть, надвигалась туча. На слободку сыпался снежок, еще редкий, но уже закрывавший неясной пеленой далекие горы другого берега. Невдалеке, на небольшой возвышенности виднелись каменные здания резиденции, белые и чистенькие. В них уже спокойно светились большие окна. Огоньки фонарей вспыхивали один за другим вдоль улицы, чистенькие, холодные и веселые.

За мной, в только что оставленной избе, стоял неясный шум, топот и крики. И мне казалось, что из этого содома доносится еще полудетский испуганный крик:

— Мама... ма-ама...

VII

Снег шел неустанно и ровно всю ночь, и наутро мы выехали по пушистой, еще не укатанной дороге, на которой лежало лишь несколько глубоких свежих отпечатков полозьев и конских копыт...

У околицы, оглянувшись назад, я увидел только белые крыши резиденции, резко выступавшие на фоне густого и холодного сибирского мóрока, состоявшего из синего тумана и едва угадываемых очертаний горных громад.

Потом и крыши исчезли...

Начинался опять долгий и утомительный путь с бесконечными днями и неудобными ночлегами. Но мне уже хотелось окунуться в его тяжелое, бесстрастное однообразие, чтобы покрыть слишком яркие впечатления вчерашнего дня...

Первый за резиденцией станок был хотя не в яме, но тоже представлял временное помещение, наполовину бревенчатую избу, наполовину землянку. Ямщики встретили нас с угрюмою враждебностью, пока не разъяснилось, что мы совсем не приискатели, а люди, едущие издалека и далеко. Тогда отношение резко изменилось, и ямщики вступили с нами в откровенные, почти задушевные разговоры. Эти люди не имели уже ничего общего ни с резиденцией, ни с приисками и глубоко их ненавидели.. Они жаловались на то, что их замучили постоянной ездой, «нарочными», гоньбой этапов, отправлявших то и дело с приисков провинившихся или заболевших рабочих... Вот вчера, с вечера, проскакал, как сумасшедший, шушминский писарь, а сегодня, опять как сумасшедший, за ним промчался на паре гонец от заседателя... Гонец-казак ругается и говорит, что ему приказано «по касающему делу» непременно догнать писаря и воротить его под конвоем (из тех же ямщиков). Но писарь вчера тоже кричал, что едет по «касающему делу». Он требовал, именем исправника, лучших лошадей, грозя, что из-за него все они «изноют в тюрьме, как ничтожная тля»... А они уже выбились из сил и не знают, кто и по какому праву может с них «требовать» и кто не может...

— Эх, золото, золото! — сказал один из них, с горечью качая головой.— Кому золото, а нам слезы кипучие...

Через два дня трудного пути мы уже забыли о резиденции. Ее «господская въезжая», ковры, цветы и зеркала, ее фонари, большие освещенные окна и музыка, будуар-канцелярия заседателя, управляющего «целым государством»,— все это утонуло, затянутое однообразием новых впечатлений, как тонет дальний островок в туманном океане...

Опять только каменные горы, леса и река, по которой все так же лениво продвигаются белые пятна замедлившегося от снежных оттепелей ледохода...

Путь становился еще труднее. В одном месте река делает частые и крутые повороты в скалистых берегах. Кое-где эти скалы вступают прямо в воду. Жители называют их щеками. Летом под утесами есть все-таки узкая каменистая дорожка берегом. Весной и осенью приходится то подниматься на крутые вершины, то спускаться вниз.

Невидимое солнце начинало склоняться за туманными облаками, когда мы поднялись на первую гору. От лошадей валил пар. Люди холодными рукавами отирали крупные капли пота на раскрасневшихся лицах. Пока они отдыхали, я отошел в сторону и, остановившись на краю утеса, залюбовался суровым видом.

Река здесь делала излучину. Она лежала так глубоко, что белые пятна ледохода, казалось, стоят без движения на свинцово-синей полосе стрежня. Шел редкий снег. Все казалось задумчивым, угрюмым и необычайно пустынным...

— Гляди-ка, гляди, ребята! — вскрикнул вдруг молодой ямщик, подошедший к обрыву вслед за мною...— Ведь это бурмакинский караван!

Ямщики оставили уставших лошадей и кинулись к нам, с любопытством глядя вниз на далекую реку.

Сначала я не видел никакого каравана... Река, утесы, тихое, незаметное движение ледохода, сетка снега, великое безмолвие пустыни... Но ямщики читали в этом угрюмом пейзаже, как в открытой книге.

Благодаря их отрывистым пояснениям я тоже начал понемногу разбираться.

Большой мыс, белый от снега, вдавался с той стороны в темную полосу реки. На этом мысу чернели какие-то пятнышки, которые я сначала принял за разбросанные по берегу камни. Но теперь было заметно, что они шевелятся... На середине реки тоже осторожно пробирались между льдинами какие-то темные щепки. Это были два плота или парома. Зоркие глаза ямщиков различали людей и оленей.

Это Бурмакин, пользуясь последними днями перед полным ледоходом, переправлял свою экспедицию. Голова каравана была уже на той стороне и тянулась к горам, точно вереница черных мурашей по белой скатерти...

— Хитрый, варнак! — ухмыльнулся один из ямщиков.— Переправится теперь, а, глядишь, завтра-послезавтра лед пойдет ходом...

— Да еще станут заторы... Тут в трубе этой чего только будет... Гром пойдет.

— На неделю, а то и больше река-матушка ходу не даст...

— Лови его тогда... Хоть сам исправник...

Мы долго следили за опасной переправой. Она казалась отсюда, издали и сквозь сетку снега, какой-то далекой сказкой... Потом снег повалил гуще. Сквозь белую пелену помаячила еще река с белыми пятнами, мысок на том берегу... Каравана уже нельзя было разглядеть... Мы тронулись дальше...

На другую гору подниматься пришлось уже в сумерки... Это была почти отвесная скала, по уступам которой, как будто смелыми прыжками, взбиралась к вершине густая тайга. Мы шли кверху, опираясь на шесты, то и дело скользя и падая, а за нами отчаянно бились колокольцы поднимавшихся троек... Порой все стихало, и снизу доносилось только судорожное дыхание лошадей, отдыхавших на круче, пока ямщики сзади держали сани воткнутыми в снег шестами... Вершины деревьев, стоявших внизу, теперь виднелись далеко под нами. Откуда-то сбоку, от темной реки, слышался глухой далекий шум, всплески и сухой треск льдин, разбивавшихся о каменные бока утеса... Лошади опять отчаянно трогали вперед, срывались, храпели, в смертельном ужасе бились на месте... Ямщики на остановках крестились все вместе и произносили какие-то молитвы. Слова мне были незнакомы. По-видимому, своим происхождением они были обязаны ужасу этого места и этих опасных подъемов.

На вершине сделали продолжительную остановку. Было тихо. Звякали колокольцы, отфыркивались, мотая головами, смертельно усталые лошади. По верхушкам тайги шел тихий говор.

Ямщики вспоминали случаи, когда тройки срывались на крутых спусках и, несмотря на тормоза, без удержу мчались вниз, порой увлекая за собой и людей. Много ямщиков сложили здесь свои головы. Один раз лошади все убились, погиб и ямщик, а сани повисли на верхуш-

ке дерева. И никто не мог объяснить, как они туда попали...

А бывало и так: вдруг послышатся колокольцы, так что гром идет по ущельям.

Катят с горы тройки, как по ровному месту, гогот... звон... свист .. Ямщики со станка выбегут навстречу, чают так, что губернатор. . И нет никого... Звон, да крики, да свист пролетят с ветром мимо, только снег пылит... А никого, что есть — ни лошадей, ни человека не видно. .

— Охо-хо-о... Владычице небесная, Никола милостивой...— закончил рассказчик.— Есть ли, господа рассейские, еще где такая сторона на белом свете... Ну, ин, видно, трогать... Спуск, помни, еще труднее, а ночь-те темная.

И опять судорожно забились под дугами колокольчики, лошади всхрапывали, осаживаемые удилами... Среди темноты чувствовалось напряжение и опасность...

У конца трудного спуска произошла неожиданная остановка. По сторонам дорожки замелькали какие-то фигуры с винтовками за плечами, по-видимому, казаки. Ямщики едва удержали переднюю тройку. Задние лошади чуть не попали ногами в передние сани... храпели, бились, часто и тревожно звенели колокольцы и бубенчики...

— Стой!.. Стой!.. — кричали казаки...

Но передняя тройка уже рванулась вперед, за ней задняя. Ямщики ругались... Опасная работа спуска не позволяла неуказанной остановки, и казаки сами поняли это. Они дали ямщикам проехать и даже не задержали нас, только заглянув в лица...

Внизу, когда дорога выровнялась, один из ямщиков тихо сказал другому:

— Гляди, не пофартит Бурмакину.

— Да, будет склёка,— ответил тот, набивая трубку.— Исправник тоже парень фартовый... коса на камень.

— Нам-ка што,— философски перебил третий.— Наше вот дело — знай трогай... Слава-те господи, живы остались... Садитесь, господа! Теперь ровно!

На станке, до которого нам пришлось проехать еще около пяти верст, мы увидели в разных местах оседланных лошадей, привязанных к коновязям. В широких сенях станции, с лавками по стенам и камином, сидело не-

сколько сибирских казаков. Вид у них был мало воинственный; одеты они были в разнообразные меховые костюмы, с оленьими малахаями на головах, и в унты — местную якутскую обувь, за которую этих казаков зовут насмешливо «унтовым войском». Шашки были не у всех, только за плечами висели винтовки, а у пояса в ножнах небольшие ножи... Лица были большею частью молодые и очень добродушные.

В станционной комнате за столом сидел исправник, тот самый, о котором с таким презрением говорил Степан Осипович. Это был человек коренастый, приземистый, с очень густою растительностью на голове, но лишь с небольшими усами и бородкой. Вся фигура его напоминала среднего роста медведя, а манера держать голову на короткой шее и взгляд маленьких, но очень живых глаз еще усиливали это сходство. На нем была старая форменная тужурка, подбитая мехом, а на ногах большие теплые валенки.

Вообще в наружности предводителя было так же мало военного щегольства и удали, как и в унтовом войске. Зато в каждом его движении чувствовалось, что это человек, выросший среди этой суровой природы и ее людей...

Он велел позвать к себе наших ямщиков и быстро, глухим голосом, задал им несколько вопросов. Ямщики отвечали коротко и неохотно, но исправник и не требовал большего. Он понимал их положение среди воюющих сторон... Обменявшись с ними несколькими короткими фразами, он вдруг поднялся и отдал казачьему уряднику приказ садиться на лошадей, и стал одеваться. В теплой шубе и дохе, которую казак повязал поясом и шарфом, он стал еще более похож на медведя и, переваливаясь в тяжелых валенках, вышел на крыльцо, у которого его уже ждали сани... Через четверть часа весь отряд в беспорядке выехал из станка и потянулся по дороге, которая, змеясь под светом выглянувшей луны, ползла к темневшим за равниною скалам.

На станке о предстоящих событиях говорили мало. Все понимали, что где-то там, в глубине этой ночи, должны столкнуться разные силы и, значит, готовятся происшествия, от которых кому-нибудь может «пофартить», а кому-нибудь прийтись очень плохо. Но до станка это не

касалось... Это был гром где-то в далеких тучах, перебрасывающихся зарницами в недосягаемой вышине. Станок притаился внизу и ждал последствий.

Только станционный писарь, человек доступный высшим взглядам, сообщил нам, что генерал-губернатор действительно сменился, что с тем вместе менялись все местные отношения, и теперь Степану Осиповичу не сдобровать.

— А господин какой... образованный,— прибавил он с почтением.— Ну, только неуживчив. Сам о себе слишком высоко понимал. Вот и нарвался... Умен, умен, а не все, видно, понимает.

Он прибавил, что, по его мнению, шушминский писаришка Замятин — большой дурак. Кто бы кого ни победил в этой войне,— ему все равно придется плохо.

— Известно: доказчику первый кнут.

Это было единственное определенное мнение, какое мне пришлось услышать на станке по поводу знаменательных событий, готовившихся «во владениях» гостеприимного Степана Осиповича Кострова...

. . . .

Уже в Иркутске я узнал, что Бурмакин был настигнут в тайге, потерпел полное поражение, и большая часть его отряда арестована. Решительная ставка смелого авантюриста была бита. Степану Осиповичу предстояла отставка. Вместо него уже намечен человек, представленный исправником.

Кто при этих новых порядках занял впоследствии «должность» Бурмакина,— мне неизвестно, так как я все дальше уезжал из этих мест по направлению к России...

1904

Огоньки

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью,— близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом,— и путь кончен... А между тем — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня,— все так же близко, и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

1900

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее собрание сочинений В. Г. Короленко вошли все основные его повести, рассказы, очерки, ряд художественно-публицистических циклов, избранные публицистические статьи и литературные воспоминания. Незаконченные произведения в издание не включены.

При жизни Короленко, в 1914 г., в изд. А. Ф. Маркса вышло подготовленное самим писателем Полное собрание сочинений в девяти томах. Это собрание сочинений является основным источником для настоящего издания.

Так, в основу издания положен композиционный принцип, намеченный самим Короленко в изд. А. Ф. Маркса. Художественные произведения писателя располагаются по тематическим циклам (сибирский, украинский, волжский, румынский и т. п.).

Тексты также печатаются по Полному собранию сочинений изд. А. Ф. Маркса, с учетом правки, сделанной автором в корректуре этого издания, но в ряде случаев не учтенной в печатном тексте. Другие источники оговариваются в примечаниях.

Все подстрочные примечания в тексте (за исключением переводов иноязычных слов и выражений, отмеченных звездочками) авторские.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

СОН МАКАРА

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1885, № 3. Рассказ написан зимой 1883 г. в амгинской ссылке.

«Сон Макара» — одно из важнейших по своему идейно-художественному значению произведений Короленко. Главный герой рассказа Макар — символическое изображение темного, невежественного русского крестьянина, постепенно осознающего всю несправедливость своей горькой жизни и бунтующего против нее.

«Сон Макара»...— писала Роза Люксембург,— одним взмахом поставил его <Короленко> наряду с большими художниками русской литературы. Среди свинцовой атмосферы 80-х годов этот первый вполне зрелый плод молодого таланта произвел впечатление первой песни жаворонка в серый февральский день» («Душа русской литературы». Петроград, Гос. изд. 1922, стр. 19).

Прототипом героя рассказа послужил амгинский крестьянин Захар Цыкунов.

Товарищ Короленко по якутской ссылке О. В. Аптекман вспоминал:

«Его «Макар» — это хозяин нашей юрты Захар. Он объякутившийся русский переселенец, грязный, грубый, вороватый, пришибленный. Он привязывается к Влад. Галакт., ходит к нему, выкладывает перед ним все печали своей скорбной, беспросветной, трудовой жизни... Душа его распахивается перед «хорошим человеком»...— и Вл. Гал. заглянул в эту душу» (В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», ГИХЛ, М., 1962, стр. 59).

В архиве Короленко сохранились отрывки записей разговоров писателя с Захаром Цыкуновым.

Любопытна запись разговора, содержание которого, возможно, натолкнуло писателя на мысль изобразить Макара «на том свете», где с него «взыскивают»:

«Захар полагает, что т. к. я отправлюсь скоро домой, то обязан сделать ему подарок, чтобы он мог меня помнить «всякое время».

— Что же тебе подарить?

К удивлению, я замечаю, что его вожделения вращаются преимущественно около пары сапог.

— Пара сапогы... сделай, пожалуйста. Помирать буду, надевать буду. Вот, хорошо буде-ет!

Вот человек, который готовится к смерти, как на праздник. Всю жизнь ходил в торбасах, а помирать в сапогах желает...

— Да зачем тебе сапоги? Неужели на том свете в сапогах будешь ходить?

— На том свете...

Он несколько озадачен и возражает тоже вопросом:

— Ах, братец... Неужто от одежи никакая польза не будет?

— Какая же может быть польза?

— Все-таки... На том свете взыщут, я думаю... Как на свете ходили... Как же можно. Одежа хорошей надо... Справная одежа, — все-таки лучше...» (В. Г. Короленко. «Сибирские очерки и рассказы», ч. I, ГИХЛ, 1946, стр. 488).

Стр. 56. *...по третьей траве...*— по третьему году.

Стр. 67. *...крин сельный* — лилия полевая (Евангелие).

ЧУДНАЯ

Рассказ долгое время не мог быть напечатан в России по цензурным условиям и получил распространение в списках.

Впервые в легальной русской прессе — в журнале «Русское богатство», 1905, № 9, под названием «Командировка». В том же 1905 году рассказ уже под названием «Чудная» вышел отдельным изданием в изд. «Донская речь» в Ростове-на-Дону (цензурное разрешение от 29 июля 1905 г.).

Рассказ написан в вышневолоцкой политической пересыльной тюрьме, где Короленко находился с февраля до июня 1880 г. по пути в сибирскую ссылку.

«Как он ухитрился это сделать, живя в «большой» камере с ее вечной сутолокой, среди несмолкаемого гомона,— вспоминает товарищ Короленко по заключению С. П. Швецов,— я совершенно не постигаю. Сделал он это, сидя на кровати, забравшись на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было писать на развернутой книге, положенной на согнутые колени...» («В. Г. Короленко в воспоминаниях современников», стр. 45).

В основу «Чудной» положены впечатления Короленко от его встреч со ссыльной петербургской студенткой Эвелиной Людвиговной Улановской, а также рассказ жандарма-конвоира, перевозившего Короленко в начале 1880 г. из Березовских Починок в Вятку.

Позднее в «Истории моего современника» Короленко вспоминал: «...Фигура жандарма в этом рассказе взята с натуры, как и обстановка. По пути от Починок до Вятки нам пришлось ночевать в убогой подлесной избушке, и под завывание метели этот жандарм начал описанный разговор именно этими словами:

— Удивляюсь я на вас, как вы жизнь свою проводите...

И затем рассказал эпизод, послуживший канвой для моего рассказа. Видимо, он серьезно обдумывал вопрос о том, что побуждает нас жертвовать карьерой и спокойствием, а фигура больной и озлобленной девушки, которую он вез почти на своих руках, произвела на него глубокое впечатление».

Рассказ был очень популярен среди передовых русских читателей. Известен одобрительный отзыв о нем Г. И. Успенского, познакомившегося с «Чудной» вскоре после ее написания по одному из списков.

В 1914 г., готовя рассказ для Полного собрания своих сочинений в изд. А. Ф. Маркса, Короленко внес в него значительные исправления.

В тексте настоящего издания учтена правка Короленко, сделанная им на сохранившемся оттиске рассказа для издания «Задруга», Петроград — Москва, 1918 г.

Стр. 71. ...*Из сдаточных я*...— С д а т о ч н ы й — лицо, сданное в рекруты.

Стр. 83. *Боярыня Морозова* — одна из самых крупных и непримиримых деятельниц раскола — религиозно-общественного движения в России XVII в., направленного против официальной церкви. По указу царя Алексея Михайловича была сослана и умерла в остроге.

ЯШКА

Впервые — в журнале «Слово», 1881, № 2, под заглавием «Временные обитатели «подследственного отделения»

Название «Яшка» появилось в издании 1914 г.

Рассказ написан в 1880 г. В нем отразились впечатления Короленко от его кратковременного пребывания в тобольской тюрьме в августе 1880 г. по пути в пермскую ссылку.

«Мы... пошли в подследственное отделение,— вспоминал позднее Короленко,— которое я впоследствии описал в рассказе под тем же названием и где я встретил сектанта Яшку-стукальщика».

Администрация тобольской тюрьмы по-своему отомстила писателю за изображение в рассказе жестоких порядков и бесчеловечных условий, в которых содержались заключенные. Когда в марте 1881 г. Короленко пришлось вновь провести несколько дней в тобольской тюрьме по пути в якутскую ссылку, его в целях строжайшей изоляции поместили в секретной одиночной камере военно-каторжного отделения «Так лучше, господин Короленко, меньше видно. Мы не любим, когда о нас пишут...» — заявил писателю при отправке его в дальнейший путь тобольский полицмейстер.

Короленко много работал над образом главного героя рассказа — Яшки-стукальщика. Правка в черновой рукописи свидетельствует, с одной стороны, о стремлении писателя к бóльшему обобщающему значению образа; с другой — к его психологической глубине и конкретности.

Весь процесс работы Короленко над рассказом — это путь от публицистики, «зарисовок с натуры» к художественному обобщению.

Стр. 86. *Жестокие, сударь, нравы...*— несколько измененные слова Кулигина из I действия драмы А. Островского «Гроза».

Стр. 102. *Каиново отродье* — Каин, согласно библейской легенде, сын Адама, убивший своего брата Авеля.

УБИВЕЦ

Впервые — в журнале «Северный вестник», 1885, № 1, под заглавием «Очерки сибирского туриста».

Другим произведением, которое Короленко определил в первопечатной редакции как один из «Очерков сибирского туриста», был рассказ «Соколинец».

Рассказ «Убивец» написан в 1882 г. в якутской ссылке.

В образе Безрукого отразились черты старика, с которым довелось Короленко встретиться в томской тюрьме. Это был глава секты «покаянников», предводительствовавший в то же время разбойничьей шайкой.

Не выдуман и главный герой рассказа — Убивец.

Позднее Короленко вспоминал: «..Мне пришлось ехать по пути к Красноярску с молодым ямщиком, который, разговорившись со мной «по душе», рассказал, что он тоже сидел в тюрьме без вины, сказавшись бродягой... Это была странная, темная душа, в которой какие-то неоформленные стремления к правде одно время сказались сильной гнетущей тоской. которая и заставила его «принять добровольный крест»...

Мне вспомнился старик из «содержающей» (название томской тюрьмы.— *С. С.*), и в воображении я соединил образ этой простодушной тоскующей души и мрачного ханжи-душегуба. Я изобразил это сочетание, как умел, в рассказе об «Убивце».

Стр. 121. *..перевозчики остановили «плашкот».*— П л а ш к о т — плоскодонное судно... *отвязали «чалки».*— Ч а л к а — причальный канат, цепь.

Стр. 127. *Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.— Э д и п* — царь, герой древнегреческой мифологии, разгадавший загадку сфинкса и спасший город Фивы.

Стр. 142. *...на вершной бежит..*— едет на коне, верхом.

Стр. 148. *Проскуров у нас настоящий Лекок.*— Л е к о к — сыщик, герой романа французского писателя Эмиля Габорио (1835—1873) «Г-н Лекок».

Стр. 151. *...величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой...*— Ю п и т е р — в римской мифологии бог-громовержец. П о м п а д у р а м и прозвал высших представителей царской чиновнической власти Салтыков-Щедрин. *«Люблю отчизну я, но странною любовью!»* — начальная строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина».

Стр. 152. *...«так уж самим богом установлено, и вольтерианцы напрасно против этого вооружаются»* — несколько измененные слова городничего Сквозник-Дмухановского из I действия комедии Гоголя «Ревизор».

СОКОЛИНЕЦ

Впервые — в журнале «Северный вестник», 1885, № 4, под названием «Рассказы о бродягах. Рассказ первый «Соколинец». (Из очерков сибирского туриста)».

Рассказ «Соколинец» написан в 1885 г. в Нижнем-Новгороде. В его основу легла история побега двенадцати каторжников с о. Са-

халина, записанная Короленко еще в амгинской ссылке со слов одного из участников побега, позднее — якутского поселенца.

Короленко включил рассказ в сборник своих «Очерков и рассказов», вышедший в 1886 г. без предварительной цензуры в издании «Русской мысли». В ноябре того же года сборник поступил в Московский цензурный комитет, где получил резко отрицательную оценку. Особое неодобрение цензора вызвал рассказ «Соколинец».

В очерке «Соколинец», писал цензор, «...Короленко не щадит литературных приемов для того, чтобы возбудить в читателе сочувствие к беглецам, как героям, и чувство антипатии к тем, кто им мешает в этом предприятии. Автору самому в своем очерке чудится поэзия вольной волюшки и даже героическая поэма вроде Одиссеи...» («Красный архив», 1922, т. 1, стр. 420).

«Соколинец» — одна из вершин художественного мастерства Короленко.

«Ваш «Соколинец»,— писал 9 января 1888 г. А. П. Чехов Короленко,— мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени. Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом».

Стр. 172. *...неуклюжий пенат якутского жилья.* — Пенаты — у древних римлян боги — покровители домашнего очага.

ПО ПУТИ

Впервые — в журнале «Северный вестник», 1888, № 2.

Первая редакция рассказа, под названием «Федор Бесприютный», была написана Короленко в 1885—1886 гг. в Нижнем-Новгороде и тогда же послана в журнал «Северный вестник», однако не пропущена цензурой.

Свой отказ цензор Коссович мотивировал следующими соображениями:

«Автор имел намерение представить на суд читателя выяснение одного из крайне щекотливых социальных вопросов с целью указать на несостоятельность некоторых условий общественного строя... Для этого он не преминул иллюстрировать свою мысль чрезвычайно рельефным сопоставлением двух крайних типов, одного — взятого из мира каторжников, другого — из мира официального... Моральное превосходство каторжника выступает... ослепительно ярко при сравнении мощной фигуры Федора Бесприютного с низменной и даже пошлой личностью guasi-добродушного полковника, очерченного автором в карикатурном виде, с явною целью осмеять в его изображении мещанские инстинкты благодушествующего карьериста» («Красный архив», 1927, т. 5 (24), стр. 164).

Короленко перерабатывает рассказ и дает ему новое название: «По пути (Святочный рассказ)».

Но и переработанный текст при публикации подвергся значительным цензурным искажениям. Раздосадованный Короленко писал по этому поводу А. П. Чехову в феврале 1888 г.:

«Ах, если б Вы знали, что цензура сделала с моим рассказом. Беднягу Залесского совсем распотрошили и потом сшили по ошибке не так, как следовало: кишки положили в голову, а мозг в брюхо. Вышел человек не вовсе сообразный,— ей-богу, не я виноват в таком членовредительстве, а цензура. Он у меня был маленечко нецензурен, а теперь вышел невозможен. Впрочем, Вы и сами заметите, что от него осталось, можно сказать одно ухо,— а остальное отрезано».

В 1914 г., готовя рассказ для Полного собрания своих сочинений, Короленко вновь подвергает его существенной переработке.

По сравнению с журнальным текстом текст этой последней редакции рассказа «По пути» сокращен почти вдвое за счет устранения отдельных побочных линий и второстепенных эпизодов, не имеющих непосредственного отношения к основному действию.

В настоящем издании печатается эта последняя авторская редакция рассказа.

Стр. 224.*«Вопросы жизни и духа»* (Льюиса).— Джордж Генри Льюис (1817—1878) — английский буржуазный философ и писатель.

ЧЕРКЕС

Впервые — в «Сибирской газете», 1888, № 16 от 25 февраля, под заглавием «Из записной книжки».

Название «Черкес» рассказ получил в публикации 1892 г. в сб. «В пользу голодающих», выпущенном в Москве редакцией журнала «Русская мысль».

В одной из своих сибирских записных книжек Короленко рассказывает о происшествии, положенном им в основу произведения:

«...Этого черкеса мне довелось однажды встретить в пути» [1].

Я ехал из Иркутска в Якутск. Моими спутниками были два воина. На одной из станций, куда мы приехали под вечер, мы расположились отдохнуть и напиться чаю. Когда мы сидели за столом, одного из моих спутников отозвал в другую комнату почтовый смотритель, и между ними завязался оживленный разговор, из которого до меня доносились только отдельные слова: золото... едет один... скоро будет...

Воин вернулся к столу весь красный и очевидно сильно взволнованный. Не успел он налить себе стакан чаю, как под окнами

[1] Встреча произошла в 1881 г. по пути в сибирскую ссылку (ред).

быстро забился почтовый колокольчик, и через несколько секунд наружная дверь отворилась. В черном квадрате резко выделилась высокая фигура, в чекмене, папахе и оленьих высоких камосах. За поясом виднелся чеченский кинжал, в узорных ножнах.

Увидев неожиданно военные мундиры, черкес как будто вздрогнул и инстинктивно подался назад,— но это было только одно мгновение. Затем он оправился, сдвинутые брови разошлись, и он развязно вошел в комнату..

Черкес владел собою превосходно. Он только держался на некотором приличном удалении, играл рукояткой кинжала одной рукой, а другую опускал в карман, следя за своим собеседником сухим, быстрым и блестящим взором...

Теперь этот самый черкес сидит где-то в остроге, но вероятно, ненадолго» («Записные книжки (1880—1900)». ГИХЛ, М., 1935, стр. 85—86),— так заканчивает Короленко запись о знаменитом сибирском разбойнике, который своим ярким романтическим обликом и необычным поведением поразил когда-то его воображение.

АТ-ДАВАН

Впервые в журнале «Русское богатство», 1892, № 10, с редакционным примечанием: «Фабула настоящего рассказа встречается в очерке того же автора, помещенном в «Волжском вестнике» несколько лет назад, под заглавием „На станке"...» Имелась в виду публикация рассказа «На станке» в 1885 г.— в «Волжском вестнике» №№ 289, 291, 295. Рассказ имел подзаголовок «Из записной книжки сибирского туриста», основу его составляла история смотрителя Кругликова. Линия же курьера Арабина (в рассказе — Нашлепкина) развернута не была.

Написан рассказ в 1892 г. Короленко выступает здесь не только как художник, но прежде всего как публицист, смелый борец с беззаконием и произволом.

Герой рассказа грозный Арабын-тойон— реальное лицо, чиновник Алабин, состоявший адъютантом иркутского генерал-губернатора Анучина.

Вот что писал Короленко о бесчинствах и преступлениях Алабина в письме к С. Н. Кривенко от 28 ноября 1892 г.:

«...Мне действительно пришлось проехать по Лене после г-на Алабина и вся Лена еще говорила об его поездке, о том, как он крушил и избивал, в одном месте ударил беременную женщину, заступившуюся за избиваемого мужа,— толстой почтовой книгой, в другом чуть не застрелил писаря, спасшегося благодаря тому, что собачка у револьвера оказалась неподнятой и т. д. и т. д. ...Все это в Якутске подтвердил мне почтовый чиновник, прибавивший, что почтовое ведомство дает ход жалобам, но что генерал-губернатор Анучин сильно покровительствует Алабину...

Действительно, г. Алабин, несмотря на покровительство Ану-

чина,— должен был уйти на Амур и там (это я узнал, уже возвратясь в Россию) застрелил отца на глазах дочери, на ее свадьбе, опять на почтовой станции».

Возмущенный беззаконной деятельностью чиновника, Короленко в 1885 году пишет яркую обличительную статью «Адъютант его превосходительства», не принятую, однако, к печати ввиду особого покровительства, которым пользовался Алабин.

Короленко не оставляет волнующей его темы. Он возвращается к ней через несколько лет, но уже в художественном произведении.

Алабин узнал себя в герое рассказа — казачьем хорунжем Арабине — и заявил протест в редакцию «Русского богатства», требуя от Короленко признания сюжета его рассказа вымышленным. Короленко отказался это сделать, отстаивая свое писательское право на художественное обобщение: «...написал художественный рассказ, но факты взяты из действительности и они хуже вымысла...» (Из письма к Кривенко. См. выше.).

Стр. 286. *Ринальдо-Ринальдини* — романтический разбойник, легендарный герой одноименного приключенческого романа немецкого писателя Вульпиуса (1762—1827).

Стр. 288. *...из ластовых был...*— Ластовой — чиновник, связанный с работой на ластовых судах, т. е. перевозящих грузы.

Стр. 289. *...не то что ваши паузки...*— Паузок — речное несамоходное судно, служащее для перевалки грузов на мелководье и перекатах.

Стр. 290. *...Гуаки... рыцари разные, Францыль Венецыян...*— Речь идет о героях популярных рыцарских романов «Гуак, или непреоборимая верность» и «История о храбром рыцаре Францыле Венециане».

МАРУСИНА ЗАИМКА

Впервые — в сборнике журнала «Русское богатство» в 1899 г. под заглавием «Маруся».

В 1903 г. при подготовке к печати третьей книги своих «Очерков и рассказов» Короленко значительно переработал рассказ и дал ему новое название — «Марусина заимка».

Рассказ писался с 30 июля по 9 августа 1899 г., о чем свидетельствует отметка в записной книжке Короленко.

Однако возникновение замысла, по всей вероятности, относится к периоду жизни Короленко в амгинской ссылке. Именно тогда довелось писателю побывать на заимке, подобной той, которая описывается в рассказе, и познакомиться с ее обитателями — прототипами своих будущих героев.

Реальную основу имеют и некоторые события, описанные в рассказе. Позднее Короленко указывал, что в «Марусиной заимке» им довольно подробно и достоверно описаны отношения между якутами и татарами.

«..Неточность там только одна,— вспоминал он,— в центре этой борьбы стояло не то лицо, которое я там выставил, а русский, живший в самой Амге. За этим отступлением в очерке верно изображены отношения воюющих сторон».

Подлинными впечатлениями навеян и один из центральных эпизодов рассказа — «Бродяжий брак».

В его основу легла сохранившаяся в архиве Короленко запись истории женитьбы одного каторжанина-поселенца, сделанная писателем с его же слов Короленко, вероятно, предполагал использовать эту запись для рассказа «Соколинец», но затем обработал ее для «Марусиной заимки». Несомненна внутренняя связь этих двух произведений.

Василий из «Соколинца» и Степан из «Марусиной заимки» — наиболее яркие герои сибирских рассказов Короленко Это романтические герои-бунтари, правдоискатели, стихийно протестующие против заурядного существования, жаждущие активной, полнокровной жизни.

Стр. 311. *...ходили «вольно, нехранимо»* — неточная цитата из «Полтавы» А. С. Пушкина.

Стр. 322. *...кондаки эти тянем...*— К о н д а к — церковное песнопение.

Стр. 347. *...мелкие подвиги баранты...*— Б а р а н т а — разбойничий грабеж.

Стр. 353. *...замешанный в восстании* — то есть в польском восстании 1863 года.

Стр. 373. *Квазимодо* — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», исключительно уродливый человек.

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1901, № 1.

Черновая рукопись рассказа датирована «7 ноября 1900».

Вскоре после появления произведения в печати Короленко получил письмо от Н Г. Малиновской, племянницы декабриста З. Г. Чернышева, о судьбе которого идет речь в рассказе.

«Недавно получил письмо от дамы, урожденной Чернышевой,— пишет 8 июля 1901 г. Короленко Ф. Д. Батюшкову.— Немного обижена. Пишет, что рассказ Нюйского старика — миф. З. Г. Чернышев действительно был среди декабристов, получил вместе с другими прощение и умер (кажется даже) за границей».

Короленко учел замечания Н. Г. Малиновской и внес некоторые изменения и дополнения в текст рассказа, готовя его в 1914 г. для Полного собрания своих сочинений.

МОРОЗ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1901, № 1.

Рассказ написан в конце 1900 — начале 1901 г. Об этом свидетельствует сохранившаяся в рукописи дата «3 янв. 1901».

Задуман же был рассказ значительно раньше. Дошедший до нас первоначальный план «Мороза» датирован «8 окт. 98».

План свидетельствует о несомненной связи замысла рассказа с эпизодом, описанным Короленко в его записной книжке 1884 г. Писатель рассказывает о случайной встрече на одной из сибирских дорог со спящим около догорающего костра человеком, который был захвачен в пути морозами и явно обречен на гибель

В плане читаем об этом· «...Мороз все крепче... Горы льда. Забирается под шубы... Стынут глаза... «Душа стынет»... Встреча в лесу с человеком, замороженное чувство просыпается только долго спустя, в тепле. . Ночью,— будто толчок... Мечешься по юрте... Нет, смешно будет говорить с этими замороженными людьми...» (В. Г. Короленко. «Сибирские очерки и рассказы», ч. II, ГИХЛ, 1946, стр. 464).

В образе Игнатовича отразились черты ссыльного польского профессора Флориана Богдановича, с которым Короленко возвращался из ссылки.

В письме к А. Г. Горнфельду от 9 февраля 1916 г. Короленко вспоминал о нем: «Это был поляк, немолодой, романтик, участник польского восстания. Его я отчасти имел в виду в своем рассказе «Мороз». Он пришел к убеждению, что в мире «торжествует зло». Есть еще дружина добрых, которые борются и погибают. Он решил, что лучше быть с погибающими, и потому приехал из Галиции в Россию, чтобы присоединиться к русским террористам. Примкнул он к этому делу, не внося в него ни луча надежды, чтобы погибнуть в обломках добра в этом обреченном на зло мире».

Стр. 393. ..*в восстании на кругобайкальской дороге* — в июне 1866 года на строительстве дороги произошло восстание ссыльных поляков.

Стр. 394. ...*Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче...* — Адам Мицкевич (1798—1855), Юлиуш Словацкий (1809—1849) — выдающиеся революционные поэты-романтики, активные деятели польского национально-освободительного движения. Зигмунд Красинский (1812—1859) — польский поэт-романтик, идеалист и мистик.

ГОСУДАРЕВЫ ЯМЩИКИ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1901, № 2.

Черновая рукопись рассказа датирована «19 2/XI 00».

В основу рассказа легли наблюдения Короленко над жизнью ленских станочников во время возвращения его из якутской ссылки.

« ..Я не встречал людей в таком тяжелом положении, как эти ленские станочники,— вспоминал позднее Короленко.— Бедность на некоторых станках доходит до потрясающих размеров».

Пораженный представшей ему картиной нищеты и забитости,

писатель решает выступить по этому поводу в печати. «...Я начал было собирать данные, намереваясь огласить их в печати. На каждой станции я записывал ее население, имущество и государево жалованье».

К сожалению, собранные статистические материалы были утеряны в дороге. Но сохранилась записная книжка того времени — своеобразный путевой дневник Короленко. В ней материалы для будущего рассказа: первый его набросок — отрывок под названием «Станочники», заметки о дорожных встречах и разговорах, зарисовки отдельных сцен и т. п. Здесь, например, встречаем запись о поляке Скупчинском — прототипе будущего героя рассказа Островского:

«...Ямщик указал нам пепелище. Несколько лет назад здесь была «заимка» поселенца-поляка Скупчинского...

Пан Скупчинский вспахал склоны гор, нагородил изгородей и стал сеять. Каковы были плоды этих усиленных трудов,— видно из того, что, побившись несколько лет, пан Скупчинский зажег свою юрту, порубил изгороди и побросал их в огонь, а сам ушел на прииска. Теперь на его пепелище якут воткнул колья своей незатейливой юрты, и его коровы щиплют траву на брошенных пашнях поляка» (В. Г. Короленко. «Дневник», т. I, ГИЗ Украины, 1925, стр. 30—31).

Стр. 424. *Униат* — последователь унии. Уния — союз православной и католической церкви под главенством папы, существовавший в Польше и зависимых от нее государствах с 1596 г.

ФЕОДАЛЫ

Впервые — в 1904 г. в сборнике «К свету», изданном Комитетом Общества доставления средств С-Петербургским высшим женским курсам, с подзаголовком «Из записной книжки».

Черновой автограф рассказа, называвшегося первоначально «Волшебство», датирован 6—7 декабря 1900 г.

Публикуя рассказ в 1904 г., Короленко переписал его заново, внеся в текст существенные изменения и добавления.

Еще раз правка текста была сделана писателем при подготовке «Феодалов» для Полного собрания своих сочинений. Тематически «Феодалы» связаны с рассказом «Государевы ямщики». И здесь материалом послужили наблюдения Короленко над жизнью сибирских станков, сделанные им по пути из якутской ссылки в Европейскую Россию.

О работе над «Феодалами» Короленко рассказывает в письме к В. И. Арбатскому от 8 мая 1914 г.

«Я писал... картины нравов... Мне был важен контраст, а этот контраст между ямами и маленьким узелком приисковой жизни взят точно с натуры. Шушминской волости, например, нет, но пи-

сарь одной из волостей Витимского (кажется) округа все-таки написал циркуляр о «нейтралитете», который был напечатан в то время в газетах.

Наш ночлег, встреча с главой спиртоносов, величавый заседатель, экспедиция на Лену... борьба разных властей, все это подлинные факты, как и временные станки в ямах. Вообще вся бытовая сторона верна, а это и есть существенное».

«Феодалы» — один из наиболее ярких обличительных рассказов Короленко. Построенный на контрастном сопоставлении роскошной жизни сибирского чиновничества, этой спаянной корпорации мошенников, и убогого быта станков, «населенных несчастными, полуголодными и угрюмыми ямщиками», он с большой сатирической силой разоблачает вопиющие социальные уродства и несправедливость.

Стр. 462. *...в чьем участке этот Талейран объявился?..*— Т а л е й р а н-Перигор (1754—1838) — выдающийся французский дипломат, отличавшийся необычайной политической ловкостью.

ОГОНЬКИ

Впервые — в литературно-художественном сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», СПБ. 1901.

Написан 4 мая 1900 г. как экспромт в альбом писательницы М. В. Ватсон.

Произведение вызвало огромный общественный резонанс.

Ф. Д. Батюшков в своей книге «В. Г. Короленко как человек и писатель» («Задруга», М., 1922, стр. 94) вспоминает о том большом успехе, который имела эта «страничка, передававшая в поэтическом образе задушевные чаяния автора и его светлый оптимизм... и облетевшая всю Россию, повторяемая бесчисленное количество раз почти всей прессой... Заключительный возглас очерка — «все-таки... все-таки впереди огни» — стал быстро крылатым словом».

Сам Короленко так разъяснял смысл очерка в письме к Е. А. Чернушкиной от 9 августа 1912 г.:

«В очерке «Огоньки» я не имел в виду сказать, что после трудного перехода предстоит окончательный покой и общее счастье. Нет,— там опять начнется другая станция. Жизнь состоит в постоянном стремлении, достижении и новом стремлении...»

С. Селиванова

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Азям — верхняя крестьянская одежда, имеющая вид длиннополого кафтана.

Алас — поле или луг, окруженные лесом.

Бродни — особая сибирская обувь, подвязывающаяся над щиколотками и под коленями.

Голец — каменная сопка.

Дуванить — делить добычу.

Жиган — наторелый плут, тертый острожник.

Заплот — сплошной забор.

Кеньги — валяная, меховая или кожаная обувь без голенищ.

Кержаки — раскольники, жившие по реке Керженцу.

Кошовка — широкие и глубокие сани, обшитые кошмою (войлоком), рогожей и т. п.

Молокан — представитель одной из религиозных сект в России.

Мороки — густые сумерки, насыщенные туманами.

Орон — лавка вдоль стены юрты.

Остяк — представитель одной из народностей Сибири.

Поскотина — выгон.

Пошевни — широкие сани, розвальни.

Руга — плата попу от прихожан.

Торбаса — сапоги из оленьего меха.

Треба — любой богослужебный обряд (крестины, отпевание и др.).

Шабер — сосед.

Штундист — последователь штундизма — религиозной секты в России.

Ярушник — пирог или хлебец из овсяной или ячной муки.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Г. КОРОЛЕНКО.

Собрание сочинений
в шести томах.

Том I.

Редактор тома
С. Селиванова.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 19/V—19/IX 1970 г.
Подписано к печати 4/III 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 26,56 усл. печ. л. 27,52 уч изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 488. Зак. № 1463.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП,
улица «Правды», 24.

Индекс 70679

90 коп.